

А Л Т А И

3/2012



Барнаул. Выставка «Кафедра-4»



Е. Олейников Барнаул весенний



А. Шадурич Мерцание

Издается с 1947 г.

А

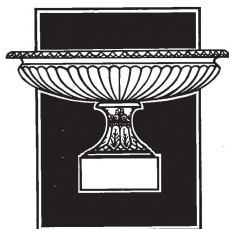
Л

Т

А

И

МАЙ



ИЮНЬ

3/2012

*Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал*

Главный редактор -
Станислав ВТОРУШИН

Редакционная коллегия:

Татьяна БАЙМУНДУЗОВА

Елена БЕЗРУКОВА

Сергей БУЗМАКОВ

Юрий ВИСЛОГУЗОВ

Ольга ГРИШКО -
редактор отдела прозы

Анатолий КИРИЛИН -
зам. главного редактора

Евгения КЛИНК -
редактор отдела поэзии

Юрий КОЗЛОВ

Иван МОРДОВИН

Юлия НИФОНТОВА

Александр РОДИОНОВ

Владимир ШНАЙДЕР

Оформление
Александра
КАЛЬМУЦКОГО

Технический редактор
Галина ЗАРКОВА

Компьютерный набор
и верстка
Наталья АЛЕКСЕЕВА

Учредители:

Управление
администрации
по культуре и архивному делу

Адрес редакции:
656043, г. Барнаул,
ул. Короленко, 105
Тел. 65-82-43
E-mail: juraltai@rambler.ru
© «Алтай», № 3-2012

Проза

- Николай ГАЙДУК. Звезда героя. *Роман* 3
Станислав ВТОРУШИН. На кунцевской даче. *Рассказ* 86
Светлана КОСТИНА. Рассказы (Две планеты. Сарай. За-
зеркалье)..... 96
Сапа ТУМП. Рассказы (За Прагу. Когда я родился) 105

Поэзия

- Юрий ЛАЗАРЕВ. «К нам март пришел, звеня капелью...».
«Поздний рассвет осветил камыши...». «Надо мною вет-
ки сосны...». «Астр осенних красу...». «В красках приро-
ды оттенков не счесть...». «Отзвенел последний летний
день...». «Пришло письмо сегодня из Чикаго...». «Когда
голодный прибежал домой...». «Позывные души слышу
снова и снова...». «Закончилась Победою война...». «По
всей стране: от края и до края...». *Стихи* 82
Иван ОБРАЗЦОВ. «Храня тепло, рука летит...». «А что
нам надо?...». «И что ж, пространства, звезды и миры...».
«И от Малой Олонской рукою подать до Речного...».
«Вот снег, первый снег - двадцатое октября...». *Стихи*.... 115

Литературный дебют

- Антон РОДИОНОВ. Дань. Dachau. «Море мерится силой
с луною...». «Что-то плавится, что-то сплетается...».
Вместо ласки. Муза. Зной. «Воин диких мест, ты отрав-
лен был...». Отмщение. «Плен гораздо лучше расста-
ванья...». «Далеко-далеко, где огненный мечется бык...».
Стихи 93
Антон ЛУКИН. Колька Чижиков. *Рассказ* 109

Очерк. Публицистика

- Любовь НАУМОВА. Что вспомню я?..... 118
Ирина ШАПОШНИКОВА. Родное слово - знак спасенья.... 159
Владимир КУНИШЫН. Птичка моя..... 163
Михаил ПЕТРОВ. Слово о Лешем..... 166

Письмо в редакцию

- Иван КАДНИЧАНСКИЙ. Тут земля моя! 174

В мире интересного 176

Подписано к печати 03.05.2012 г. Формат 70x108/16. Бумага офсет-
ная. Уел. печ. л. 15,4. Уч.-изд. л. 15,605. Печать офсетная. Тираж
1600 экз. Заказ 3473. Цена в розницу договорная.

ОАО «ИПП «Алтай». 656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105.

Свидетельство о регистрации СМИ:

ПИ ФС 12-0433 от 25.07.2005 г.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в пере-
писку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За досто-
верность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их
мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Николай ГАЙДУК



Николай Гайдук родился на Алтае в 1953 году. Окончил Алтайский государственный институт культуры и Высшие литературные курсы в Москве.

Автор книг «Калинушка-калина», «С любовью и нежностью», «Волхитка», «Лирика», «Святая грусть», «Царь-Север» и других, издававшихся в России и за рубежом.

Постоянный автор журнала «Алтай». Живет в Дивногорске.

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ*

Р о м а н

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

И опять была веселая весна, и опять была печальная война - такое создавалось ощущение от весенних палов, там и тут распавшихся по лугам и лесам за железной дорогой, по которой с грохотом и свистом летел пассажирский поезд «Новгород-Москва».

Всю дорогу Степан Солдатевиич ни на минуту не мог успокоиться. Весенние палы - страшная напасть последних лет - воскрешали в памяти жутковатое чувство то близких, то дальних боев. Огонь порой был виден еле-еле - за кромкой поля. А иногда, играя рыжими вихрями, пламя стелилось прямо за железную дорогу, разгрызая мазутные шпалы, штабелями лежащие на специальных площадках, укрытых небольшими навесами от дождя. В перелесках пламя шустрой белкой перепрыгивало с дерева на дерево - начинался верховой пожар, остановить который будет очень трудно.

Мрачными глазами подолгу созерцая все эти «военные» картины, Стародубцев то и дело смолит папиросы в гремящем тамбуре, потом - все с тем же мрачным видом - сидел в купе за столиком.

Спервоначала в купе было двое попутчиков: старушка дремала на нижней полке, а за столиком - напротив Стародубцева - сидел какой-то «грозный

* Продолжение. Начало в № 2 за 2012 г.

господин прокурор»: солидная новая форма красовалась на нем. А когда разговорились - слово за слово - оказалось, что это обыкновенный лесничий, одетый в парадную форму.

- Лесничий. Леший, попросту, - представился попутчик, простодушно посмеиваясь. - Так меня прозвали в нашем районе. А вообще-то зовут - Боробор. Это потому, что родился я в бору. Кругом бор да бор, ну, вот и назвали Боробор. Как Балабол какой. Ха-ха.

Тридцатилетний Боробор Лешаков был человеком крепкого телосложения, лицо добродушное, круглое, со свежим арбузным румянцем, с небольшими ярко-малиновыми ушами. Смотрел он открыто и прямо, даже как будто по-детски - так смотрит большинство людей, живущих на природе. Компанейский и словоохотливый Лешаков изложил Степану Солдатевичу целую повесть о своем житье-бытье: почти пятнадцать лет он уже трудится в лесном хозяйстве; окончил технологический институт по специальности «инженер лесного хозяйства»; в его подчинении десяток лесников.

- Ну, и как тебе, Леший, все это нравится? - угрюмо спросил Стародубцев, кивая на дым, подступающий под самые окна вагона.

- Никак не нравится! О чем вы говорите? - возмутился Боробор, округляя глаза. - Это вообще кошмар! Меня эти пожары забодали! У нас на одного лесника приходится по восемьсот гектаров леса.

- Ого! Шутка в деле!

- Вот именно. Попробуй обойди всю эту территорию, проследи за порядком на ней. - Малиновые маленькие уши лесника вдруг зашевелились - у него была привычка шевелить ушами от волнения. - Вы, может, не знаете, так я вам вполне ответственно могу сказать: в девяносто девяти процентах случаев любые лесные пожары затеиваются от брошенных костров!

- Господа туристы? - с горечью спросил Степан Солдатевич.

- И туристы, и всякие прочие «любители природы», козлы безрогие... - Лешаков хотел матюгнуться, но посмотрел на спящую старушку и сдержался. - Народ по лесам развлекается, водку ведрами жрет, а потом... Кучи мусора после себя оставляют, костры! Вот и получается, что этот самый... Как его? Человеческий фактор - вот виновник пожаров. Летом это наша главная проблема - огонь. Это кошмар какой-то. А самая большая радость в моей работе - это зима. Это лафа. День короткий, ни пожаров нет, ни комаров. Дома с семьей подольше можно побыть.

- Охо-хо! - вздохнул Стародубцев, сметая со стола какую-то незримую соринку. - Человеческий фактор! Ну и как ты, Боробор, воюешь с этим фактором?

- Да как? Оружие нам не полагается, так что воевать особо не навоюешь, - Лешаков поправил воротник парадного мундира. - Приходится пожарных вызывать - у нас своя пожарная команда. Составляю протокол, который потом в суд передается.

- Ну и что там будет с протокола?

- В суде? Ну, оштрафуют на копейки. А лесу-то сгорит - на миллионы, вот в чем дело. - Малиновые маленькие уши лесника опять зашевелились, будто собираясь бежать куда-то. - Штрафуем, да. И за костры, и за мусор, и за самовольную порубку, и за выпас скота. И за браконьерство.

- Скандальная, однако, работенка! - посочувствовал Степан Солдатевич. - Дело до драки доходит, поди?

- Всякое бывает, - сдержанно ответил Боробор. - А в общем-то, терпимо. Все местные знают меня как облупленного. Никто не спорит.

- Да? Еще б никто не поджигал, так совсем бы хорошо было жить на свете.

- Согласен.

Они замолчали, потому что старушка на нижней полке стала копошиться - выходить собиралась.

- Бабуля, - поинтересовался Лешаков, - мы вам не помешали? Нет? - Он улыбнулся, глядя на Стародубцева. - Бабуля глухая как пень, а я все боялся ее разбудить.

Старушка платок подвязала под горлом и ушла из купе, пожелав попутчикам счастливого пути.

- А как насчет зарплаты? - поинтересовался Стародубцев.

- Не хватает, конечно. А кому и когда вообще зарплаты хватает? Разве есть такие люди? - Леший пожал бугристыми плечами. - Я таких не встречал. За свою работу, я считаю, мне должны платить гораздо больше. И говорю я это не из жадности. У меня даже не столько физические нагрузки, сколько нервные. Да и ответственность на мне. Да и просто дерево может рухнуть на башку. Были такие случаи.

- Вот я и говорю, работенка не только скандальная, но и опасная.

- Всякое бывает, - снова сказал Боробор. - Пиратов много развелось, вот что плохо.

- Каких пиратов?

- Лесных. Только в прошлом году по области было зарегистрировано сто семьдесят случаев незаконной порубки. Десять тысяч кубов своровали, собаки! - Лешаков посмотрел за окно. - Сейчас наши власти рассматривают вопрос приобретения какого-то беспилотного летательного аппарата.

- А что за аппарат такой?

- Не знаю. Не видел пока. Знаю только, что он спокойно может облетать огромные лесные массивы. А кроме того - можно осматривать линии электропередач. Вот такая техника пошла. На грани фантастики.

- Техника! - Степан Солдатович обескураженно покачал головой. - Техника в гору идет, а совесть летит под откос.

Они еще немного поговорили о жизни Лешего в лесу и жизни вообще.

- Ну, ладно, - сказал Боробор, внимательно посмотрев за окно, где промелькнуло название какой-то станции. - Мне скоро тоже выходить. - Приятно было с вами побеседовать.

- Да-да. Только тема шибко неприятная - вот эти вот пожары, черт бы их побрал! Как на войне! - Стародубцев напряженно смотрел на дым, длинной змеей стелившийся вдоль железной дороги. - А сюда-то что? В гости?

- Ну, да. Вот почему и при параде, - несколько смущенно сказал Лешаков, оглядывая новую форму. - Я не люблю красоваться, елки зеленые, да вот жена заставила, чтобы я перед ее родителями выглядел как этот... как свадебный генерал. Да и ребятишки в голос: оденься папка, оденься, папка.

- А где они?

- Да там... - Боробор улыбнулся и от волнения опять зашевелил яркомалиновыми ушами. - Сейчас будут встречать! Они уехали пораньше, а я вот только-только насилу вырвался.

- Ну, дай бог тебе, сынок, всего, всего! - сказал Стародубцев, провожая лесничего и унося в душе такое чувство, как будто встретил и проводил родного человека, которого не видел много лет.

2

В тамбуре, где Стародубцев курил, другой попутчик рядом оказался - кудрявый, скуластый парень лет тридцати. Высокий, стройный. При шляпе с галстуком. Темный пиджак в полосочку так хорошо сидел на нем - любо-дорого посмотреть. Черные брюки со стрелками были похожи на флотские брюки-клевш. Парень был солидный, остроглазый. Подойдя к Стародубцеву, он поздоровался, приподнимая шляпу - широкие залысины сверкнули. Попросив огоньку, попутчик затянулся дорогой сигаретой и посмотрел, кивнул в сторону Лешего, только что сошедшего на перрон.

- А это кто был? Прокурор?

- Ну, да. - Стародубцев усмехнулся. - Лесной прокурор.

Парень помолчал, глядя в окно, и тоже усмехнулся.

- В лесу медведь хозяин и прокурор, - сказал он. - А этот на медведя не похож.

- Лесничий, - объяснил Стародубцев. - Я его тоже принял за прокурора.

Парень шляпу на затылок сдвинул - обнажил покатые широкие залысины.

- Ты смотри, какая у них форма!

- Шикарная. - Степан Солдатевиич хмыкнул. - Он мне тут байку рассказал. Однажды, говорит, на машине ехал, на посту ГАИ милиционер хотел его остановить. Потом увидел форму, спутал ее с прокурорской, отдал ему честь и пропустил.

- А что, вполне возможно. Я его тоже спутал с прокурором. - Попутчик улыбнулся, сверкая желтым зубом посреди белым-белого нижнего ряда. - А я, надо признаться, с детства терпеть не могу прокуроров!

- Видно, тяжелое детство было, сынок? - мрачновато спросил Стародубцев.

- Не тяжелее горшка, - сказал парень, докуривая сигарету. - А если говорить серьезно, то у меня с прокурорами были кое-какие трения на работе, вот с тех пор я их спокойно видеть не могу.

- А что за работа?

- Музей.

- О! - Стародубцев оживился. - Это должно быть интересно! Память наша, история... А где это, сынок?

Парень назвал и город, и область, где он работал в музее.

- Вот вы говорите - интересно, - подхватил он. - Да, интересно. Только интерес, прошу заметить, это не масло - на хлеб не намажешь.

- Что? Мало платят?

- Копейки! Слезы!

- Ну, ты здоровый вон какой. Пойди, найди себе другое место.

- Искал.

- Ну и что? Не нашел?

- Не в этом дело. - Парень галстук расслабил под кадыком. - Когда пошла разруха по стране, я хотел переквалифицироваться в управдомы, как говаривал когда-то Остап Бендер. Однако вскоре я осознал, что музей - это мое призвание. Охота работать только в музее. Охота, как говорится, пуще неволи. У меня, наверно, не случайно даже фамилия такая - Неволя. А друзья-товарищи, знаете, как называют меня? Музей Музеевич. Мусей. Мусса. А по паспорту я - Вольдемар. А вас, простите, как? Ага. Приятно познакомиться.

Пожимая крепкую руку попутчика, Стародубцев посмотрел на широкие скулы его, на черные кудри, на брови, сросшиеся на переносице.

- Нерусский, что ли? Вольдемар.

Парень усмехнулся.

- Русский. Только «новый».

Степан Солдатеевич затылок поскреб.

- Сынок! Давно хочу спросить... - неуверенно заговорил он. - Что за «новые русские» у нас объявились? Я уже слышу не первый раз, а ума никак не приложу.

Загибая короткие крепкие пальцы, Неволя начал называть весьма известные фамилии, связанные с большими деньгами и в то же время с большими аферами на финансовом фронте России.

- Вот это все они и есть - «новые русские», - авторитетно сказал парень, по инерции продолжая загибать другие пальцы. - Имя им - легион! Ты меня понял, отец?

- Дак ведь это ж все - не русские! - удивился Степан Солдатеевич.

- Зато они все - «новые».

Стародубцев обескураженно покачал головой.

- Ну, с этим хрен поспоришь. Дак ты, значит, тоже из этой компании?

- Нет. Я мордой не вышел.

- Ну, насчет морды ты, сынок, не скромничай. Девку-то, наверное, не одну уже смутил своею смазливой мордой? Ну, это дело молодое... - Стародубцев снова папиросы вынул из кармана.

- Что-то часто вы курите! - заметил Неволя. - Волнуетесь? Как будто едете на первое свидание. Да?

- Может, на первое, - неохотно сказал Стародубцев. - А может, на последнее.

Вольдемар вскинул брови.

- Это как понимать?

Фронтовик промолчал, глубоко затягиваясь папиросой.

- Да как хочешь, так и понимай. Годы-то мои, сынок, они какие? Они давно уже под горку катятся.

Попутчик сделал шаг назад и развел руками, разглядывая Стародубцева.

- Ну, так-то вы еще - куда с добром! - Неволя опять широко улыбнулся, сверкая желтым зубом среди белого нижнего ряда. - Так-то ты еще - герой, можно сказать!

- Он самый, - мрачновато согласился фронтовик и, досмолив папиросу, ушел из тамбура, унося в душе теплое, отеческое чувство к этому парню с открытой сердечной улыбкой, к этому музейному работнику, который за копейки, «за слезы» горбатится где-то в захолустном городке, собирает историю нашу, память нашу сберегает, совесть нашу хранит.

3

В характере у Стародубцева была одна черта - беда и выручка многих русских людей. Если бы он умудрился когда-нибудь и проследил бы сам за собой, то пришел бы к такому выводу: почти всегда - на протяжении всей своей сознательной жизни - он думал о людях гораздо лучше, чем они того заслуживали. Много, много раз уже Степан Солдатеевич обжигался - и довольно больно обжигался из-за этой своей доверчивости. Много раз он даже крепко злился из-за этого! Но опять же злился на кого? На себя, дурака, на кого же еще. Обижался, злился, делал выводы, внушая сам себе, что пора повзрослеть, поумнеть. Однако проходило какое-то время, и опять он был как малое дите, которое очень просто можно было вокруг пальца обвести. Опять на вокзале к нему черноглазая цыганка подойти могла в сто первый раз - как будто в первый. И если он, уже ученый горькими уроками, отка-

звался «ручку позолотить» чертовке, то мог пойматься на другой крючок, слушая сказку о том, как цыганские детки с голоду помирают и вот-вот помрут, ежели он не поможет, чем сможет. И он помогал.

- Ванька! Ты глаза разуй! - укорял его однажды Рукосуев, с которым они ездили в город. - С какого голоду подохнут цыганята, если у мамки у ихней все руки в золотых да в бриллиантовых кольцах?

- Да? - удивлялся Степан Солдатеич. - А я не заметил.

- Нет, ну я тоже бываю лопух, но чтобы вот так вот... - ворчал Рукосуев. - Ты чего, как этот - как полоумный?

- А может, я такой и есть, - смущенно отвечал он. - Таким родился, таким помру.

- Так надо же маленько перестраиваться, - попрекал Рукосуев. - Вся страна уже перестроилась, и только ты - ни в ногу чешешь во всю ивановскую!

- Как дурак на параде, - шутил он, невесело усмехаясь. - На всякий час не обережешься. Не могу я жить с оглядкой, да с опаской.

Именно поэтому - в силу своего неисправимого характера - Стародубцев первым делом ощутил горячую отцовскую симпатию сначала к лесничему, доброму Лешему, сберегающему русские леса и нивы, а потом точно такое же теплое, нежное чувство возникло в нем по отношению к Неволе. Но если в первом случае - с тем краснощеким лесничим - все было нормально, без подмеса, так сказать, то со вторым попуточником, увы...

Остроглазый Вольдемар Неволя в прошлом действительно был хороший музейщик, ценитель искусства. А в настоящее время он занимался другими делами. Респектабельный, улыбчивый парень в этом поезде, в этом вагоне оказался далеко не случайно. Он давно уже знал, что старик-фронтвик едет в Москву за наградой. Более того: и в самой Москве уже - не в кремлевских кругах, а в кругах криминальных - знали о том, что Стародубцев выехал. Там с нетерпением ждали его, потирая шаловливые ручонки от волнения, которое заключалось в том, что стоимость «Золотой Звезды Героя Советского Союза» на черном рынке уже перевалила за десять тысяч долларов.

Неволя ехал с ним в качестве своеобразного «инкассатора», приставленного сопровождать «мешок с деньгами» - страховать от несчастного случая, оберегать от конкурентов, которые могут возникнуть по ходу пьесы, то бишь, по ходу поезда.

4

Ночь была за окнами грохочущего состава. Холодный ветер на сумасшедших скоростях врвался в тамбур, где они опять курили.

Вольдемар с улыбкой рассматривал фронтвика.

На Стародубцеве был темный пиджак с наградными скромными планками с правой стороны груди. (Хотя нужно носить на левой.) Из-под пиджака выглядывала новая рубаша пепельного цвета. На ногах блестели сапоги, в которых Степан Солдатеич в сорок пятом году из Берлина приехал. Эти сапоги любил он и берег, очень редко надевал, зато частенько смазывал, постоянно чистил, как на парад.

- Что? - спросил Вольдемар. - Не спится?

- Да, сынок, не спится.

- Мне тоже.

- Ты молодой - отчего не спать? Дави подушку, как подружку.

- Не получается. - Поправляя черную шляпу, Неволя снова улыбнулся ярким желтым зубом посреди нижней челюсти. - Мне в поездах вообще плохо спится. Все время колеса колотят под ухом. Как будто из пушки.

- Как ты сказал? Из пушки? Это верно. Я вот смотрю и думаю: мать моя, Родина! Как, скажи, война идет по русским землям...

- Какая война?

- Да вот эти вот палы! - Он показал на дальние широкие огни, попластунски ползущие по суходолам.

- А-а! Ну, да, конечно. - Парень, похоже, вообще не замечал того, что происходит за окном, хоть гори оно там синим пламенем.

Почувствовав это, Степан Солдатеич маленько огорчился, разочаровываясь в попутчике - равнодушные люди Стародубцеву шибко не нравились. От них, от равнодушных, вся беда в стране и в мире вообще.

Докурив папиросу, фронтовик ушел к себе в купе, приятно удивляясь тому, что никто к нему пока не присоседился - после того, как сошла глухая старушка, а следом за нею лесничий. Это обстоятельно не могло не радовать. Можно было спокойно сидеть возле окна, подумать о жизни, смотреть на рассыпное золото огней - деревеньки и села мелькали в темных полях, перелесках. (Весенние палы наконец-то исчезли с поля зрения.) Можно было спокойно рассматривать мелькавшие станции и полустанки, думая о том, какая все же Родина большая - повсюду какие-то люди живут, хлеб жуют, землю пашут, рожают и воспитывают детей. А когда за окном становилось совершенно темно - можно было смотреть в небеса, ярко сияющее золотыми звездами героев, как он думал с печальной улыбкой.

5

Дверь вагона приоткрылась - отъехала на колесиках. Черная шляпа в купе заглянула.

- Можно? - спросил Неволя, поправляя галстук.

- Заходи! - откликнулся Степан Солдатеич. - Гостем будешь.

- А я не в гости. - Парень постоял на пороге. - Я тут до Москвы хочу. Если вы, конечно, не возражаете. А?

Стародубцев немного помедлил с ответом.

- Да я-то нет. А проводник?

- С проводником я уже перетер это дело. Ну, в том смысле, что договорился.

- Да? Ну, дак пожалуйста. - Фронтовик развел руками. - Все равно подсядут рано или поздно. Один-то не поеду - барин не велик.

Парень бросил вещички под лавку - полупустую дорожную сумку. Сел на столик, шляпу снял - бросил ее на верхнюю полку и по привычке своей погладил широкую залысину с левой стороны.

- Вдвоем-то веселей! - сказал он, пристально глядя на фронтовика.

- Веселей. - Опуская глаза, Стародубцев пожевал сухими жесткими губами. - Мы вот с женою сорок лет бок о бок...

- Что? - не понял парень. - С женою? Нет, я холостой.

- А что так?

- Не нагулялся еще.

- Ну, это зря. Жениться надо вовремя. Семья, детишки - это первое дело.

- Первым делом самолеты, ну, а девушки потом... - Вольдемар достал газету из бокового кармана, развернул ее и посмотрел вверх. - Ну и лампочка у них. Как морковка светит и не греет.

- Отдохни. В музее-то не начитался, что ли?

- Это верно. - Парень свернул газету, широко зевнул и опять погладил широкую залысину с левой стороны. - А может, в картишки?

- Чего?

Крепкие пальцы Вольдемара побарабанили по столику, прикрытому белой скатеркой с эмблемой фирменного скорого поезда.

- В дурака, говорю. Вы не против? - «Работник музея» пошарил за пазухой - новую колоду на столик положил. - Давайте сыграем. Ночь скоротаем. Или вы будете спать?

Степан Солдатеевич был слегка удивлен тем, что музейный работник ехал с колодой за пазухой.

- Нет, сынок, я в карты не играю.

- А чего так? Устав не велит?

Помолчав, Стародубцев нехотя признался:

- По молодости, по дурасти проигрался один раз, дак после дал зарок.

- Так мы же не на деньги! Мы так, для интереса.

- Нет. Я слово дал.

- Кому?

- Себе.

Вольдемар улыбнулся.

- Человек хозяин сам себе. Сегодня слово дал - завтра забрал.

- Э, нет, сынок. Так не пойдет. Так не годится.

Глядя в темень за окном, парень зубы стиснул - желваки на скулах обозначились. Кулак его - неожиданно крепко - припечатал по столику.

- Правильно! Мужик должен быть мужиком! - хрипловато сказал он, продолжая смотреть за окно. - Дал слово - держись! Не дал - крепись!

Фронтвик покачал головой.

- И я так думаю, сынок.

Парень нагнулся - дорожную сумку из-под лавки достал.

- А как насчет того, чтобы маленько выпить?

- Не пью.

- Вот те раз! Это уже становится забавным!

- Нет, сынок. Забавно как раз наоборот.

- Это как же? Я не понял.

- Ну, вот, например, сидит человек за столом. Сидит он при шляпе, допустим, при галстук.

- Это вы на меня намекаете?

- Зачем? Я так, вообще говорю... Сидит культурный человек, напивается. А потом, глядишь, - свинья под столиком в грязи валяется!

Вольдемар хохотнул - крепкие зубы сверкнули.

- Батенька! Да вы поэт! - Он расслабил галстук. - А я маленько врежу, если вы не против, да?

- Ну, я же тебе не указчик. Выпей. Может, поспишь.

- Спать нам нельзя! - вслух подумал Неволья. - Не полагается спать. По инструкции.

- По какой инструкции?

- По инструкции музея. Это шутка, батя. Шутка. - Вольдемар достал дорогую плоскую фляжку с каким-то серебристым вензелем посередине. И достал два таких же дорогих складных стаканчика с серебристой росписью. - Я вам налью, а там уж вы, как знаете...

- Нет, я же сказал.

- Ну нет, так нет. За ваше драгоценное здоровье!

- Спасибо. И ты, сынок, не кашляй, будь здоров.

После коньяка парень отмяк. Острые глаза его как будто «затупились» - мягкая дымка появилась во взоре. Широкие скулы перестали ходить ходуном - желваки расслабились. Неволя сдернул черную удавку галстука, расстегнул две пуговицы на белой фасонистой рубашке - золотая цепочка блеснула на крепкой шее. Голос его сделался каким-то барственным, немного снисходительным.

- Батя, - заговорил он, переходя на «ты». - Вот я, например, в Москву еду по делам своего проклятого музея. А ты? Зачем поехал ты на старости годов? Если, конечно, не секрет. К детям, наверно?

- Не угадал. - Степан Солдатеич урюмо уставился на парня и вдруг широко улыбнулся. - А ведь не угадаешь, Вольдемар. Могу поспорить.

- А спорить-то будем на что?

Степан Солдатеич отмахнулся, живо снимая свой темный пиджак.

- Да все равно проспоришь! Век не угадать! Я и сам-то еду - сам себе не верю.

- Во, как! - Неволя звонко цокнул языком. - Ну, ты меня, отец, совсем запутал. Заинтриговал. Значит, все-таки секрет?

- Да какой там секрет.

И Стародубцев - намолчавшийся в одиночестве после того, как жену схоронил - с подкупающим простодушием стал рассказывать о том, что его пригласили в Москву на торжество по поводу вручения «Золотой Звезды Героя Советского Союза», от которого остались только ножки да рожки. И это обстоятельство - развал страны, за которую он воевал - очень сильно удручало, смущало Стародубцева. В этом он тоже признался парню. А потом, сжимая кулаки на столике, он признался в том, что спервоначалу даже ехать не хотел, когда пришли бумаги из администрации Кремля, хотел отказаться, но потом согласился, тем более, что Москва обещала оплатить проезд.

- Ну, ты, отец, даешь! Вот это номер! - Неволя помолчал, пораженный откровением фронтовика, затем усмехнулся. - А я, грешным делом, подумал, что ты едешь хоронить кого-нибудь.

- Кого? Почему хоронить?

- Урюмый потому что! - Вольдемар погладил широкую залысину с левой стороны. - Ехать за такую золотой наградой, о которой многие могут только мечтать, и при этом быть таким мрачным... Ну, ты извини меня, батя! Этого я не пойму! Как же так?

- А вот так вот, сынок. Нету радости. - Вздыхая, Стародубцев достал папиросы. - Скорее даже наоборот - тоска лежит на сердце. Как бел горячий камень.

- А какая ж такая причина?

Степан Солдатеич отмахнулся.

- Длинная история, сынок.

Неволя собрался фляжку отвинтить, чтобы снова плеснуть в рюмаху.

- Так и дорога у нас не короткая. Да?

Стародубцев призадумался, глядя за окно. Пиджак повесил на крючок. Поправил ворот новой рубахи пепельного цвета.

- Ну, если хочешь, дак я расскажу, какие такие причины для великой солдатской кручины. Тока сначала пойдем, покурим.

- Пошли, - сказал парень, нехотя откладывая фляжку. - Целее будет.

Глава вторая

1

Ночь за окнами поезда медленно уходила на убыль. Звезды гасли где-то в глубинах мироздания. Молоденький месяц, только вчера еще народившийся, теряя свой сабельный блеск, вяло зарывался в облака и вместе с ними опадая за кромку далекого бора, темнеющего на горизонте. Краюха неба на востоке уже посветлела вверху, а внизу - едва уловимо для глаза - небо задорно зарозовело, как будто сбрызнутое свежим малиновым соком. В туманах мимо окон проносились деревья, стога. Задремавшие кони стояли на луговине, сизо-серебристой от росы. Мелькали кусты, проплывали во мгле станционные домики, огороды, банька, река сверкала темно-синей сталью.

- Вот такая вот история, сынок.

- Понятно.

Стародубцев закончил рассказ про свои мытарства в тылу у немцев, а потом «в плену» советских контрразведчиков, заподозривших в нем изменника Родины, посмертно награжденного звездой героя. А парень к тому времени - почти не хмелея - прикончил свою фляжку с коньяком.

Лицо у парня за ночь как-то странно осунулось. Он побледнел. Помрачнел. Широкая улыбка - легкая, беспечная улыбка с желтым зубом посредине белых нижних - уже не появлялась на его лице.

- Спать, поди, хочешь? Заболтал тебя старик.

- Нет, все нормально. Хотя... - Вольдемар погладил широкую залысину с левой стороны. - Что тут нормального? Спихватились! Наградили! А раньше-то где они были, козлы позорные?

- Спихватились не они. Сынок мой похлопотал.

- А где он у тебя?

- В горячей точке служит.

- Круто! - сказал парень, качая головой. - Слушай, Солдатеич! А кто там был с тобой тогда? Ну, что за контрразведчики с тобою разговаривали? Смерш?

- Нет, сынок. Я в переплет попал в сорок втором, а Смерш появился тока в апреле сорок третьего года. - Фронтовик поцарапал ухо, посеченное шрапнелью. - Да разве я на них в обиде? Так положено было, сынок. Я потом этим вопросом занимался, бумаги поднимал кое-какие.

- Какие, например?

- В сорок первом году Сталин подписал постановление о государственной проверке, так называемой «фильтрации» всех военнослужащих Красной армии, какие побывали в плену или в окружении...

- Сталин! - скрипнув зубами, парень отвернулся к окну и забарабанил пальцами по столику.

Стародубцев насторожился.

- А что ты против Сталина имеешь?

- Да нет, все нормально, отец, все нормально, - поторопился сказать Вольдемар, не желая наступать на любимую мозоль фронтовика - рассердиться может и замкнуться на все замки.

- А как иначе-то, сынок? - продолжил Степан Солдатеич. - Ведь были и такие, которых фашисты обращали в свою веру, если тока фашизм можно верой назвать.

- Да были, конечно. Не спорю. Этого дерьма везде хватает. Под Соликамском, помню...

- Где?

Спохватившись, парень замолчал. На пустую фляжку покосился.

- Эх, врезать бы еще мал-мало!

Степан Солдатеевич смотрел на свои сапоги - снять хотел, но передумал. Вздохнул и прилег на нижнюю полку, оставляя ноги на полу - неудобно так было лежать.

Помолчали, слушая перестук колес.

- Расстроил я тебя, сынок, своими рассказами?

- Да нет. - Неволя глубоко вздохнул. - Скорей наоборот: ты, отец, меня построил за эту ночь.

- Это как же так?

Вольдемар погладил широкую затылочную часть с левой стороны.

- Ну, как бы тебе объяснить? Был я поломанный весь изнутри. Понимаешь? А ты меня построил. Из пепла возродил, можно сказать.

- Из какого пепла? - удивился Степан Солдатеевич, поднимаясь. - Ты же еще молодой. Когда же ты состариться успел? Сколь тебе годков?

- Да какая разница. - Парень поднялся, шляпу взял с верхней полки и тут же резко бросил обратно. - Пойду, полкилограмма водки где-нибудь раздобуду. За это, отец, надо выпить!

- За что?

- За подвиг разведчика!

- Чудной ты, ей-богу.

Герой Советского Союза, сам того не понимая, в эту ночь совершил еще один подвиг - своеобразный подвиг разведчика. В купе и в тамбуре гремящего вагона, куда они ходили покурить, Степан Солдатеевич, горячо и вдохновенно повествуя о своей судьбе, «перевербовал врага» - потихоньку, полегоньку склонил на свою сторону и обратил в свою веру, которая заключалась прежде всего в том, чтобы жить по совести, быть человеком. Не сказать, чтобы совсем Неволя обратился в эту веру - такое превращение было бы из области чудес, но одно только то, что парень задумался, очень крепко, глубоко задумался - о многом уже говорило. В самом начале пути Стародубцев для него был «мешок с деньгами» и не более того. Мешок, который он сопровождал, как инкассаторы сопровождают ценный груз. А под конец пути - после бессонной ночи, после подробного повествования старого фронтовика - Вольдемар задумался.

Собираясь идти куда-то, выпивку искать, Неволя, уже открывши дверь, выйти хотел из купе, но вдруг остановился - дверь осторожно прикрыл.

- Слушай, батя! Ты извини, только на хрена тебе сдалась бы та звезда героя? Жил ты без нее сто лет и еще, наверно, столько проживешь. А вот с этой «Звездой Золотой»... - Неволя покашлял в кулак. - Я не знаю, не знаю...

- Что ты не знаешь? - удивился Степан Солдатеевич.

- Ну, ты же сам сказал, что наградили мертвого.

- Ну, так. И что теперь?

- Ладно. Проехали. - Неволя снова дверь открыл. - Пойду, трягну проводника, у него должна быть поллитровка.

Степан Солдатеевич неодобрительно покачал головой.

- А может, хватит, сынок?

Неволя вдруг метнул в него раскаленный взгляд - будто стрелу.

- А вот с этим я сам как-нибудь разберусь! - Он вернулся в купе и хлопал фронтовика по плечу. - Извини за резкость. Такой дурной характер. У Вольдемаров он всегда такой.

2

Когда-то мать сказала сыну своему, что Вольдемар с древнегерманского переводится как «знаменитый властитель» - это имя нередко дают ребятишкам в Германии, Дании, Швеции, Болгарии, Чехии. Человек, носящий имя Вольдемар, говорила мать, всегда представляет собой интересную, яркую личность, полную желанием действовать. Сын это крепко запомнил и подсознательно старался везде и всюду соответствовать имени. Не всегда, конечно, получалось, но желание действовать - это было у него в крови. Он рано стал самостоятельным - уехал из дому; учился в Москве; работал в одном из областных музеев Подмосковья, «историю и память» по крупницам собирал.

А потом в страну пришла разруха - строй сменился, ценности у людей почти полярно изменились. (Не у всех, но у многих.) Перебиваясь нередко с хлеба на квас, работник музея начал подыскивать себе другое занятие, более денежное. У Вольдемара была подруга - хотел жениться. А какой он, к черту, муж, если семью не может прокормить? Вольдемар был в поисках работы: читал в газетах сотни разных объявлений; звонил, приходил на собеседования; раза четыре писал резюме в престижные конторы, офисы и никуда никак не мог устроиться.

И вдруг однажды - в пухлой, свежей газете среди всякой всячины - Вольдемар прочитал заметку под названием «Оригинальная любовь к искусству». Заметка посвящена была тому, как из Национального музея Швеции украли две картины Ренуара и картину Рембрандта. Все было сделано «простенько и со вкусом». Трое мужиков пришли в Национальный музей в Стокгольме. Один из них направил автомат на охрану, а двое других вооруженных «любителей искусства» в течение нескольких минут бритвами аккуратно вырезали из золотого багета три чудесных полотна - «Автопортрет» Рембрандта и картины Ренуара: «Юная парижанка» и «Разговор с садовником». Общая стоимость этих полотен - тридцать шесть миллионов долларов.

Неволя прочитал - и точно током стукнуло. Кровь закипела, кинулась в башку, и сердце молотком заколотило в ребра. Он ничего еще такого не подумал, а только странно как-то разволновался, томимый жарким предчувствием того, что можно быть богатым, если всей душой любить искусство - любить оригинальную любовью, как предписано в газете. А он ведь был большой оригинал. И в детском садике, и школе, и в институте Вольдемар проделывал порой такие удивительные штуки, какие никому другому не могли бы в голову придти - и воспитатели, и преподаватели, раскрывая рты, лишаясь дара речи, только руками разводили, глядя на вундеркинда.

«Да! - подумал он тогда. - Оригинальная любовь к искусству! Вот чего не хватало для счастья!»

Читая дальше ту заметку и испытывая жгучее волнение, Вольдемар уже не обратил должного внимания на то, что картина «Разговор с садовником» позднее была найдена полицией в ходе рейда по борьбе с наркоторговцами - картина спрятана была в мешке с марихуаной. И два других полотна - в ходе скрупулезного расследования - тоже, в конце концов, вернулись в Национальный музей Стокгольма. Воров поймали - срок припаяли. И срок немалый. Но это уже были вроде бы как «мелочи» - это уже было «за скобками» его решения любить искусство только большой оригинальной любовью.

На этой пламенной любви Неволя два раза горел синим пламенем - две ходки в зону были за спиной. И ходки эти даром не прошли. За годы скита-

ний по разным этапам, по лагерям и тюрьмам, Вольдемар потерял «квалификацию», а потом и жгучее желание «заниматься живописью» тоже потерял. Так что у него из прошлой жизни - жизни музейного работника и человека, любящего искусство - осталось только прозвище Музей Музеевич, Музей, Мусса. Но и прозвище это уже отлипло от него, отшелушилось, как золотуха. Теперь он занимался новым делом, а должность «инкассатора» исполнял постольку-поскольку случайно оказался в области, откуда ехал «денежный мешок».

3

Работа «инкассатора» - тихая работа, без эмоций. Негласная инструкция сопровождения запрещала «инкассатору» входить в какой-либо контакт с «денежным мешком». Нужно было ехать незаметно, находясь поблизости и наблюдая за тем, чтобы с «грузом» не случилось бы чего-нибудь непредвиденного, чтобы кто-нибудь другой не позарился на чужое добро - конкуренты были, есть и будут. Задание, в общем, простое. Даже самый тупой с этим заданием справится. Только по пути возникли обстоятельства, с которыми Неволья не совладал.

Очень уж приглянулась ему проводница в том вагоне, в котором ехал Степан Солдатеич.

Выбрав удобный момент, Неволья пришел в рабочее купе - проводница там была одна. Недавно заступившая на смену, была она еще особенно свежа, опрятна. Темно-синий, элегантный костюм-тройка подчеркивал ее спортивную фигуру. Белая блузка и газовый шарфик подчеркивали смуглое, чуть продолговатое лицо.

- Привет, красавица! - с улыбкой сказал Вольдемар, приподнимая черную шляпу. - Есть одна небольшая проблемка. Поможешь решить?

Проводница тоже невольно улыбнулась - показала свои странно мелкие зубы, похожие на рисовые зерна, слегка прокуренные.

- Что за проблемка?

- Пустяк! - заверил парень. - Мне надо перебраться в этот вагон.

- А ты в каком?

- В соседнем.

- Есть билет?

- Конечно. Вот, смотри. А то еще подумашь, что зайцем еду.

Проводница внимательно посмотрела пассажиру в глаза. Усмехнулась крашеными, тонкими губами.

- Ты скорей волком поедешь, чем зайцем.

- Это почему же?

- Да уж я-то знаю. Видела таких. Не первый год катаюсь на колесах.

- Ну, короче, так, - сказал Неволья, перестав улыбаться. - Мне надо в четвертое купе. Я заплачу, сколько скажешь.

- Ох, ты, щедрый какой! А если я скажу - полмиллиона?

- За ночь с королевой? Согласен.

- Не хаами! - предупредила проводница. - А то пешком по шпалам прогуляешься.

- Понял, ваше величество. Каюсь. - Парень снял шляпу, к сердцу прижал. - Дядька у меня едет в четвертом купе. А у него сердчишко порой прихватывает. Надо быть рядом. Понимаете, ваше величество?

- Ладно, я попробую с Быком поговорить.

- С каким быком? С колхозным?

- Это наш начальник - Быконя.
- Так он бык или конь? - Вольдемар хохотнул. - Красивая! Ну, ты уж по-старайся. Я в долгу не останусь.
- Постараться-то я постараюсь, да только у меня конфликт с ним вышел.
- С кем? С быком?
- Ну, да.
- А что такое?
- Он выговор собрался мне объявить за то, что я как будто отключила в пути сигнализацию нагрева бус.

Ровным счетом ничего не уразумев из этой последней фразы, парень за-смотрелся на полную грудь проводницы.

- А за большие буфера он выговор тебе не объявлял?
- За буфера? При чем тут буфера? - Проводница проследила за глазами парня и глуповато хихикнула. - Не хами, сказала! А то пойдешь пешком!

Поговорил еще немного с проводницей, изредка отвечавшей улыбкой на его охальные улыбки, Неволя понял так, что можно будет весьма недурственно время скоротать с этой красоткой. Но потом вдруг все пошло на-раскоряк. Появился Быконя - низкорослый, но довольно крепкий бугай с золотым кольцом в носу - и преспокойненько увел молодую телочку, с которой у него давно уже был «служебный роман». А вместо нее в купе проводников засела какая-то баба-яга, на которую лишний раз посмотреть не захочется.

Сначала парень «с горя» дернул коньяку, а потом вдруг в сердце шевельнулось какое-то хорошее чувство - чувство потаенной радости. «Ну, а что? - подумал он. - С бабами этими - проводницами, стюардессами и прочими - я успею покувыркаться в поездах и в самолетах. А вот с таким Героем Советского Союза - когда еще судьба сведет?»

Слово за слово, и парень не то, чтоб рассиропился, но все-таки... Он растегнул не только рубаху на груди - он душу свою приоткрыл. Загораясь глазами, Неволя стал говорить про отца, погибшего на Белорусском фронте; вспомнил даже прадеда, который участвовал еще в Первой мировой войне 1914 года, то ли в гвардейском, то ли в гренадерском, то ли в сибирском корпусе - парень плохо знал семейные легенды и предания, знал только, что прадед был первоклассным летчиком в русских ВВС. Да он и сам - этот парень - служил в ВВС, правда, был на полигоне, ползал по болотам, обслуживая наземные цели, которые бомбили истребители современного поколения. И все же эта связь - прадед был когда-то в русских ВВС, и правнук тоже в ВВС - неожиданным образом наполнили парня чувством причастности к родной истории.

Хотя все это только громкие слова, а в данном случае словами вообще - ни громкими, ни тихими - ничего, наверно, не объяснишь.

Все, что творилось у парня в душе - все это было гораздо глубже, все это было гораздо тоньше того, что можно высказать словами.

Работу человеческого духа, которая свершалась в эту ночь в голове и в сердце парня, можно разве что сравнить с подвижкой льда: была река застывшая, закованная в прочную броню, но пригрело солнышко, припекло весеннее и вот - первая трещина молнией ударила по стрелю, и в таежной мертвой тишине зазвенели первые аккорды ледолома.

Вот что в ту ночь свершилось в душе у разбитного, отчаянного парня, вот почему он вдруг утратил беспечную свою улыбку. Неволя помрачнел, задумавшись о том, как дальше быть, как уберечь от беды этого наивного старого солдата, который по приезду в Москву может не только что звезды своей

лишиться - жизни. Те люди, с которыми Неволя был в одной «бригаде», давно работали без крови, без криминала. Эти ребята считались «продвинутыми» - награды у фронтовиков они предпочитали не воровать, а ловко подменять их добротными подделками. Но среди этих «продвинутых» было много всяких отморожков, которые могли пойти на что угодно. Вот о чем теперь думал Неволя, вот о чем так неожиданно забеспокоился он.

Однако были другие, кто заранее подумал и побеспокоился о фронтовике.

4

Трое людей в сером штатском - минут за сорок до Москвы - вдруг откуда-то возникли в середине состава, где находился штабной вагон, построенный в самом современном стиле; вагон отличался комфортом, изяществом, плавностью хода; здесь даже грохот колес был не так слышен - звукоизоляция, плюс ковры на полу.

Торопливо пройдя по коврам и оставляя на них отпечатки острых следов, непрошенные гости остановились возле двери с табличкой наверху «НАЧАЛЬНИК ПОЕЗДА». Переглянувшись, они постучали. Никто им не открыл, но где-то там, за дверью почудилась возня и приглушенный смех. Гости опять постучали - и опять никто к двери не подошел.

В эти минуты начальник - в своем персональном купе - проводил «профилактическую работу» с молодой проводницей. Сначала Быконя хотел ей выговор объявить за то, что проводница отключила в пути сигнализацию нагрева бункера, но потом он решил наказать ее по-другому. Но тут неожиданно предстал перед ним какой-то человек в сером штатском костюме, своим ключом открывший дверь купе.

Быконя грозно замычал:

- Пошли вон! Кто такие?

- Ревизоры! - Перед глазами разъяренного мужика-быка замаячили красные корочки. - Свет включить?

- Да ладно! Что врываться-то? Постучать нельзя?

- Стучали. И притом не однократно.

Быконя молча стал собирать портки, носки и прочую «казенную упряжь», которую в пылу успел разбросать по всему купе. Потом по-военному быстро одевшийся начальник поезда засверкал галунами и звездами и темно-синей фирменной одежде. Спрятав под фуражку кудри с сединой, он зачем-то взял под козырек.

- М-милости прошу! - замычал все еще смущенный Быконя. - Проходите. Присаживайтесь.

- Сидеть нам некогда, сидеть будут другие, - сказал «старший ревизор», мельком осматривая апартаменты начальника поезда.

Это было первоклассное, просторное купе, оборудованное широким диван-кроватью шоколадного цвета, шкафом для одежды и багажа, столом-трансформером и двумя коричневыми креслами. Здесь даже имелась отдельная туалетная комната с умывальным столом, душевой установкой и вакуумным унитазом, который в эту минуту чуть слышно сработал за дверью, где только что скрылась девица.

- А может быть чайку? - спросил начальник поезда, и неожиданно громко начинал молотить какой-то сущий вздор насчет того, что все у него в поезде в порядке. - Зайцев не было и нет! Бригада образцовая, зачем нам зайцы, ежели зарплатой не обидели? Да и какой навар с тех зайцев? Сами посудите. Возьмешь на рупь, а пострадаешь на сотнягу.

- Ну, хватит! - «Старший ревизор» поморщился. - Вы что, не поняли, кто мы есть и откуда? Зайцы нас не волнуют. Нас интересует серый волк.

- Волк? - Начальник поезда набычился. - Это который?

- Вот этот. Посмотрите фотографию.

- А ну-ка! Ну-ка! - Пыхтя и сопя, начальник склонился над карточкой. - Ну, этого я знаю.

- Откуда знаете?

- Он приходил, просил, чтобы в другой вагон перевели.

- И где он теперь?

- Да в шестом. В купейном. А что он такого...

- Не надо задавать лишних вопросов.

- Правильно, - подхватил Быконя. - Меньше знаешь, лучше спишь...

- Это смотря еще с кем, - как бы между прочим заметил товарищ в сером штатском. - Значит, так, начальник. Послушайте, как и что вам нужно делать дальше.

Быконя внимательно слушал и поминутно кивал головой, как китайский болванчик, и вдруг спохватился, замер - глаза его стали испуганно-круглыми.

- А стрельбы не будет, товарищ ревизор? - прошептал он. - А то у меня дома жена, детишек трое.

- А что ж ты раньше про них не думал? Папаша, мать твою! Ну, ладно! Веди нас в пятый! Живо!

- В шестой. Он в шестом.

- Ну, значит, в шестой! Да скорей!

Обреченно махнув рукою - будь, мол, что будет! - Быконя, постукивая коваными копытами, решительно двинулся по грохочущим шатким вагонам, время от времени косясь назад: ему на пятки едва не наступали трое в штатском.

5

Начальник поезда с такой силой распахнул дверь в купе - чуть не слетела с колесиков.

- Ревизия! - громко и строго оповестил он. - Попрошу предъявить документы!

Стародубцев сидел за столиком, на котором находилась початая бутылка водки, стакан, кусок черного хлеба и ломтики сыра. Удивленно посмотрев на сердито сопящего начальника поезда, Степан Солдатеич встал, не спеша порылся в карманах пиджака, висевшего на вешалке в углу, - протянул билет.

- А этот где? Попутчик ваш... - уже потише поинтересовался Быконя, глядя на недопитую водку.

- Вольдемар? Да он вышел куда-то.

В дверях замаячили серые тени.

- А давно он вышел?

- Да вот только что.

Серые тени метнулись в разные стороны - в один туалет и в другой. А через минуту все трое «ревизоров» сошлись посредине вагона в проходе. Переговариваться стали полупшепотом:

- Пусто.

- Ушел.

- Вот чутье у собаки!

- А может, где-нибудь в другом купе?
- Нет. Он не будет отсиживаться.
- И все-таки проверить. Береженого бог бережет.

Во главе с начальником поезда, лепечущим извинения, «ревизоры» тщательно проверили все остальные купе и не нашли того, кого искали.

- Ну, все? - недовольно сопя, спросил Быконя. - Я могу быть свободным?
- Да, спасибо. Можете продолжить.
- Чего? Кого продолжить?
- «Профилактическую работу». - «Старший ревизор» чуть усмехнулся. -

Кажется, так вы изволили выразиться?

Мрачней глазами, Быконя хотел что-то сердитое сказать, но предпочел ретироваться молча.

Потом «ревизоры» опять заглянули в купе к Стародубцеву.

- А вещи были у него? У вашего попутчика.
- Да вон сумка под лавкой... - Степан Солдатеевич растерянно скручивал в трубочку и раскручивал свой билет. - А что случилось-то? Он зайцем, что ли, ехал?

- Волком, - хмуро сказал «старший ревизор». - Он давно к вам подсел?
- Около одиннадцати. Где-то ближе к ночи. - Стародубцев хмыкнул в недоумении. - Мы с ним так душевно посидели, поговорили. Неужели он какой-нибудь...

«Старший ревизор» вздохнул, глядя на отпечатки зубов, оставленные на кусочке сыра.

- Ни какой-нибудь, а очень опытный. Поймать никак не можем.
- Да что вы говорите? - Степан Солдатеевич обратил внимание на бутылку, которая мелко-мелко стала вдруг постукивать о стакан, как будто чего испугалась. - А так-то вроде он - культурный парень. Сказал, что в музее работает.
- Это он вам не соврал. Он большой специалист в области музеев, музейных ценностей. Его даже зовут Музей. А точнее говоря - Мусей, Мусса.
- Ну, правильно. Мусса. Он так и сказал. А по паспорту он - Вольдемар.
- «Старший ревизор» вздохнул, глядя в глаза наивного старого солдата.
- А этот Вольдемар, он вам не сказал, что его Муссой называли под Соликамском?

- Он что, родился там? - не понял фронтовик.
- Да. Как Мусса он родился именно там, под Соликамском, в тюрьме «Белый лебедь».

- О, господи! - Стародубцев выронил билет, скрученный в трубку. - Бандит, что ли? Вот тебе на! А может, какая ошибка? Он же вовсе на бандита не похож. При шляпе, с галстуком. И такой обходительный.

«Младший ревизор» поднял билет и положил на столик рядом со стаканом недопитой водки. Затем он достал из-под лавки дорожную тощую сумку. Порылся внутри, прошуршал какими-то бумагами. Вынул пустую фляжку из-под коньяка, понюхал и бросил вовнутрь.

- Значит, так, Степан Солдатеевич, - тоном приказа начал «старший ревизор».

- А вы откуда знаете меня? - Стародубцев слегка удивился.
- Страна своих героев должна знать! Мы же тут не случайно. Да, кстати! Мы ведь вам не представились. Простите. Вот, пожалуйста.

Ему показали три красные корочки - совсем не ревизорские.

- Ого! - Фронтовик поцарапал ухо, посеченное шрапнелью. - Неужели все так серьезно?

- Увы! - сказал сотрудник Московского уголовного розыска. - Вы даже пред- ставить не можете, насколько все это серьезно и насколько далеко зашло.

Стародубцев прищурился, как человек, плохо видевший перед собой.

- Вы об чем говорите? Я что-то никак не раскумекаю.

- О наградных делах мы говорим, Степан Солдатеевич. Ваше поколение кровь проливало за ордена и медали, а эти подонки руки греют теперь. По всей стране идет охота за наградами. Понимаете? Все теперь продается и все покупается. И «Золотая Звезда» в том числе. Так что мы вам советуем быть осторожным.

- Да это что ж такое? - У Стародубцева во рту пересохло. - Неужто правда? Мы же за них воевали, за этих ребят...

Собираясь покинуть купе, офицер из уголовного розыска глубоко вздохнул.

- Степан Солдатеевич, дорогой! Вы где живете? А? Это - Россия. А вы как будто с Луны свалились.

Стародубцев развел руками, точно соглашаясь с этим странным фактом. Он и в самом деле был похож на инопланетянина, плохо понимающего жизнь современной страны, ее законы, а точнее беззакония, которые в последнее время там и тут правили «бал сатаны» на великих российских просторах.

Глава третья

1

Когда запахло жареным и Пустовойтову пришлось бежать в Москву - бе- жать, по-другому не скажешь - он тогда совсем забыл, что от судьбы не убежишь. В то смутное, лихое время перемен, когда вся матушка-Россия трещала по швам и готова была разорваться, все вдруг сложилось у него как нельзя лучше. Используя старые связи - еще советские, еще партийные - Пустовойтов хорошо закрепился в Москве. Нашел работу, купил жилье. (Поначалу снимал скромный угол.) И вскоре после этого Семен Азартович перетянул к себе сына - «отмазав» его от армии, пристроил по знакомству в престижный вуз.

Емельян, как большинство провинциалов, первое время был очарован, опьянен столицей - как «Столичной» водкой. Бродил часами по Москве, «воздухом истории» жадно дышал. Энергичный, общительный - весь в отца - он скоро завел себе новых друзей, новых подруг. И появились у него новые занятия, увлечения и пристрастия, среди которых стала выделяться «одна, но пламенная страсть» - страсть к дорогим наградам.

Началось это неожиданно и нежданно: орден Ленина свалился на него - в буквальном смысле.

В тот осенний день, в субботу парень прогуливался около дома - двадца- тизатная свечка стояла в Замоскворечье. Он ходил по скверу, ждал свою подругу - с минуты на минуту сокурница должна была выйти. И вдруг...

Непонятно, что там случилось - в той квартире под облаками. Может, ка- кая семейная ссора? Может быть, что-то еще... Как бы там ни было, но орден Ленина вылетел в окошко и упал на осенние листья. Емельян увидел орден под ногами и остановился - глаза «по чайнику». Орден лежал на крас- ных листьях, как на красной подушечке, на которой обычно носят награды впереди покойника, эти награды заслужившего. Именно об этом в первую секунду подумал Пустомеля, и это удержало его от того, чтобы нагнуться, подобрать. Емельян постоял возле ордена, вверх посмотреть хотел, узнать, откуда он прилетел? И в тот же миг - на подсознательном уровне - он по-

нял, что не надо делать этого. Надо сделать вид, что ничего тут не произошло. Как бы невзначай пошевелив ногой, парень прикрыл награду ворохом листьев - неподалеку от детской площадки - и дальше двинулся, продолжая, как можно спокойнее, прогуливаться в ожидании своей девушки.

Через две-три минуты в подъезде громко хлопнула дверь, башмаки застучали подковками. К нему подошел какой-то запыхавшийся мордovorот в черной кожаной куртке, в потертых джинсах.

- Ты ничего тут не видел?

Пустомеля постарался сделать «прозрачные» глаза.

- В каком это смысле - не видел?

- Ну, ничего тут сверху не прилетало?

- Синички были.

Мордovorот свирепо засопел и нагнулся - листья руками стал разгребать.

- Синички, мать твою! - забормотал он. - Мне башку открутят за синичку эту!

И снова дверь в подъезде открылась - сокурсница вышла.

- Я готова! - сказала она, горячо сияя влюбленными глазами. - А что?..

Что такое? Ты стал какой-то...

- Ничего. Пойдем, пойдем...

Подруга взяла его под руку.

- Да что случилось-то? Емеля! - Влюбленные глаза стали гаснуть. - Ты не болеешь?

- Ночь не спал.

- Зубрил, что ли?

Они прошли по скверу, шурша багрецом и золотом листья. Остановившись, Пустомеля украдкой посмотрел на мордovorота, продолжавшего искать упавший орден совсем не там, где надо было бы искать.

- Ты знаешь... - Он поморщился, потирая виски. - Я с этими конспектами скоро с ума сойду. Всю ночь писал, писал да переписывал, а потом читал да перечитывал. Башка теперь трещит, да так, что спасу нет!

- Ну, так я же сразу это заметила. Ты даже маленько побледнел. Что? Не пойдем, куда собрались?

- Да нет, наверно. Извини, что так...

- Ой, ну что ты! Иди, отлежись. А туда мы успеем.

Отвертевшись от своей подруги, Пустомеля затаился неподалеку от скверика, где орудовал мордovorот; он к тому времени снял свою черную куртку и на четвереньках ползал по земле - все вокруг детской площадки уже перерыл, будто раненный дикий кабан, хрипящий от ярости. Потом «кабан» пришел в тяжелое уныние; тупо глядя перед собой, он посидел на железном грибок - ярко раскрашенном мухоморе - покурил и вдруг заторопился уходить, когда увидел милицeйскую машину, проезжающую неподалеку.

«Похоже, дело пахнет керосином! - понял Пустомеля. - А может, ну его, тот орден?»

Постояв за деревом, подумав, он развернулся и пошел от греха подальше...

2

Поднявшись рано утром, парень, как обычно, собрался в институт. Однако, спустившись в метро, Пустомеля изменил свое решение и минут через двадцать вынырнул из-под земли не в районе своего института, а в районе Арбата. Стал прогуливаться там, глаза на товары «народного потребления» и удивляясь тому, что все теперь - практически все! - продавалось по сходной цене и покупалось.

Какое-то время он бесцельно вращался среди русских расписных матрешек; обывательских, плохо сделанных кошек; среди лаптей и самоваров; среди великолепных, но никому в ту пору, увы, не нужных книг бессмертной русской классики; среди прялок; зажигалок; среди красных знамен, барабанов и горнов. И все это было ему «по барабану». Глаза его скользили мимо, мимо.

А потом награды попались на глаза. Остановившись возле них, парень засмотрелся.

- Интересуешься? - спросил его какой-то остроглазый продавец с черными глазами, с покатым лбом философа.

- Да так... - Пустомеля замялся. - Ну, интересно вообще-то. Красивые цацки.

- Давай знакомиться! - Остроглазый продавец руку протянул. - Вольдемар.

- Емеля.

- Местный? Нет?

- Батя здесь живет. А я учусь.

- Понятно. И где грызешь гранит?

- В Юридической академии.

- О! Это весьма актуально! - заметил Вольдемар и показал двумя руками на свой прилавок. - Господин академик! Ну, и что вы можете сказать по поводу вот этой вот моей торговли?

Емельян поднатужился, вспоминая конспекты.

- Продажа государственных наград РФ, СССР и РСФСР в нашей стране запрещена, - заговорил он тоном прокурора. - В свободной торговле могут появляться только награды Российской империи. Продавцов и покупателей наград Великой Отечественной ждет наказание по статье триста двадцать четыре УК РФ: «приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

- И что им грозит? - Вольдемар стоял, скрестивши руки на груди, и так смотрел, как смотрит профессор, принимающий экзамен.

- А что им грозит? - Пустомеля скривил губу. - Хрен да маленько. Штраф до восьмидесяти тысяч рублей. Или штраф в размере шестимесячной зарплаты. Или эти... каторжные работы. Ну, в том смысле, что исправительные работы сроком до года. Или арест до трех месяцев.

- Правильно. Садись, «пять»! - похвалил Неволя и закурил. - Только все это настоящего коллекционера не остановит.

- Значит, ты настоящий, если торгуешь тут и не боишься...

- Слушай, академик! - перебил Вольдемар. - Неужели я произвожу впечатление слабоумного? Ну, какого черта я бы здесь торчал - себя под статью подставлял?

- А как же это? - Емельян растерянно глядел на ордена и медали бывшего СССР и РСФСР. - Это же голимая статья!

- Чудила! Это муляжи! Это, во-первых. А во-вторых, товар не мой. Друган покараулить попросил. Придет сейчас.

Пустомеля взялся рассматривать муляжи.

- Странно, а кому нужны подделки эти?

- Ну, были б не нужны, так он бы тут соплями на морозе не звенел.

- Логично. - Пустомеля покрутил в руках один муляж, другой. - А настоящие есть?

- А тебе зачем?

- Носить! - Емеля подмигнул. - У меня уже есть орден Ленина, хочу к нему прибавить кое-что.

- Орден Ленина? Свистишь? Это за что же тебя наградили?
- За боевые заслуги. - Наклонившись, Пустомеля шепнул на ухо Неволи: -
А где, кому тут можно орден загнать?
Несколько секунд Вольдемар пристально посмотрел ему в глаза.
- Ты сильно шустрый, я гляжу. Только ответь мне на один вопрос: а почему я должен тебе верить? А вдруг ты из МУРа?
- Ну, извини! - Емеля хотел отвернуться.
- Пстой! - Неволя острыми своими глазками, будто черными шильцами, быстро потыкал по сторонам. - Если ты серьезно говоришь, то давай сделаем так. Я тебе дам адресок. Завтра придешь.

3

Утром Неволя встретил его в назначенном месте - в Вернисаже на станции метро «Партизанская».

- Подходящее название, да? Поедем партизанскими тропами. - Вольдемар улыбнулся. - Значит, хочешь продать? По серьезному?

- Ну, а зачем бы я воду мутил? Или ты все еще думаешь, что я из МУРа?

- Да нет, не потянешь, - сказал Неволя, критически осматривая нового знакомого. - Пошли.

Неволя привел его к человеку, скупающему награды.

Скупщик - невысокий парень с холодными глазами рыси - за руку поздоровался с Вольдемаром.

- Что ты хочешь продать? - спросил Пустомелю. - Орден Ленина? Покажи.

- У меня его нету с собой.

Скупщика это не удивило - клиенты попадались очень осторожные.

- Ладно, - сказал он. - Будешь на пальцах рассказывать. Паспорт есть на орден?

- Есть! - соврал Пустомеля.

- А монетный двор какой?

- Не знаю.

- Ну, как не знаешь? Ленинградский или Московский? Не обратил внимания? А какая форма у него? Цельный он или сложенный? На подвеске или винтовой?

Человек с глазами рыси задавал вопросы как автомат - один за другим, без остановки - только успевай отвечать. Потом суровый скупщик замолчал. Достал сигареты.

- За орден Ленина на подвеске и с паспортом ты можешь получить примерно тридцать тысяч деревянных. - Он закурил. - Только надо еще внешний вид посмотреть. Оценить сохранность. Если бы товар был у тебя, я сейчас бы позвонил - покупатель мигом бы приехал. Тогда бы уже о цене договорились.

- Ну, я с товаром завтра сюда приду. Ты будешь?

- Я тут каждый день. - Докурив сигарету, человек с глазами рыси куда-то сгинул - как под землю провалился.

4

Отец по утрамке на работу еще не ушел, поэтому Емеля закрылся в туалете, достал орден Ленина и внимательно стал рассматривать портрет-медальон, сделанный из платины, обрамленный золотым венком из колосьев пшеницы. На левой стороне венка была пятиконечная звезда, внизу - серп и молот, справа в верхней части венка - развернутое полотнище красного знамени. Звезда, серп и молот, и знамя были покрыты рубиново-красной эмалью и окаймлены по контуру золотыми ободками. На знамени четко читались золотые буквы «ЛЕНИН».

Орден Пустомеля рассматривал неспроста. Он хотел быть уверенным, что все тут в целости и в сохранности, чтобы ему потом лапшу не навесили на уши - когда торговаться начнут.

Выйдя из подъезда, Пустомеля - уже в который раз! - уперся глазами в большой рекламный щит: «Красиво жить не запретишь!» Каждый день он читал этот броский плакат, и каждый день видел «красивую жизнь», беспечно смеющуюся то за окнами кафе, то за окнами ресторана. Эта красивая жизнь каждый день со свистом и сверканием проносилась мимо - на дорогих заграничных машинах. «А я что - рыжий? - временами думал Пустомеля. - Нет! Надо что-то предпринимать! А то даже подругу стыдно в кафе пригласить - стоишь, как бедный родственник, у стойки, считаешь копейки...»

И вот наконец-то Пустомеля почувствовал: начинается новая жизнь, та самая жизнь, про которую он теперь может с улыбкой сказать: «Да, господа, действительно, красиво жить не запретишь!»

В назначенное время он приехал на условленное место, где уже стоял, курил Вольдемар Неволя. Несколько минут они томились в ожидании, а потом перед ними - как из-под земли - вырос человек с глазами рыси. Был он собран, как перед прыжком. Немногословен. Посмотрел по сторонам. Поближе подошел.

- Принес?

- Принес.

Они в сторонку отошли.

- А паспорт на него?

- Дома забыл.

- Темнишь?

Человек с глазами рыси вынул из дипломата небольшую лупу. Скрупулезно осмотрел награду. Ногтем поцарапал муаровую, шелковую ленту, которой была покрыта пятиугольная колодка ордена. Потом орден лег на «весы» - на нежную ладошку с припухлостями, какие бывают у белоручек.

- Ну, и что? - усмехнулся Пустомеля. - Сколько тянет?

Скупщик ответил вполне серьезно:

- Общий вес примерно - тридцать три и шесть граммов. Чистого золота приблизительно двадцать восемь граммов. Платины - два и семьдесят пять грамма.

- Да ну? - Пустомеля не поверил. - Ты что? На вскидку?

- Можешь убедиться. - Человек с глазами рыси достал из дипломата небольшие весы. - Смотри. Ну, может быть, на грамм, на два ошибся.

- Обалдеть! - восхищенно сказал Пустомеля, глядя на цифры электронных весов. - Вот что значит, профи!

Минут через десять за орденом приехал покупатель в черных очках, в фуражке, низко надвинутой на глаза. И вскоре Пустомеля ощутил себя русским купцом - в карманах зашуршало три десятка тысяч. (Покупатель хотел дать меньше - орден без паспорта, но Пустомеля проявил редкое упорство.) Покупатель тут же скрылся, и человек с глазами рыси - будто растворился под землей.

Они с Вольдемаром остались вдвоем.

- Ну, что? Айда куда-нибудь! - сказал Пустомеля и сделал широкий жест. - Я угощаю! Отметим!

Неволя покрутил головой с большими залысынами.

- Тут есть одно приличное кафе. Вон там.

- Кафе? А может, ресторан?

- Академик! Ну, как скажешь.

Пришли в один из лучших ресторанов. Заказали всякую всячину - стол от закусок и водок ломился.

- Ну! - Пустомеля сиял. - С почином!

- Неплохой почин, ага, - согласился Вольдемар. - Лучше бы, конечно, тридцать тысяч долларов, но для начала и так сойдет.

Выпили по рюмке, закусили. Пустомеля засиял еще сильнее.

- Отличный бизнес можно сделать на этом деле, да? - сказал он, вновь разливая по рюмкам.

- На орденах? Конечно, можно. Люди делают. - Неволя почесал блестящую зальсину. - Слушай, господин юрист, дело, конечно, не мое собачье, но просто интересно... Кха-кха... Где это ты, в каком бою добыл тот орден?

- Нашел.

- Ври, Пустомеля! Твоя неделя!

- Нет, правда, нашел. Честное слово.

Вольдемар удивленно покачал головой.

- Бывает. Ну, и как же ты думаешь делать свой бизнес? Каждый день по ордену находить на улице?

- Нет. У меня есть идея. Я сегодня думал, ночь не спал.

- Академик! Ты, я вижу, серьезно настроился? - Острыми глазами потыкав по сторонам, Вольдемар наклонился к нему. - Но я тебя хотел бы просветить.

- Рентгеном, что ли? - Пустомеля усмехнулся. - Ну, просвещай. Я на лекции сегодня не пошел, так что ты мне можешь прочесть.

- Давай, конспектируй. Самое первое и самое громкое «наградное дело» произошло в Москве в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. У себя на хате был убит Герой Советского Союза адмирал Холостяков. По тем временам это было фантастическим кошмаром, и поэтому дело расследовалось под личным контролем Андропова, тогдашнего генсека нашей мудрой партии. И, наверно, поэтому легавые тогда на славу поработали. Они в тот год нашли и повязали всех чертей, которых было двадцать человек. Прикинь! Там пахала целая артель! Эти долбанные старатели золотишко мыли по всей стране. Гастролировали по городам и весям.

- Ты к чему все это мне рассказываешь?

Неволя закурил. Веселыми глазами посмотрел на девочку, неподалеку занимавшуюся стриптизом.

- Много людей - много шуму, - сказал он. - А я по характеру волк-одиночка.

- Я тоже. - Пустомеля подмигнул. - Стало быть, сойдемся, да?

- Ну, это еще надо посмотреть...

- А что смотреть? Деньжата на кармане. Завтра я покупаю машину...

- За тридцать тысяч? - Неволя засмеялся, растрясая пепел на тарелку. - Машину под названием «велосипед»?

- Нет. Мне батя добавит.

- А чем он у тебя занимается?

- Квартирным бизнесом.

- Да? Ну, это прибыльное дело. Так. Ну, купишь тачку, а потом? Что дальше-то?

- Поедем с тобой, покатаемся по Подмоскovie. Посмотрим, где что плохо лежит. - Пустомеля снова разлил по рюмкам. - Ты расценки знаешь?

- Ну, естественно. Я собаку съел на этом деле.

- Вкусная? Собака-то? - Пустомеля хохотнул. - Итак, Вольдемар Вольдемарыч, меня интересуют расценки.

Раздавивши сигарету в пепельнице, Неволя сказал, весело мерцая острыми глазами:

- Хорошо. Конспектируй. Самой дорогой наградой бывшего Союза является орден «Победа». Шестнадцать карат бриллиантов. Он может потянуть от четырех до десяти миллионов долларов.

- Ну ху-ху! - Пустомеля присвистнул. - Найдем одну «Победу» и будем обеспечены до старости годов!

- Тише ты. - Неволя оглянулся. - Найдешь, ага.

- А что, уже подчистили?

- Ну, может, кое-где еще, кое-что осталось. А вот такую «Победу», которую в свое время носил маршал Жуков, ты вряд ли где-нибудь купишь даже за такие бешеные бабки.

- Ладно. А что там дальше по преискуранту?

- После ордена «Победы» идет орден «Кутузова». Потом орден «Богдана Хмельницкого». «Александра Невского». «Ушакова» и «Нахимова» первой степени.

- А эти почему?

- Ну, эти слабовато уже ценятся. Начиная от тридцати тысяч долларов.

Пустомеля чуть не вскрикнул:

- Ни хрена себе - слабовато!

Вольдемар опять острыми глазами потыкал по сторонам.

- Ты че орешь? Окосел?

- Да это я так - от удивления.

- Ты от удивления шары на лоб выкатывай. А про такие дела говорить надо тихо. Ты же знаешь, чем это пахнет.

- Я в курсе, мы этот курс в академии проходили, - скаламбурил раскрасневшийся Пустомеля.

- Академик! Ты сказал, идея у тебя? - напомнил Неволя. - Выкладывай.

Пространно улыбаясь, «академик» молчал, разомлев от еды и питья. Стриптиз, живая музыка, живой огонь в камине - все это настраивало душу на спокойный, лирический лад.

5

Пустомеля начал специализироваться на различных наградах, и вскоре очень даже преуспел - талант открылся. За два года он так развернулся, так забурел на этом деле, что позволил себе даже «скромный домик» в Лондоне купить, не говоря уже о трех квартирах в Москве и Подмосковье. Хорошо он раскрутился, а главное - без криминала, без помощи отморожков, которые творили произвол. Он работал тихо-мирно, с выдумкой, с огоньком во взоре - люди любят веселых гостей.

Творческих подходов к делу было много. Вот, например, один такой «подход». После предварительной кое-какой работы, Пустомеля приходил, звонил очередному фронтовику и представлялся то работником ЖЭКа, то почтальоном Печкиным, то еще кем-нибудь. Обаятельный и разговорчивый, он легко и скоро входил в доверие; чаек на кухне пил, слушая рассказы фронтовика и проявляя поразительное знание истории Великой Отечественной войны, поскольку он заранее к этому готовился; узнавал, когда и где, в какой части фронтовик воевал и за что, какие награды получал.

- Вы говорите, что на Белорусском проливали кровь? - переспрашивал Пустомеля. - Ну, надо же! И у меня отец там воевал. Рассказывал.

И фронтовик изумлялся тому, что парень знает такие детали боев и операций на Белорусском фронте, какие может знать только человек, там побывавший, то есть, батька вот этого славного парня из ЖЭКа.

А потом наступало второе отделение концерта.

В дверь кто-то звонил или стучал, и на пороге появлялся Вольдемар Неволя. Он был в богатом бархатном халате, в домашних тапочках, расшитых то ли бриллиантами, то ли мелким бисером. Волосы на голове у Вольдемара от ужаса были всклокочены, глаза метали молнии.

- Мужики! Вы че тут? Совсем обнаглели? - возмущался он, закрывая за собою дверь. - Вы меня затопили! Я только вселился, сделал капитальный ремонт, а вы меня помоями своими...

- Кто? Где? Да что ты! Что ты! - Фронтовик бежал в ванну. - Гляди! Тут все краны закрыты!

- Так вы, может, закрыли только что! А у меня там - сплошной караул! Кто тут хозяин? Ты? - Вольдемар сердито брал старика за рукав. - Пошли, отец, посмотришь, какое там Черное море!

Обескураженный фронтовик, побряхывая, шел за Вольдемаром и останавливался возле закрытой двери. И тут, на площадке, Неволя - артист из погорелого театра! - волосы рвать на башке начинал.

- Дверь захлопнулась! Елки! Ну, куда я теперь? - Вольдемар царапал голую грудь под бархатным халатом. - Надо вызывать МЧС. Двери надо ломать. Тоже убытки, мать вашу! Вот повезло мне с соседями! Старик! Телефон-то хоть есть? Ну, пойдём, позвоню.

Они возвращались в квартиру фронтовика и Вольдемар делал вид, что звонит куда-то и вызывает специалистов по вскрытию дверей.

После такого концерта два добрых молодца бесследно исчезали, а вместе с ними исчезали все награды фронтовика, только он об этом не сразу догадывался: вместо дорогих регалий оставались дешёвые, блестящие подделки.

6

Сколь веревочка не вейся, а конец пребудет. Сотрудники МУРа сумели их вычислить и взяли с поличным. Пустомеля - как главный заводила всех ограблений - получил на полную катушку и длинными этапами уехал куда-то на Колыму.

Для Семена Азартовича это было полной неожиданностью, потому что Пустомеля оказался отличным конспиратором. Он все это время учился в Юридической академии, конспекты разбрасывал по квартире - такая привычка. Когда пришла пора - к дипломной работе начал усердно готовиться. И только одно порой удивляло отца: Емельян с каким-то фанатическим пристрастием изучал историю Великой Отечественной войны.

Иногда заходили у них разговоры на этот счет.

- Наверно, зря я настоял на юридическом, - покаянно говорил Семен Азартович. - Надо было тебе идти на исторический.

- Еще не поздно, - отвечал Пустомеля, закрывая толстую энциклопедию войны. - Буду получать второе образование.

- Это правильно, сынок. Не помешает.

Второе образование получать пришлось ему на лесоповалах. Как ни старался отец во время следствия - чертову уйму денег вбухал в адвоката, на-

десять отстоять своего оболтуса - не получилось. И тогда Семен Азартович «с другого конца» взялся за решение этой проблемы. Внимательнейшим образом изучив нормативно-законодательную базу и осторожно используя кое-какие связи в криминальных кругах, он приложил все усилия, чтобы сынок из-за решетки вышел как можно раньше. Это получилось, правда, за такие бешеные деньги, что не дай бог...

Пустовойтов полетел на Колыму и встретил сына у ворот проклятой зоны. В первую минуту увидел замордованного зека - не узнал. И сердце сжалось так, что долго разжаться не могло.

«А кто виноват? - думал Семен Азартович, когда уже взлетели над заснеженной, угрюмой Колымой. - Сам виноват, никто! Сутками на своей работе пропадал, пропади она пропадом! А после работы куда я смотрел? Надо было глаза на затылке иметь, чтобы не видеть тех перемен, которые с ним происходили. По кабакам таскался, за границу стал уезжать. Он постоянно врал мне то про каких-то богатых друзей, то про какую-то богатую находку на дороге. И я охотно - очень даже охотно! - верил ему. Так мне было удобно. Отличный папа - ничего не скажешь!»

7

Жалко было оставлять налаженное, прибыльное дело, но сын дороже. Пустовойтов покинул Москву и забрал Пустомеля с собой, пригрозив обломать ему руки и ноги, если тот еще хоть раз попробует заняться наградными делами. Пустомеля зарекся, но тяга - странная, болезненная тяга к боевым наградам ветеранов - осталась в душе у него. И старые связи остались. Иногда - уже будучи директором ликероводочного завода - он ездил в Москву и встречался там с надежными, проверенными корешами. Иногда звонил и сообщал им кое-какие важные сведения, касавшиеся той или иной медали, ордена или «Золотой Звезды Героя».

И Стародубцев мимо него прошел.

Из газеты местного «разлива», узнав информацию по поводу героя, - но еще не зная, что именно отец похлопотал за старого солдата, - Пустомеля позвонил в Москву и удивился тому, как все удачно складывается. Случилось так, что Вольдемар Неволья по делам своей «фирмы» только вчера приехал в область. Через пару дней старые друзья встретились на даче Пустомели, коньячку попили, попарились в баньке, и вскоре после этого Неволья сел на поезд и поехал - уже в качестве «инкассатора», сопровождающего «ценный груз».

Глава четвертая

1

Москва показалась ему завоеванной. Куда бы ни смотрел старый солдат, везде было что-то нерусское, что-то нахально орущее и словно бы хватающее за грудки - иди сюда. И все это сделано было - ярко, броско, с учетом того, что человеку трудно будет глаз оторвать от такого шедевра. И действительно - Стародубцев не хотел смотреть, а все равно смотрел, смотрел в надежде прочитать что-нибудь знакомое, родное. Нет. Везде и всюду были одни заграничные загогулины. В глазах у него скоро зарябило, а в висках застучало. Тут он видел - прямо перед собой - какой-то немецкий «Golf Club Forum». Красно крупное «FIGARO» здесь и «FIGARO» там возникало в неоновом свете. На плакатах полуобнаженные красотки в натуральную величину приглашали в

какое-то заведение под названием «MODE & PHOTO MODELS & MODEL AGENCIES». Краснорожий пузатый мужик с кружкой пива махал свободной картонной рукой, заманивал в какой-то «Bar BQ Cafe». И ни конца, ни края не было нашествию этих проклятых завоевателей.

Степан Солдатевиич остановился на привокзальной площади, где было малоллюдно в этот ранний час. Он присел на свободную лавку, вынул папиросы.

- Да это что ж такое? - вслух подумал он, затравленно глядя на «завоеванный» город. - Оккупанты чертовы! Все под себя подмяли! Живого места нет!

И вдруг на лавке рядом с ним оказался какой-то сухой старичок с белой бородкой, одетый в помятую серую косоворотку, серые штаны.

- Господин приезжий? - вежливо спросил он.

- Приезжий.

- Что? Не узнаете матушку-Москву?

- Да где ж ее узнать! - Стародубцев горько вздохнул. - Я как вышел из вагона, так и обомлел. Наверно, думаю, приехал не туда...

- Туда, туда приехал, мил человек. Все мы туда приехали.

- Куда?

- В капитализм.

- Ну, я туда билет не брал, так что извиняйте.

- А нас теперь не спрашивают. - Старичок поцарапал белый клин бороды. - Молодые теперь правят бал. И мне порою кажется, что это - бал сатаны.

- Мне тоже так...

- Я рад, что мы друг друга понимаем! - Старичок поднялся и, встряхнув остатками волос на голове, представился профессором каких-то там наук - Стародубцев не расслышал. - Вы когда в последний раз были в Москве?

- Теперь даже не вспомню. А что?

Помолчав, профессор подслеповато посмотрел на белого замурзанного голубя, крутившегося неподалеку, на воробья, клевавшего хлебную корку.

- Так называемый эстетический облик столицы теперь стал проблемой, которая беспокоила и ученых, и врачей. А я им давно говорил! - Профессор костлявым кулачком постучал по лавке. - Давно! Когда еще! Так они и слушать не хотели. И только вот теперь до них дошло, что эти серые, эти тупые кварталы наших спальных районов и гигантские небоскребы из бетона и стекла - все это оказывает ужасное влияние на жителей мегаполиса.

- На жителей кого?

- Москвы. Вот вы, к примеру, только приехали и сразу же попали в нашу агрессивную среду. Как вы изволили сказать? «Оккупанты»?

- А что, разве не так? Где тут можно прочесть что-то русское? Разве только на заборе.

Профессор хихикнул, показывая светло-сизые фарфоровые зубы, ненатурально красивые, ровные.

- Правильно, правильно вы говорите, господин приезжий! И я об этом говорил! Когда еще? Так они и слушать не хотели! И что мы имеем в итоге? Ежедневное, чтоб не сказать многолетнее созерцание наших убогих пятиэтажек и даже вот этих сверхсовременных сооружений, сляпанных в стиле хай-тек - все это вызывает у людей целый букет серьезных заболеваний. Да, да. Близорукость, эпилепсия и многие другие физиологические и психические расстройства. Вот когда спохватились они, наши ученые. Вот когда облик наших больших городов и влияние этого облика на человека стала изучать наука - так называемая видеоэкология. - Профессор замолчал, пони-

мая, что его занесло довольно далеко. - Н-да. Вот такие вот дела, господин приезжий. Кха-кха. Вам, собственно, куда? Вы на рынок? В гости?

Стародубцев пожал плечами.

- Мне вообще-то в Кремль. В Георгиевский зал.

Старичок изумленно икнул, а потом засветился от радости.

- В Кремль? Это прекрасно! Это как раз то, что надо! Я им всегда говорил, да только не слушали! Для того, чтобы снизить вредное влияние визуальной среды, нужно почаще выезжать на природу. Идите в лес! Идите в парк! Идите на... - Тут старичок закашлялся. - А если нет у вас такой возможности - идите созерцать великое творение Кремля, Храм Спасителя, ГУМ, Исторический музей, Новодевичий монастырь, Дом-музей Васнецова и многие другие наши дивные здания с причудливыми фасадами и самобытными формами.

- Музей, говорите? - Степан Солдатеич поднапрягся. - А вы случаем ни того - не специалист по музеям? А то я уже с одним познакомился...

Они еще немного поговорили о жизни прошлой и современной. И опять профессор удивлял его странными какими-то, несслыханными словами.

- Не стало СССР! - горячо загоревал старичок. - Теперь другая аббревиатура - СНГ. А что это значит? Сбылись Надежды Гитлера, вот что это значит, господин приезжий. Так что Москва завоевана. Кругом оккупанты, давеча вы правильно заметили.

«Вот это загнул старичок большой рыболовный крючок!» - уходя, обескураженно подумал Стародубцев.

Отойдя от привокзальной площади, он оглянулся.

Старичок тем временем достал откуда-то метлу и начал бойко подметать - в слабом солнечном свете над площадью пыль золотисто клубилась.

- О! - Стародубцев покачал головой. - Дак и я тут профессором работать могу!

2

«Начинается земля, как известно, от Кремля!» - эти строчки из детского стихотворения давно уже запали в душу Стародубцева, но только теперь вдруг пришло ощущение, насколько это верно. Может быть, не для всех это верно и точно, а для него, для старого солдата, - бесспорно и несомненно.

У него даже грудь распрямилась на Красной площади, когда он остановился посередине, на чистой, будто с мылом помытой, брусчатке. Широко раскрытыми глазами он стал гулять у северо-восточной стены Кремля, между Кремлевским проездом и проездом Воскресенские Ворота, и дальше - до Никольской улицы, до Ильинки, до Варварки, до Васильевского спуска к Кремлевской набережной.

Стены Кремля задорно розовели, отражая утреннее солнце. Золотые купола пронзительно сияли на фоне голубого майского неба. Над колокольней Ивана Великого - на фоне одинокого белого облака - весело всплеснулась стая голубей.

Куранты мелодично заиграли на Спасской башне - увесистыми ударами отмерили точное время.

В запасе было несколько часов, и Стародубцев, от нечего делать, побродил возле ГУМа и Средних торговых рядов. Постоял возле Исторического музея, возле Казанского собора и храма Василия Блаженного. А потом как-то незаметно для себя он пристроился к очереди в Мавзолей.

Очередь, с грустью заметил Стародубцев, была не такая хвостатая, как во времена Советского Союза - по телевизору неоднократно видел. Нынче

какая-то куца очередь. Но дело было даже не в количестве, а в качестве этой очереди.

Странный разговор услышал он в толпе у Мавзолея. Разговор о том, что стены Траурного зала облицованы черным и серым полированным лабрадором, а вот снаружи - розовато-красные шокшанские кварциты.

Широкоплечий парень с покатым, низким лбом неандертальца объяснял своему дяде Пете:

- Шокша - это село в Прионежском районе Карелии. У меня там друг живет. Вместе работали в геологии. Но есть еще одно значение этого слова. Шокша - это малина.

- Ну, ясное дело, - согласился дядя, - малиновый цвет.

- Ты не понял, дядя Петя. Если шокша - это малина, то получается, что этот мавзолей - самая главная в стране «малина». И покоится тут самый главный пахан.

- Тю, дурачок. Ну ты ляпнул! Это что, на блатном языке? Или сам такую ерунду придумал?

- Да ничего я не придумал. Это факт. Исторический.

Седобородый старикан с клюкою, стоящий сбоку, заворчал, сдвигая косматые брови:

- В былые времена вас, оглоедов, за такую крамолу мигом бы определили, куда следует...

- Слава богу, кончились былые! - сказал «неандерталец», наморщив низкий лоб.

Слушаю эту «крамолу», Степан Солдатович запнулся на ровном месте - чуть не упал на брусчатку. Дядя Петя с племянником-«неандертальцем» мельком посмотрели на него и, покинув очередь, направились куда-то по своим делам.

А разговор между тем продолжался - вокруг да около мавзолейной темы и проблемы.

- Не по-христиански это, - говорила Фетровая Шляпа. - Похоронить уж надо бы. Залежался вождь. Да и вот этих тоже надо хоронить. А то сделали, черти, Некрополь в центре Москвы. Мало того, что свои тут похоронены - политические деятели, военные. Так тут же еще в двадцатые и тридцатые годы хоронили даже иностранных коммунистов.

- Ну, этих, которые в Кремлевской стене, их кремировали, - сказала Кожаная Кепка. - Там же только пепел, прах. А этот - вождь мирового пролетариата - лежит целиком.

Фетровая Шляпа громко хмыкнула.

- Да что там он него осталось? Целиком!

- Вот как раз то, что осталось, - раздраженно ответила Кепка, - надо как можно скорее в землю зарыть, кол осиновый забить, чтоб не поднялся он, да не убежал вторую революцию творить!

- Ну, это вы зря злопыхаете, заступилась Пожилая Дама. - Схоронить бы надо по-человечески.

- Надо, надо! - В разговор вступил Железный Бас. - А то как бы снова не учинил кто-нибудь покушение. Два-то уже было.

- Да вы что? - изумилась Кожаная Кепка. - А я ни об одном из них не слышал.

- Да где же тут услышишь? - рокотал Железный Бас. - Рот нельзя было открыть! Было два покушения! Первый раз какой-то придурок притащил с собою молоток и шархнул по стеклу саркофага. Стекло разбилось, а по-

койничек не пострадал. Даже глазом, говорят, не моргнул. А вот второе покушение - это уже серьезно. Человек себя взорвал возле саркофага. Камикадзе, можно сказать.

- Ой, мама родная! - Пожилая Дама едва не взвизгнула. - И что? Что было?

- А ничего там не было потом! - усмехнулся Железный Бас. - Камикадзе в ключья разнесло, и всех, кто рядом был... А вот саркофаг не пострадал.

Невольно продолжая слушать всю эту базарную трескотню, Стародубцев, раздражаясь на болтунов и понемногу остывая душой и сердцем, какое-то время еще потоптался в очереди и отдалился от Мавзолея. Покурил возле урны и сплюнул в нее. Как-то очень грустно ему вдруг стало. Грустно и даже тоскливо. Он даже сам не знал, что с ним произошло в эти минуты, но только расхотелось, да и все, расхотелось идти к мертвому вождю.

«Я сам теперь такой! Наградили-то мертвого!» - подумал Степан Солдатеич, глядя на куранты и удивляясь тому, как медленно тянется время.

3

Покруживши по Красной площади, он хотел пройти к Могиле Неизвестного Солдата, поклониться и мысленно поговорить с тем солдатом, сказать, что вот приехал он за звездой героя, а на самом-то деле эту звезду получить должен именно он, Неизвестный солдат, на своих плечах да на своем горбу притащивший Победу.

Кованые черные ворота в Александровский сад охранял молодеватый краснощекий милиционер - стоял, как статуя, поверх голов смотрел глазами, полными казенной важности.

- Нельзя, - лениво сказала статуя, преграждая путь Стародубцеву.

- Кому-то, может, и нельзя, а мне сегодня можно, - ответил Степан Солдатеич с такой наивной непосредственностью, что милицейская статуя ожила.

- Почему это? - Маленькие серые глаза милиционера скользнули по Стародубцеву. - Нельзя, папаша. Там иностранная делегация. Подождите.

- Подожду, я не гордый. А кто там? Что за делегация?

- Гости из Германии.

Степан Солдатеич вздрогнул и побелел. И рука его, схватившая железный прут ограды, побелела от напряжения.

Милиционер заметил. Заволновался.

- Что с вами? Дурно?

- Гости, говоришь? - хрипловато спросил Стародубцев. - Это те, которые убили?

- Какие «те»? Кого они убили?

- Ну, этого... солдата неизвестного. Убили германские гости, а теперь, конечно, им в первую очередь надо пройти на могилку, покаяться, грех замолить. А русский Ваня - хрен с ним! Подождет! Утрется!

- Папаша, вы не поняли...

- Да все я понял! - сердито перебил фронтовик. - И сколько вы им будете пятки лизать, оккупантам этим? Самому-то не противно? Нет? Такой бугай здоровый, а стоишь тут, груши хоботом околачиваешь.

- Я попрошу вас, гражданин! - Переходя на рычащие ноты, милиционер поправил «демократизатор» - резиновую дубинку, висящую сбоку. - Идите отсюда.

- Эх, ты! - загорячился Стародубцев. - Немцы у тебя на первом месте? Да? А ты сам-то кто после этого?

- Идите, вам сказано, пока я не вызвал наряд.

- Эх, стыдоба! Такая стыдоба, что этот солдат неизвестный сто раз уже, наверно, в гробу перевернулся!

- А ну, вали отсюда! - Милиционер крепкой рукой снова дубинку потрогал. - Вали, пока не врезал.

- А ну-ка, врежь! Попробуй! Я погляжу, куда ты полетишь со своей бесовственной дубиной! - Стародубцев грудью попер на «амбразуру». - Врежет он! Смелый какой - со стариками воевать да с бабами! Ты вон германцев иди, погоняй, и всяких там прочих, которые скоро будут мочиться на Красной площади, а ты за ними будешь подтирать. Совсем уже... Продались, как эти...

- Я вас прошу! - гоня желваки по скулам, сдержанно сказал милиционер, глядя на скромненькие наградные планки фронтовика. - Уйдите похорошему. Уйдите.

Прежде чем ретироваться, Степан Солдатеич несколько секунд гневно смотрел на него. Подняв указательный палец, он что-то важное хотел еще сказать, но в горле вдруг засвистело - у него случился приступ астмы на нервной почве. Глубоко дыша, он отвернулся и понуро побрел от железной ограды, унося в душе обиду и оскорбление - за себя, за Неизвестного Солдата, за всех, воевавших на Великой Отечественной...

4

Стародубцев так разволновался, что перед глазами покатались красные круги - будто солнце над Москвой разбилось на куски и полетело кубарем по брусчаткам да по мостовым. В глазах у него вдруг померкло, но в душе открылось какое-то загадочное зрение, и он остановился, пораженный изумительной картиной: Москва гудела в сорок сороков, раскалывая небо колокольным боем тех колоколов, каких теперь не сыщешь днем с огнем - это была Москва XVII века: по архитектуре, по цвету, звукам и запахам. С куполов сорвавшиеся голуби, а вслед за ними галки и вороны тучами кружили над престольным градом, роняли рассыпчатые тени на реку, на черные кривые улочки, мощенные тесаными бревнами. Птицы галдели вверху, а внизу гомонил бесчисленный народ, среди боярских и купеческих домов спешащий куда-то. Но никого и ничего отдельно в эти минуты нельзя было слышать - только один колокольный, вольный, властный, все под себя подмявший перезвон хозяйничал над матушкой-Москвой. Город готовился справлять свой жуткий праздник - большую казнь большого бунтаря. И вдруг среди этой разношерстной толпы Стародубцев увидел себя, одетого в сермягу, в растоптанные сапоги. Вместе со всеми он тоже куда-то спешил. А потом неожиданно остановился в потоке людей.

- Граждане! - громко спросил он. - Господа хорошие! Кого казнят? Пугачева? Долбачева? Или Стеньку Разина?

- Надрался уже с утречка, - услышал он ехидный голос за спиной. - Во, счастливчик!

Покачнувшись, Степан Солдатеич голову руками обхватил, приходя в сознание: это не Москва гудела - это голова звенела в сорок сороков, виски раскалывались колоколами.

Прислонившись к какой-то прохладной стене, Стародубцев с ужасом наблюдал, как перед ним продолжают мелькать разноцветные платья, кафтаны-сукманы; липовые лапти шуршали по булыжникам; скрипели и постукивали смазные и сафьяновые сапоги; юродивый спешил на четвереньках, путаясь в грязном рванье.

Он крепко зажмурился. Головой потряс.

- Товарищ! Вам плохо? - спросил кто-то рядом.

- Ничего, нормально... - пробормотал Степан Солдатеевич, делая над собой усилие, чтобы плечом оттолкнуться от каменной стенки.

Гремящее сердце понемногу стало успокаиваться. К нему возвращалась реальность. Шагая дальше - неподалеку от Спасской башни - он помешал движению какой-то важной птицы: водитель резко посадил черную «Чайку» на тормоза - послышался протяжный визг, похожий на подлет снаряда. Машинально сгорбившись, Степан Солдатеевич ощутил в себе звериное желание зарыться в землю.

Приближающийся бампер дохнул в лицо горячим грозным воздухом рычащего мотора, насильственно сбитого с такта. Недовольно ерзая на сидении, шофер зашевелил губами за широким пуленепробиваемым стеклом. Стародубцев посторонился, виновато улыбаясь бамперу. Шипы сердито скребанули по брусчатке, зашипели на ротозея - и новенькие шины опять зашелестели по брусчатке, увозя раскормленные тела чиновников, под которым нежно гнулись и постанывали рессоры.

Глазами провозжая «Чайку», старый солдат болезненно поморщился - опять он обратил внимание на то, на что давно уже никто не обращал: на всех российских автомобилях рядом с номером было написано «RUS». Холуйская эта пометочка сделана была как будто специально для того, чтобы иностранец чувствовал себя в России, как дома, а русский, наверно, должен чувствовать себя в гостях. Так, что ли, прикажите это понимать?

Стародубцев постоял в тени под деревом и дальше куда-то побрел, совсем забывая, зачем он приехал в Москву. Завернув за угол, он опешил - афиша по глазам ударила аршинными, яркими буквами: «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ».

Какой-то длинноногий «волосатик» мимо шел: на затылке волосы резинкой были схвачены в тугую косу; в левом ухе серьга сверкала.

- Дочка! Ой, прости, сынок, совсем я ослеп! Подскажи ты мне, дураку, что тут написано? Кого казнят?

- Это спектакль так называется, - снисходительно сказал «волосатик», почесав бородавку на носу.

- Во как! А я подумал, Стеньку Разина казнят. Или Пугачева. Или Долбачева. А это, выходит, спектакля? Во как!

- Папаша! - «Волосатик» хохотнул, показывая гнилые зубы. - Закусывать надо!

Глядя в спину уходящего «волосатика», Стародубцев охнул. Кажется, только что этот гнилозубый парень промелькнул в людском водовороте семнадцатого века. Стародубцев хорошо запомнил эту бородавку на носу паренька - рыжая, волоски торчат посередине.

«Правда что, надо закусывать!» - подумал он, ощущая себя охмелевшим, одуревшим от шума-гама и толкотни.

Двигаясь дальше, он услышал чей-то визг и причитание под разбитную музыку:

Москва златоглавая,
Звон колоколов!
Царь-пушка державная,
Аромат пирогов!..
Все прошло, все умчалось
В невозвратную даль,
Ничего не осталось,
Лишь тоска да печаль...

«Вот это правильно! - с горечью согласился Степан Солдатеевич. - Ни хрена не осталось! Всех побили, показали! Одни «волосатики» скачут как блохи!

5

Предпраздничная столица бурлила площадями, закоулками, там и тут гроздьями висели разноцветные шары, пестрели транспаранты, лозунги, красные флаги оживали на ветру, но красных было мало - трехцветники пришли на смену. Стародубцев старался на них не смотреть, но ведь не будешь все время глазами асфальт ковырять. И опять, и опять поднимая глаза, Степан Солдатеевич надсадно вздыхал: «Господи! Да что это за триколор такой? Это вроде бы красное знамя, только сверху побелевшее от злобы и страха, а посередине посиневшее от холода. Нет, не под этим знаменем я фрицев бил и кровушки лил за Отчизну!»

И опять Москва - и даже вся страна! - показала ему завоеванной, потерявшей свою главную святыню - знамя. И опять в нем пробудилось чувство униженности, оплеванности. Старичок-профессор пришел на память. «Не стало СССР, - вспомнились слова профессора. - На смену пришло СНГ. А это значит, - Сбылись Надежды Гитлера!»

Стародубцев остановился.

- Господи! - пробормотал. - Неужели?

После беседы со странным профессором у Стародубцева появилась шальная, сумасбродная мысль, которую он отгонял от себя, а она, проклятая, возвращалась опять и опять, сверлом сверлила бедную контуженную голову.

Черт его знает, размышлял Стародубцев, терзаясь сомнениями, а может, Гитлер жив? Может, он ведет войну и побеждает, только теперь уже без пушек, тихой сапой. Да, конечно, Иван Чураков, солдат из Третьей ударной армии, нашел труп Гитлера и Евы Браун: эсэсовцы перед входом в бункер сожгли их в бомбовой воронке. Все так и даже более того: дьявольский череп Гитлера - его остатки - до 60-х годов хранились где-то здесь, в Москве, в Главном управлении по делам военнопленных и интернированных. И все-таки - сбылись надежды Гитлера! Тогда, в зимних боях сорок первого - сорок второго фашисты не смогли завоевать Москву, хотя уже добрались до канала «Москва-Волга», захватили город Клин, форсировали Истринское водохранилище, взяли Красную Поляну, Солнечногорск, Истру. На юго-западе танки Гудериана с грохотом наваливались на Каширу. Все, хана, казалось бы, Москве! Ан да нет! Наши войска в ту зиму хорошего пинка наладили фашистам - отбросили на западном направлении на восемьдесят и даже на двести пятьдесят километров. Ну, а потом - Берлин, весна, Победа. Не получилось тогда у Гитлера. А теперь вот он, паскуда, вошел в Москву! Вошел - с другого боку! И неспроста теперь повсюду повторяют матерное слово проституция, ой, ну то бишь эта - реституция, да-да. Под видом этой самой прости-реституции из России увозят не только те крохи, которые были взяты у фашистской Германии - в качестве компенсации за наши разоренные деревни, сожженные села и разбомбленные города. Реституция развязала руки проходимцам и жуликам, которые средь бела дня теперь спокойно грабят русскую культуру, искусство. Сбылись надежды Гитлера, чего уж тут лукавить...

Кто-то нечаянно толкнул Стародубцева.

- Извините! - сказали над ухом.

- Ничего, нет худа без бобра, а то лезет в голову всяка хренотень! - признался он, поглаживая ухо, когда-то посеченное шрапнелью.

Утреннее солнце в чистом небе уже подросло - выше крыши самого высокого здания, видневшегося вдаль. Голубоватые тени, укорачиваясь, медленно ползли по влажному асфальту, где час назад проехал «дождик на колесах» - поливочная машина. Еще не запыленные зеленые деревья, трепетавшие на теплом ветерке, смотрелись очень свежо, очень радостно, как будто сознавали, что находятся в преддверии великого праздника Победы.

Навстречу Стародубцеву шли парень с девушкой. Останавливая прохожих, они что-то им говорили и что-то вручали - издали не видно.

Поравнявшись со Степаном Солдатеевичем, молодые люди остановились. Сияя добрыми и нежными глазами и улыбаясь ему, как самому близкому человеку, они поздравили Степана Солдатеевича с наступающим Днем Победы и подарили небольшую Георгиевскую ленту. И Стародубцев, высоко всплеснув руками, вспомнил о Кремле и о Георгиевском зале.

- Ох, мать моя, Родина! - испуганно сказал он парню с девушкой. - Дак я же про звезду совсем забыл! Вот старый пень! Приехал в Москву за песнями! Доченька! Сыночек! А скоко на часах? Я, поди, уже и опоздал? Там ждать не будут.

Ему ответили. И опять он удивился, как медленно тянулось время, успевшее вместить в себя так много событий, переживаний.

Шагая в сторону Кремля, он оглянулся на парня с девушкой, которые продолжали останавливать прохожих - поздравляли с наступающим Днем Победы, памятные ленточки дарили.

Грустно улыбаясь и порой вздыхая с облегчением, Степан Солдатеевич уносил в душе святое чувство веры и надежды.

«Есть еще порох у нас! Подрастает хорошая смена! - думал он. - А мы все гундим, что не та, мол, нынче молодежь пошла. А для стариков она когда-нибудь была именно «та»? На нас не угодишь. Свое-то прошлое, оно ведь, как рубашка, всегда ближе к телу, нежели чужое настоящее. Нет, все нормально, нечего стонать!»

Добравшись туда, куда нужно, Стародубцев опять разволновался так, что все перед глазами стало расплываться. Он постоял в коридоре, заставляя себя успокоиться, посмотрел на сапоги, утратившие блеск.

«Надо было бы почистить, прежде чем сюда переться. Эх, деревня! - Он поцарапал седой загривок. - А может быть, здесь тапочки дают? Как в больнице. Ну, а что? Здесь вон как чисто!»

Высокорослые, подтянутые охранники, осуществляющие пропуск людей и досмотр, были немало удивлены тем, что Стародубцев продолжал «звенеть» на входе даже тогда, когда выложил всю мелочь из карманов, снял часы, пиджак и сапоги с подковками.

- Может, до трусов разуться? - Он в сердцах оговорился. - Ну, сколь вам объяснять? Осколки. Железо во мне.

Охранники, напряженно посматривая на Степана Солдатеевича, еще раз проверили его документы, еще раз отыскали и галочкой поместили его фамилию в списке приглашенных. И только после этого молодые бдительные люди, извинившись, молодцевато взяли под козырьки и открыли проход для Стародубцева. И тут же кто-то бережно взял старого солдата под руку и повел по гулким, богатым и просторным кремлевским коридорам, столько много повидавшим на своем веку, что если бы они умели говорить, то их бы слушать не переслушать.

Глава пятая

1

В горах Алтая или в Саянах, на Урале, на Колыме, в Якутии в долинах реки Лены, или в других местах - день за днем и год за годом - трудятся старатели, добывая драгоценный металл в пыли, в грязи, в мерзлотах. Потом начинается аффинаж - очищение золота от загрязняющих примесей. Потом очищение путем электролиза, во время которого чистое золото осаждается на катоде. Проза? Да, конечно, проза - без нее в житейском деле не обойдешься.

А чуть позднее в судьбу новорожденного чистого золота приходит поэзия, наступают минуты волшебства, колдовства и самых чудных превращений: золото становится блестящим украшением, золото становится высокою наградой. И тут невозможно согласиться с поэтом, когда-то сказавшим про то, что «из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Нет, разные металлы получаются, и температура плавки разная. Трудовые награды льются как горячий пот. А боевые награды льются как слезы, как жаркая кровь рукопашных боев или кошмарных атак на Безымянных высотах. Но главное отличие награды мирной от награды боевой заключается в том, что в боевые благородные металлы добавляются капля за каплей: благородство русского солдата; его отвага; честь; любовь и преданность к великому Отечеству; проклятие и ненависть к нашим врагам. Ну и, конечно, кровь, пролитая в бою, в обязательном порядке добавляется в боевую награду. Кровь - это, может быть, прежде всего, потому, что именно в крови содержится все то, что выше перечислено. Без крови тут, увы, не обойтись - бескровного героизма не бывает.

Такие мысли и такие чувства возникли у Степана Солдатеевича, когда он находился в Георгиевском зале.

Это может казаться фантастикой, но Стародубцев свою звезду героя узнал издалека - голос крови подсказал. И настолько внятными был тот голос, что если бы Степану Солдатеевичу - среди доброй сотни других наград - предложили бы найти свою, он бы ее нашел даже вслепую.

И потому во время награждения произошел вот такой парадокс.

Помощник перепутал две коробки с «Золотыми Звездами» и президент уже хотел надеть на Стародубцева чужое золото. И вдруг - в звенящей тишине - старый солдат сказал:

- Это звезда не моя.

Рука президента застыла - с наградой в воздухе.

- То есть как это - не ваша? Вы заслужили!

- Мне нужна другая.

Президент немного растерялся от такой «солдатской скромности».

- А какая звезда вам нужна? - не теряя спокойствия, спросил президент.

- Вот та - кровью моею политая.

И тут помощник спохватился, извинился и принес именно ту звезду, на которую указал Стародубцев.

В Георгиевском зале вспыхнули аплодисменты.

- Вот что значит - кровная награда! - Президент удивленно покачал головой. - Сколько вы ждали эту награду, Степан Солдатеевич?

- Да я уже со счета сбился, - признался он, смущенно глядя в пол.

- А я сейчас напомню и вам, и всем собравшимся. - Президент развернул наградную бумагу и прочитал: - Герою Советского Союза товарищу Стародубцеву Степану Солдатеевичу. За ваш геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими

захватчиками. Председатель президиума Верховного Совета СССР - подпись. Секретарь президиума Верховного Совета СССР - подпись. Москва-Кремль, июнь 1942 года. Вот когда еще эту звезду вам должны были вручить! Скажите, Степан Солдатеевич, какие ощущения в данную минуту? Счастливы?

Опуская глаза, Стародубцев глубоко вздохнул.

- Я счастлив тем счастьем, о котором когда-то было написано так:

Замело тебя, счастье, снегами,
Унесло на столетья назад,
Загоптало тебя сапогами
Отступающих в вечность солдат...

Георгиевский зал взорвался аплодисментами.

После этого президент решил прикрепить звезду героя на груди Стародубцева. И тут снова казус произошел.

- Не туда! - сказал герой.

- Что значит - не туда? - удивился президент. - Награда носится на левой стороне...

- Звезду на сердце носят.

- Ну, да. С левой стороны. А в чем дело-то?

- Сердце у меня вот здесь.

- Справа, что ли? - Президент задумался на секунду-другую. - Это почему же оно справа?

- Потому что мое дело - правое.

- Любопытно! - Президент улыбнулся. - Ну, ладно, мы с вами немного затянули церемонию, а тут еще награды своих героев ждут. Так что вот вам - держите. Сами потом, я думаю, прикрепить сумеете. Носите на здоровье, как говорится. Вы очень долго шли к этой награде! Поздравляю!

И опять в Георгиевском зале вспыхнули громкие аплодисменты. И никто не услышал то, что герой сказал в коротком ответном слове:

- Дак, а что поздравлять? Наградили-то мертвого.

2

Старый солдат не поверил, когда впервые услышал о том, что Георгиевский зал по длине - почти как футбольное поле. И вот теперь ему пришлось удостовериться, что это действительно так.

Посреди «поля» были накрыты длинные столы, куда и пригласили всех гостей после окончания церемонии награждения. Кругом сияли радостные лица, слышался смех там и тут, поздравления. И только Степан Солдатеевич среди этого блеска и шума стоял как воплощение классической цитаты: «На пиру среди веселых есть всегда один печальный!»

Все эти годы - после войны - он почему-то упрямо верил, что справедливость непременно восторжествует: найдет его награда; приедет он в Москву, походкой победителя пройдет по Кремлю, окажется в Георгиевском зале - своеобразном храме храбрости и славы русского оружия. И тогда - казалось Стародубцеву - от радости, от счастья он потолок башкой проломит, восторженно прыгая, по-детски ликуя. А на самом деле что получилось?

Тоска была на сердце и печаль от великой, вопиющей несправедливости: Герой Советского Союза оказался без той державы, за которую когда-то был готов умереть. Поникший, потерянный, более чем скромно одетый, он стоял возле шикарного стола, где всюду уже пили, ели, возбужденно гомонили. Он стоял, тупо глядя на блестящий паркет, и вспоминал старичка-профессора,

которого встретил утром на площади возле вокзала. Много чего интересно рассказал тот профессор. Оказывается, еще совсем недавно в Кремле сидел и правил русским народом тот человек, которого в Германии признали «лучшим немцем года». Стародубцев и тогда, когда услышал, был ошеломлен, обескуражен - и теперь вот опять накатило.

«Это что же такое нужно было сделать русскому правителю, чтобы его в Германии признали не только своим, но даже «лучшим немцем года»? Это надо было очень постараться! - думал Степан Солдатеевич. - И вообще как это могло произойти - самый «лучший немец» столько лет сидел и правил бал в русском Кремле. А может, он давно уже не русский - этот Кремль? А может, он и русским-то не был никогда? Какого-то Рюрика считают основателем русского государства. А этот Рюрик, мать его, - прямой наследник Августа какого-то. А взять Ивана Грозного - он был как будто бы одним из последних царей династии Рюриковичей...»

Размышляя о царях вчерашних, Степан Солдатеевич невольно вспомнил о «царе» сегодняшнем. Да и невозможно было тут не вспомнить: народ с неподдельным восторгом стал проявлять интерес к тому, чтобы фотографироваться с президентом. А Стародубцев никакого интереса не проявлял - белой вороною выглядел. Нет, ничего он против президента не имел, да только и с собою ничего он поделывать не мог. В нем было какое-то звериное чутье и очень зоркий «внутренний глаз». Поводя ноздрями, Стародубцев смотрел и видел и одновременно чуял, что перед ним находится не глава большого государства - перед ним весьма неглупый человек, довольно бойкий на язык, но человек самодовольный, самовлюбленный и плохо скрывающий это. Он был еще не «царь», он был «царек», еще не осознавший всю полноту ответственности, лежавшей на его плечах, но уже осознавший всю полноту своей тотальной власти. И фотографировался он - как бы глядя на себя со стороны и думая примерно так: «А ничего, красиво я на фотке получаюсь!» Возможно, в каких-то мелочах и деталях Стародубцев ошибался, заблуждался, но в целом - нет, чутье не подводило и внутреннее око смотрело в корень. «Те старики-коммунисты, - думал Степан Солдатеевич, - партийцы, из которых давно песок сыпался, были уже не на месте, когда страну правили. А этот, молодой, чуть оперившийся, он еще не на месте. Ему, как Петру Первому в детстве, надо бы еще поиграть в потешные войска, а он - главнокомандующий! Охренеть!»

Терзаясь такими раздумьями, Стародубцев опять до того разволновался, что перед глазами побежали черные круги - вместо солнечных пятен, ярко пятнавших чистенький паркет. И долгожданная эта награда так придавила грудь, как будто бел горячий камень подцепили - вместо «Золотой Звезды» весом в двадцать граммов, а если уж быть точным, то двадцать один.

Впрочем, долго терзаться раздумьями тут было некогда, поскольку среди награжденных людей в тот день оказались артисты, ученые и какие-то общественные деятели - народ общительный и «заводной».

Сначала к нему подошли молодые артисты.

- Извините, а можно мы с вами сфотографируемся?

- А зачем? - спросил он в недоумении. - Я не артист.

- Вы - живая легенда. Мы с вами на память хотим...

- Ну, давайте, сынки. - Он вздохнул. - На вечную память.

Перед тем, как фотографироваться, он с наивной детской украдкой почистил сапоги - носок об голенище - и время от времени с удовольствием смотрел, как ярко теперь в сапогах отражаются богатые столамповые люстры или случайный солнечный зайчик, запрыгнувший в Георгиевский

зал через малюсенькую щелочку в портъерах, белопенными, длинными волнами свисающими с окон.

Потом подошел к нему «древний солдат» - участник двух войн, которому вручили орден Александра Невского в преддверии 100-летнего юбилея. «Древний солдат» был в голубом берете и в темно-голубом, тяжелом кителе, сверкающем наградами, как рыба чешуей. Китель был с погонами полковника, с петлицами военно-воздушного десанта. Левый глаз у «древнего солдата» был затянут бельмом после давнего боя. Дряблые уши казались большими по сравнению с губами, носом и другими частями в общем-то пригожего, славянского лица, изрядно помятого старостью.

- Степан! Я хочу пригласить тебя на юбилей! - сказал столетний воин, удивляя своею выправкой, своим логическим и четким разговором. - Приезжай. Буду рад. Нам есть что друг дружке сказать.

- Буду жив, приеду.

- А сколь тебе? Ну-у! - Услышав ответ, «древний солдат» улыбнулся лихими вставными зубами. - Ты еще мальчонка супротив меня. Мальчонка.

- Бьют не по годам, по ребрам.

- Это так, Степан. Не спорю. - Юбиляр протянул ему приглашение. - Буду ждать. Не кисни. Чего ты, брат, сидишь, как на поминках?

Прежде чем уйти, «древний солдат» подал ему пергаментную руку и снова - широко, ободряюще - улыбнулся, поправил черный галстук, сбитый в сторону, а заодно поправил и какой-то орден, за неимением места приколотый едва ли не под мышкой.

Потом длинноволосый какой-то парень с микрофоном подошел к Степану Солдатеевичу, стал задавать вопросы: где он родился, да где крестился. Рядом с парнем появилась телекамера, напоминавшая Стародубцеву станковой пулемет, который начал в упор его «расстреливать», поблескивая красным огоньком на черном стволе объектива.

А вслед за этим к нему причалила какая-то веселая толстушка - хороша сама собой и хорошо одетая. Колыхая двойным подбородком, она представилась журналистом какой-то столичной газеты, которых нынче развелось - не перелопатить.

- Степан Солдатеевич! - сказала она, незаметно нажимая кнопку диктофона. - Вот вы прочитали стихи Георгия Степанова. А вы, простите, как, откуда знаете этого поэта? Его порой не знают даже молодые любители поэзии.

- Да как бы сказать тебе, дочка? Хотел я учителем быть, - смущаясь, сказал Стародубцев. - Русский язык, литературу детишкам хотел преподавать. Ну, не получилось у меня, как не получилось у многих из военного поколения. А тяга осталась.

- Много читаете?

- Ну, нет, куда там! По молодости было. А теперь глаза болят. - Он наклонился к журналистке. - Дочка! А можно тебя попросить?

- Да, конечно.

- Не пиши про меня. Что писать? Ты лучше про капитана Чирихина расскажи. Если бы не он... Да если бы не Семка Пустовойтов...

- А кто такой Чирихин? Кто такой Семка?

- Чирихин - это мой приемный сын. А Семка - о! Теперь он большой человек. Голова всего района.

Толстушка заскучала. Поправляя гнедую прическу и трогая сверкающие серьги, постреливая карими глазами по сторонам, завертелась как сорока на колу - ни капитан Чирихин, ни Семка Пустовойтов были ей неинтересны.

- Извините, - вставая, с улыбкой сказала она. - Я к вам чуть попозже подойду. Мне тут надо еще кое-кого записать.

- Ну, такая ваша работа. Я понимаю.

Оставляя после себя облако «из духов и туманов», толстуха пропала в пестрой толпе награжденных и больше перед ним не появлялась.

«Сорока! - огорчился Степан Солдатеевич, высматривая журналистку. - И я хорош! Про капитана, да и про Семку надо было сразу говорить, а я стал молотить про учителя. Дуб стоеросовый!»

Стараясь не греметь сапогами, в которых по-прежнему сияли столамповые люстры, он побродил, осматривая Георгиевский зал - строго изысканный, белоснежный, с легким золотым декором. На стенах, на досках из мрамора и на откосах он почитал гравировки: имена великих воинов, которые своими подвигами заслужили особую честь - орден Святого Георгия.

На столике янтарного цвета Степан Солдатеевич увидел два белых телефона правительственной связи. Пристально глядя на телефон, Стародубцев подумал: «А хорошо бы прямо сейчас позвонить Пустовойтову. Если бы ни он, так я бы не поехал этого «героя» получать.

3

Нежданно-негаданно возник перед ним Боробор Лешаков - лесничий в парадной форме, похожей на форму прокурора, попутчик, с которым они так душевно беседовали в поезде. Этот Лешаков - человек довольно крепкого телосложения - врезался в память своим добродушным лицом, круглым, со свежим арбузным румянцем на щеках. Запомнился его прямой, открытый взгляд, маленькие уши, малиново-багровые, способные забавно шевелиться в минуты волнения.

Они обнялись.

Глаза у Лешакова искрились от искренней радости.

- Степан Солдатеевич! Я вас поздравляю! От души!

- Леший? Господи! А ты как здесь?

- Да вот, сподобился! - Боробор показал на медаль, сверкающую на груди.

Близоруко щурясь, Стародубцев наклонился.

- «За отвагу на пожаре»? Ну, молодец! Так ты же ехал к своим куда-то? Как же ты здесь оказался?

- Я к ним заехал на часок-другой, а потом сюда...

- А что ж ты сразу не сказал? Вместе бы приехали, а то мне пришлось ночь коротать с каким-то хануриком, которого милиция разыскивает.

- Да я постеснялся. - Лешаков от волнения стал шевелить малиново-багровыми ушами. - Вы ведь тоже не сказали, что за наградой едете.

Вздыхая, Стародубцев горько пошутил:

- Вот так они и вымерли. От скромности.

Лесничий засмеялся.

- Будем жить - не тужить!

- Оно хорошо бы. Ах, Леший, Леший! Знал бы ты, как я рад, что тебя повстречал. А то стою здесь один, как бука. - Стародубцев руку протянул. - Ну, я поздравляю, сынок! Поздравляю! «За отвагу на пожаре» - это почти боевая награда.

- Да ну! Вот у вас награда, так награда. - Боробор восторженно посмотрел на звезду героя. - Меня только, знаете, что огорчило маленько? Я думал почему-то, что орден - это орден, медаль - это медаль. А «Золотая Звезда» - это звезда и никаких гвоздей. А получается, что это - медаль? Вот те раз!

- Получается, так. А меня, знаешь, какая штука удивила? То, что к этой звезде еще и орден Ленина идет - прицепом, так сказать.

- Двойная награда, выходит? Так это здорово! Ну, пойдемте... - Раскрасневшийся лесничий поманил его к столу. - Скажите, Степан Солдатеевич, у вас какие планы после этого? Или нет никаких?

- Фронтового друга навестить хочу.

- А то может с нами? - Лешаков кивнул кудлатой головой. - Меня там ждут друзья.

Стародубцев помолчал.

- В ресторан, поди, намылились?

- Точно. Угадали. Давайте с нами. А? У меня мировые друзья. Посидим, отметим это дело.

- Нет! - Стародубцев усмехнулся, что-то вспомнив. - Я хочу и вторую, и третью «Золотую Звезду» получить.

Боробор в недоумении уставился на него.

- Это как же так? За что?

- Вторую и третью получишь, если не будешь по ресторанам шататься.

- Не понял.

- А ты знаешь, сынок, что за годы войны всего три человека стали трижды Героями?

- Знаю. Это Жуков, Покрышкин и Кожедуб.

- Правильно, сынок. Но ты, скорей всего, не знаешь о том, что в 1944 году были подписаны и уже обнародованы Указы о награждении штурмана истребительного авиаполка майора Гулаева третьей «Золотой Звездой». А также еще были летчики, представленные ко второй «Золотой Звезде». Но никто из них тогда не получил наград.

- А почему?

- А потому, что накануне эти герои учинили дебош в каком-то московском ресторане.

- И что?

- И все. Указы были аннулированы. - Грустно улыбаясь, Стародубцев пошутил: - Так что мне с тобой, сынок, ну никак нельзя по ресторанам шататься. Хочу и вторую, и третью.

- Хотеть не вредно. Ну, давайте хоть тут по шампанскому врежем. Обмодем награды. - Лесничий протянул ему бокал.

- Спасибо, сынок. Нет. Я теперь как тот корабль - в сухом доке стою.

- Жалко! Ну, за ваше здоровье, Степан Солдатеевич!

- Да какое здоровье теперь? С утра проснулся - жив, и слава богу...

Народ возле столов начал затихать и понемногу рассасываться.

- Хорошего помаленьку! - От волнения уши лесничего опять зашевелились. - Ну, ладно, Степан Солдатеевич. Я тоже пойду. Приятная встреча была. До свиданья. Может, свидимся еще.

- Очень даже может быть, - безо всякой надежды ответил Стародубцев. - Сынок! «Отвага на пожаре» - это хорошо, только ты в ресторане своем все же помни про тех героев, про каких я тебе рассказал.

- История довольно поучительная, так что не забуду, - пообещал лесничий, на прощание крепко обнимая старого солдата. - Ну, еще раз от души поздравляю вас! Я очень рад тому, что справедливость восторжествовала и награда нашла героя!

Широкий в жестах, шумный и веселый Боробор ушел, оставив чувство тихой, светлой грусти на душе Стародубцева. «Награда нашла героя, - подумал он. - Да если бы не Семка Пустовойтов, дай бог ему здоровья... И зачем ему понадобилось вдруг в архивных подвалах копать, сдвигать с

документов многолетнюю пыль? Кого он там, чего он там искал? Ведь на мои наградные бумаги Семка наткнулся случайно. Как бы там ни было, а парень молодец! Бутылку бы ему поставить за это дело, дак у него же свой завод - бутылок этих не пересчитать!»

Чувство благодарности к Семену Пустовойтову настолько переполнило душу Стародубцева, что опять захотелось ему тут же или позвонить главе района, или пойти, по крайней мере, на Главпочтамт, телеграмму хорошую дать.

4

Сотрудники охраны Кремля заметно отличались от своих коллег-милиционеров, тянувших лямку за кремлевской стеной. Люди здесь были все как на подбор - гренадерского роста, холеные, с первоклассной выправкой, с хорошим интеллектом и обхождением. Один из таких «гренадеров», стоящий уже на самом выходе, наметанным глазом окинул сутулую фигуру Стародубцева и поздравил его с присвоением звания «Героя России».

- Я не Герой России, - уточнил Степан Солдатеевич. - Я - Герой Советского Союза.

- Извините, - спохватился «гренадер». - Теперь, когда вы ближе подошли, я это понял, потому что на вашей звезде самая ранняя подвесная колодка. Это первый тип звезды. Она вручалась, кажется, с 1939 до 1943 года.

- Молодец, гренадер! - не без удивления сказал Степан Солдатеевич. - Все правильно. Такие звезды - штучные. Их было всего около тысячи штук. Потом уже другие пошли...

- Раритет.

- Чего?

- Большая редкость, говорю. Это где же они достали такую?

Наклоня голову, Стародубцев зачем-то перевернул «Золотую Звезду». На обратной стороне была надпись «ГЕРОЙ СССР», а ниже - серийный номер, выполненный штампованными цифрами маленького размера.

- Сам не знаю, где они раздобыли такую. Знаю только, что эта звезда дождалась меня с июня 1942 года.

- Да ну? Не может быть!

- Как видишь! - Стародубцев грудь немного выпятил. - Бывают чудеса на белом свете. Ну, все, сынок, прощай. Теперь уж я сюда приду навряд ли.

- Приходите! Будем рады! - сказал охранник, отдавая честь. - А за вами уже приехали?

Остановившись, Степан Солдатеевич оглянулся.

- А кто за мной приехал?

- Нет, я просто спрашиваю. За вами должны приехать? Вас кто-нибудь встречает? Или провожает?

- Да никто не встречает меня. - Стародубцев плечами пожал. - И никто не провожает. Что я, барышня какая - провожать.

Упитанная физиономия «гренадера» заметно вытянулась от удивления.

- Извините, а что же... Вы вот так и по Москве пойдете?

- Как? - Стародубцев посмотрел на свои сапоги.

- Ну, вот с этой «Звездой Золотой». Так и пойдете?

- А что? Нельзя?

- Нет, ну, просто... Мало ли... - Охранник глазами показал на телефон. - Может, вам вызвать такси?

«Денег нету на такси раскатываться!» - подумал Стародубцев.

- Да я пешком прогуляюсь, сынок, а то голова что-то гудом гудит.

- Так вы бы лучше сняли, - осторожно посоветовал охранник.
- Кого?
- Ну, эту звезду.
- А так чего? Не скромно?
- Не в этом дело. Просто... Народ сейчас такой...
Стародубцев послушал его и нахмурился.
- Мил человек! Ты хочешь сказать, что я должен идти по Москве и бояться, как бы меня, беднягу, не ограбили? Да так же ходят тока по вражеской земле. Ты что, сынок? Или тут уже повсюду оккупанты?
- Виноват, - сказал «гренадер», прижимая руку к сердцу. - Я не хотел вас обидеть. Всего наилучшего.
Уже собравшись уходить, Степан Солдатович вдруг вернулся к сотруднику охраны и внимательно, строго посмотрел ему прямо в глаза.
- А ты, сынок, в музее не работал? Откуда ты все знаешь про звезду?
Охранник в ответ только глазами похлопал.

5

Выйдя из Кремля, старый солдат услышал бой курантов и оглянулся. Ему стало неловко за то, что он себя так повел с охранником, человеком грамотным и обходительным.

«Дался мне тот музейный работник! - подумал Стародубцев, вспоминая попутчика в поезде. - На молоке обжегся, дак теперь на воду всюду будешь дуть? Ну, не смешно ли?»

Наполняясь новым каким-то чувством - чувством гордости и умиления - он подошел к большой стеклянной витрине магазина, находящегося напротив Красной площади. Постоял, любуясь своим отражением - смутным, но все-таки сияющим «Золотой Звездой» на груди. Невольно улыбаясь, Стародубцев поправил звезду и, заложив руки за спину - чтоб грудь была видна во всей красе - хотел идти дальше, но посмотрел по сторонам и вздрогнул.

«Музейный работник», легкий на помине, стоял и курил возле кривого старого дерева - метрах в пятидесяти.

Сердце с правой стороны коротко, но больно дернулось на левую. Испытывая жар, мгновенно охвативший все с головы до ног, Степан Солдатович вдруг пошел обратно - через Красную площадь.

Остановившись неподалеку от кремлевской стены, Стародубцев посмотрел на людей, в большинстве своем совершенно беспечно шатающихся. Он знал, что Управление охраны Кремля имеет свои «телохранительные» группы в виде милицейских патрулей и множество других людей, одетых в штатское. И сейчас эти люди, как серые тени, бродили в толпе гуляющих возле Кремля и готовы были зацапать любого, кто станет подозрительно себя вести. Более того, он знал, что где-то здесь, на крышах высоких домов - будто соколы в клетках! - и денно и нощно дежурят зоркие снайперы, имеющие право открывать стрельбу на поражение в любого человека, предпринявшего попытку вскарабкаться на кремлевскую стену.

Затравленно поглядывая по сторонам, Стародубцев подумал: «Ну и что мне тут? Торчать остаток жизни под присмотром какой-то там системы наблюдения или под присмотром телохранительной группы, которой я даром не нужен? Да и где он, музейный работник? Ты кого испугался, герой?»

Зрение давно уже стало подводить, и вот сейчас, наверно, тоже подвело. Он подошел поближе к старому кривому дереву и никого поблизости не обнаружил - только тень лежала на асфальте.

Глава шестая

1

Подковки за спиной зазвякали - за Стародубцевым кто-то бежал, едва не спотыкаясь. Люди, слыша звон подковок, настороженно оглядывались и те, кто стоял на пути бегущего, торопливо начинали сторониться.

Розовощекий молоденький ординарец догнал Стародубцева.

- Извините! - Переводя дыхание, он взял под козырек. - Генерал послал за вами!

- Генерал? - Степан Солдатеич поцарапал «узорное» ухо. - Какой генерал?

- Ну, вы же с ним договорились...

- Об чем?

- Я не знаю. - Ординарец, приглашая, руку вытянул. - Давайте поторопимся, там ждут.

Подходя к машине генерала, Стародубцев, смущаясь, подумал: «Господи! Да как я мог забыть? Мы же с ним говорили насчет Николика. Он обещал отвезти меня в какое-то Управление...»

Извинившись перед генералом, Степан Солдатеич залез в такой богатый лимузин, что в первую минуту даже притих от робости, оглядывая шикарное убранство. «Это не машина - дом на колесах. Дворец!»

Генерал с переднего сидения повернулся к нему и, как-то барственно улыбаясь, колыхая тройным подбородком, начал расспрашивать, давно ли Стародубцев был в Москве, да знает ли он, мимо каких исторических памятников они проезжают сейчас.

Машина, сверкая мигалкой, очень скоро приехала на Лубянскую площадь, и тут генерал решил пошутить, показывая на главный корпус ФСБ:

- Вот самое высокое здание в Москве.

- Почему? - не понял Стародубцев. - Есть куда выше.

- Нет, - серьезно сказал генерал. - Это самое высокое. Из него видна Сибирь!

Степану Солдатеичу трудно было эту шутку оценить - раскулаченный дед и прадед сгнули где-то на сибирских просторах.

- А вы давно, однако, на Лубянке служите? - Стародубцев заскорюзлым ногтем постучал по стеклу, показывая на площадь. - Вот эта вот Лубянка - название - откуда пошло? Вы не в курсе? Нет? А между тем, все просто, товарищ генерал. Лубяницы - это район такой в Великом Новгороде. Название это прилипло сюда аж в пятнадцатом веке, когда тут поселились новгородцы. По царскому приказу Ивана Третьего.

- Ну, вы же новгородец, вам видней. - Генерал снова как-то барственно, вальяжно улыбнулся. - Идемте. Я вас познакомлю с человеком, который должен вам помочь решить проблему.

- Хорошо. Спасибо, товарищ генерал.

2

Лубянку покидал он с таким тяжелым сердцем, что все перед глазами расплывалось от переизбытка давления и возникало ощущение позднего вечера, тем более что помутневшее солнце успело уже завалиться за какой-то небоскреб, торчащий за площадью. Серые тени, удлиняясь, напозлали отовсюду. Еще недавно свежий утренний воздух успел «протухнуть». Жизнь мегаполиса давала себя знать; пахло пылью, выхлопными газами автомобилей, многие из которых - будь они в каком-нибудь заграничном городе - давно бы уже угодили на штрафплощадку за превышение уровня вредного

выхлопа. Кроме того, промышленность Москвы там и тут дымила, тихой сапой рассеивая по ветру облака и тучи пыли, окислов азота, железа, кальция и черт знает чего еще, такого не «полезного», из-за чего потом надолго пропадало столичное солнце, повисали плотные туманы и выпадали осадки, от которых деревья желтели-старели до срока.

И Стародубцев себя почувствовал постаревшим до срока.

В кабинетах Лубянки он узнал невеселые новости про капитана Чирихина. Полгода назад - во время захвата вооруженной банды в горах Кавказа - капитан Чирихин со своими бойцами «Спецназа» угодил в какую-то такую мясорубку, откуда многих вывезли в цинковых гробах, а сам Чирихин чудом остался жив. Все это время он находился в военном госпитале - на грани жизни и смерти, поэтому и весточку домой послать не имел возможности. Сейчас Николик был на ногах - дело шло на поправку.

Степан Солдатеевич достал бумажку с адресом военного госпиталя и перечитал подробное описание маршрута - как быстрее добраться туда.

От печальных новостей и от протухшего столичного воздуха он начал задыхаться - астма дала себя знать. Он двигался к ближайшей станции метро, то и дело «буксуя» в людском потоке.

Москва кишмя кишела, как всегда: кто бежал налегке, кто пыхтел, подломившись под грузом каких-то покупок; и никто, похоже, не замечал звезды героя на груди Стародубцева.

3

Только что вынырнув из душной подземки, Стародубцев опять достал бумажку с адресом военного госпиталя. Желая узнать кратчайшую дорогу туда, он остановил какую-то старушку с молодо накрашенными яркими губами. Однако эта молодящаяся бабка была глухонемая - ничего не сказала, только пожевала крашеными, дряблыми губами и ушла, виновато разведя руками.

«Глухая дура, а туда же - красится! - подумал он и тут же устыдился, вспомнил про Николика, который тоже был почти глухонемой после ранения, после контузии. - Вот судьба! Мы воевали, и детям досталось! Да когда же это все кончится?»

После душной и тесной подземки Стародубцева слегка мутило. (Сэкономил время, поехал на метро, теперь жалел.) Клаустрофобия на него «навалилась», вот почему он отошел в тенечек и, сидя на лавке, стал глядеть на небо, стараясь найти там вольготно летящую птицу - так ему становилось полегче.

Лавка, на которую он опустился, находилась под каким-то раскидистым вязом - темным, древним, помнящим, наверное, войну 1812 года. Так, во всяком случае, подумалось ему, глядевшему на могучее морщинистое дерево, что-то шептавшее новой листвой, еще не успевшей припудриться пылью шумных и бурливых столичных улиц, которые всегда его немного раздражали своею бестолковостью; народ на этих улицах, как вода в реке, - бежит, не замечая берегов; плещутся волны, плюют белой пеной, давят друг дружку и дальше спешат, разливаясь на широких площадях, как на просторных плесах.

Двигаясь дальше, Степан Солдатеевич оказался в каком-то «злачном» месте, где очень бойкие ребята и девчата вовсю торговали символикой исчезнувшей державы. По сходной цене тут продавались красные знамена, вымпелы, значки и ордена, офицерские погоны, кавалерийские шашки, буденовки, большие и малые бюсты и бюстики Ленина, Сталина.

Смотреть на это было настолько дико, стыдно - хоть сквозь землю провались.

Какой-то прыщеватый верзила с фиолетовыми губами-пельменями торчал за прилавком, возле которого - сам не зная, зачем - остановился Степан Солдатеевич.

- Да брось ты! - услышал он за спиной. - Да нет, не настоящая! Ну, кто теперь будет носить настоящую? Это муляж. Могу спорить.

- Ну, давай. А на что?

- На пузырь.

- Заметано. Иди - спроси.

- Батя! Батя! - то ли в шутку, то ли всерьез поинтересовался прыщеватый верзила. - Ты что, купил звезду?

- Купил, - пробормотал он. - Ценою жизни.

Прыщеватый не расслышал. Фиолетовые губы-пельмени растянули крикую улыбку.

- Купил? А может, продаешь?

- И продаю, - опять пробормотал Стародубцев. - Ценою жизни.

За спиной снова заговорили:

- Нет, слушай-ка, похожа на настоящую!

- Да вроде похожа. А ну-ка, батя... - Проворная рука прыщеватого парня потянулась к золотой награде.

Стародубцев - коротким приемом рукопашного боя - так заломил ту руку, что парень вскрикнул.

- Ты че, гля? Сдурел?

Глазами показывая на соседний прилавок, Степан Солдатеевич прохрипел:

- Щас возьму вон ту саблю и покрошу тебя, как гнилую капусту! Щенок! Чтобы завтра же тебя здесь не было! Ты понял?

- Пусти! - Фиолетовые губы задрожали. - Пусти! Сломаешь!

- Ты понял?

- Понял.

- Ну, гляди! - Стародубцев руки отряхнул. - Приду, проверю - зарю в землю, если увижу, как ты здесь торгуешь мою Родиной!

Массируя заломленную руку, прыщеватый озлобленно сплюнул, глядя в спину уходящего Степан Солдатеевича.

- Лечиться надо! - сказал он негромко, но внятно. - Сбежал из дурдома и ходит, геройствует!

Стародубцев остановился. Ему захотелось вернуться и устроить хороший погром - на уши поднять всех этих торгашей, в первую очередь продавших свою совесть, а потом уже пришедших продавать все остальное, что не мог бы продать ни одни мало-мальски совестливый человек.

Постояв спиной к торгашам, Степан Солдатеевич двинулся дальше.

А за прилавком, между тем, заговорили, понижая голоса до шепота:

- Прыщ! Догнать его надо! У него, по-моему, с башкою не лады, поэтому он прицепил настоящую.

- Ну, пойдем, проверим, - согласился Прыщ. - Он мне руку чуть не вывернул. Скотина.

Двое этих торгашей, попросив своего коллегу пять минут присмотреть за прилавком, проворно пошли за Стародубцевым.

И вдруг перед ними возник молодой незнакомец интеллигентного вида - при шляпе с галстуком.

- Эй, прыщики! Постой! Куда намылились? - спросил он, загоразивая дорогу.

Верзила мрачным взглядом измерил его - от ног до головы.

- А в чем дело, браток?

Подойдя поближе, «интеллигентный браток» сунул руку в карман джинсовой куртки и в следующий миг что-то жесткое, грубое уперлось в живот верзилы.

- Ты меня понял, Прыщик? Или тебе подробней объяснить?

Ощущая ствол под боком, Прыщ заволновался. Фиолетовые губы-пельмени даже чуток побледнели.

- А что понять-то надо? Я не пойму. Ты кто такой? В чем дело?

- Я этого героя давно уже пасу. Вопросы есть?

- Ну и паси. Пастух. - Прыщ отодвинулся от ствола. - Так и сказал бы сразу, без этих штукеч...

4

Вольдемар Неволя - «интеллигентный браток» - в вагоне ночного поезда оказался действительно под большим впечатлением от рассказа фронтовика, побывавшего в немецком окружении, а потом попавшего в лапы контрразведки, которая увидела в нем предателя Родины в то время, когда Родина присвоила солдату звание Героя Советского Союза. Но большое это впечатление моментально прошло - так прошло, как будто и не бывало. Удачно улизнув от сотрудников МУРа, «интеллигентный браток» испытал такое огромное волнение, что мигом избавился от сентиментальности.

Оказавшись в более-менее безопасном месте, Вольдемар уже не думал о фронтовике - нужно было подумать о собственной шкуре. Его, «инкассатора», не укараулившего «груз», могут наказать очень сурово - отвезут куда-нибудь на подмосковный пустырь или на кладбище и пристрелят к чертям собачьим, вот и весь разговор. И зачем он согласился быть «инкассатором»? Ведь он же приехал в область по другим делам.

«Язык мой - враг мой!» - думал Вольдемар, давший слово, что этот «груз» он доставит в целости и в сохранности.

Слово он дал человеку, который вовсе даже и не человек, а Зверь - такая кличка. Но дело даже не в том, что Зверь известен как свирепый творец беспредела. Дело в том, что Зверь «чисто по-человечески» попросил его доставить «груз» до места - до Москвы, а дальше этот «груз» под белые ручки примут другие люди, которые будут его сопровождать до самого Кремля, а потом будут ждать, когда герой оттуда выйдет с «Золотой Звездой» и с орденом Ленина.

Зверь очень рассчитывал на эти цацки, потому что три дня назад проигрался в казино и обещал в самое ближайшее время расплатиться с долгами. Все тут было завязано таким тугим клубком, который сам черт не развяжет. Вольдемар - по принятым понятиям - никому и ничего не должен был, но воровское чувство «чести», чувство «справедливости» подсказывало ему, что это дело необходимо довести до конца, чтобы набрать «хорошее количество очков» среди людей определенного круга. И вот теперь он старался не упустить из виду свой «драгоценный груз». И теперь он даже был своеобразным защитником Стародубцева, ни сном ни духом не подозревающего, что творится за его спиной.

5

Почти перед воротами военного госпиталя Стародубцев увидел калеку с наградными скромненькими планками. Безногий, крохотный какой-то, грязный, неухоженный - обрубок этот выкатился вдруг из полутемной арки, подобрал чей-то дымящийся окурок, сунул в рот и, ловко развернувшись на своих катушках, помчался прямо на Стародубцева. И неожиданно резко затормозил, царапая асфальт деревянными «толкачами».

- Спички есть? - спросил угрюмо.
- Кого? - растерялся Степан Солдатеевич.
- Прикурить, говорю, черт глухой!
- А! Сейчас! Минуточку...

Задравши голову, калека жесткими глазами клюнул звезду героя и, передумав прикуривать, пробормотав кое-что непечатное, покатился к переходу через улицу, где рядом с урной лежала помятая старая фуражка.

- Кто воевал, имеет право у тихой речки звездануть! - Калека вдруг расхохотался, выгребая из фуражки мелочь и бумажную шелуху; ветер выхватил несколько ярких бумажек и понес по проспекту. Инвалид погнался за своим богатством, но тут же понял, что не догонит - деньги улетели под колеса роскошного «мерседеса», проезжающего мимо, а потом под колеса другого, не менее роскошного автомобиля.

- Держите, гады! Это вам на чай от русского солдата, на своих двоих дошедшего до Бранденбургских ворот! - Калека снова захохотал и, неожиданно поднявшись на руки, сделал стойку, потрясая в воздухе обрубками, одежками в штаны, обтянутые пыльной, драной кожей.

Стародубцев глаза опустил - от стыда - увидел на своей груди звезду героя. И такое вдруг возникло ощущение, как будто он украл эту звезду героя или купил, как говорили те два торговца.

Зайдя за угол, он отцепил награду, спрятал в карман и тут же втайне пожалел об этом. Ему хотелось, чтобы Николик, лежавший в больнице, увидел бы его с ней. Ведь это ж он - сынок! - постарался для отца добыть эту награду из пыльных каких-то подвалов, где хранятся архивные документы Великой Отечественной войны.

6

В военном госпитале встретил его строгий, сухопарый доктор, человек седой, степенный. В ответ на просьбу увидеть капитана Чирихина - только руками развел.

- Ничем, увы, теперь помочь вам не могу!

В устах любого доктора такая фраза всегда звучит как приговор, и поэтому Степан Солдатеевич дрогнул сердцем.

- А что? - забормотал он. - Где? Когда...

- Нет, нет, все в порядке. Вы не так меня поняли. Капитан Чирихин выписался два дня назад...

- Как - выписался? Уже?

- Что значит - уже? Он тут пролежал, дай бог памяти... - Доктор посмотрел в историю болезни и назвал дату поступления Чирихина.

- Ого! - Стародубцев поцарапал «узорное» ухо. - И куда он выписался?

- Ну, этого больные нам не докладывают. Судя по всему, капитан поехал к себе на родину.

Степан Солдатеевич опустился на подвернувшийся табурет - ноги вдруг ослабли.

- Значит, мы с ним разминулисьсь...
- Наверно, так. А вы, простите, кто? Отец? Что-то долго вы ехали...
- Строгий доктор глянул на часы. - Извините, мне надо идти.
- Да, да, мне тоже, - поднимаясь, сказал Стародубцев. - Спасибо вам за сына.
- Да не за что, не за что - работа такая. - Доктор что-то еще хотел сказать, рукою мельком показав на свое лицо, но промолчал. (У капитана Чирихина лица почти не было после той кошмарной мясорубки, в которой он уцелел только чудом.) Вместо этой неприятной новости доктор неожиданно спросил: - А вам теперь в какую сторону?
- Ехать-то?
- Ну, да.
- Не знаю. - Степан Солдатеевич поднялся. - На вокзал теперь. Домой. Буду сына догонять. А что? Почему вы спросили?
- Могу подвезти.
- Ну, это было б хорошо. А то у вас тут ноги до самых коленок оттопчешь, пока доберешься из конца в конец.
- Слушая образную речь Стародубцева, доктор заулыбался. Неторопливо снял халат, переделся в «мирское», а потом, пристально глядя на Стародубцева, спросил: - Что? Астма?
- А как вы догадались?
- Действительно! - Доктор усмехнулся. - И как это я догадался? Тридцать лет в этом госпитале спину не разгибаю, и как-то еще догадался. Ну-ка, погодите-ка. Минуточку. У меня есть хорошее средство.
- Строгий доктор дал ему таблетку, стакан с водою протянул.
- Благодарствую, - пробормотал Степан Солдатеевич и хотел уже запить таблетку, но доктор под руку сказал: - Эффективное средство. Германское.
- И в следующий миг у Стародубцева чуть не сработал рвотный рефлекс.
- Тьфу! Твою мать! - зарычал он, наклоняясь над раковиной и выплевывая таблетку.
- А что такое? - Изумленный доктор замер. - Что с вами? Аллергия?
- Ага, - неохотно сказал Стародубцев, вытираясь рукавом. - Аллергия на фрицев.
- Обескураженный доктор покачал головой.
- Ну, поехал. Время не ждет.

7

Синица порхала под гулками сводами большого Ленинградского вокзала - искала дорогу на волю, не могла отыскать. Колотилась грудкой в пыльные стекла, за которыми слабо голубели небеса. Птица делала круг по вокзалу и опять и опять - бестолково, упрямо - билась грудью в окно. И уже кое-где на стеклах проступали слабые влажные пятна, похожие на лепестки алых роз, какие продавались внизу под окнами, возле двери вокзала. Истекающая кровью, утомленная, жалкая синица обхватила дрожащими лапками ржавый прут перекрытия под потолком. Распотрошенные перья плавно опали на головы людей, на чемоданы и грязный затоптанный пол. И только крохотная белая пушинка была невесомой - дрожала в воздухе.

Глядя на синицу, Степан Солдатеевич подумал, что это его сердце так страшно бьется, так сильно мечется в толкотне, в вокзальной духоте.

«Надо было взять таблетки! - Он вздохнул. - Вот старый дурень! Задарма давали, а ты не взял!»

Он терпеливо отстоял длиннохвостую очередь в кассу, над которой виднелась табличка, говорящая о том, что Герои и участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди.

- До Новгорода? - переспросила кассирша. - Только на завтра.

- Ну, давай на завтра, дочка. Что ж теперь? - сказал он, протягивая деньги. - Нету худа без бобра. Теперь хоть будет время навестить моего боевого товарища.

Отойдя от кассы, Степан Солдатеви́ч засунул в правый внутренний карман билет - поближе к сердцу. Мельком посмотрел по сторонам и вздрогнул.

«Что такое? Опять Вольдемар примерещился! Да откуда ему тут быть? Он что, ко мне приставлен, что ли? Бред...»

Измученная синица тем временем обессилила и притихла, опустившись на спинку деревянного дивана. И откуда-то вдруг появился привокзальный драный кот - черный, с подбитым глазом, с полуоблезлым хвостом. Кот, пригибаясь, подошел «на цыпочках» к дивану и затаился, глядя на синицу, которая тоже смотрела в ту минуту на кота и понимала свою обреченность, но сил улететь уже не было.

Степан Солдатеви́ч взял синицу - покорную, беззащитную - вынес на волю. Собранный ковшиком ладонь его стала наполняться теплой влагой. «Кровушка, - подумал Стародубцев, глядя на ладонь. - Эх, горемыка!..»

Не зная, куда бы пристроить синицу, он походил по свежему воздуху. С чувством неприязни, скрываемой от самого себя, потоптался неподалеку от сытых и довольных иностранцев, которых всегда и везде можно безошибочно узнать по шикарным шмоткам и по независимому выражению лиц.

Ревниво осматривая чужаков, он приблизился к немцам, кучковавшимися по другую сторону перрона. «Туристы, - хмурясь, подумал. - Или спортсмены? Делать нечего - железками играют или бегают наперегонки. Дать бы вилы в зубы вам или лопаты... Ишь, стоит, проклятый Ганс и харкает. У себя не харкал бы, а здесь так можно!»

Немецкая речь заставила его внутренне вздрогнуть - эта речь для него пахла порохом, кровью и дымом русских пожарищ; эта речь будила в нем глухую ненависть, и поэтому он поторопился отойти от греха.

Синица встрепыхнулась в кулаке, невольно сдавленная.

Приоткрывая руку, он услышал синичье сердце, слабо стучающее в ладонь. Посмотрел по сторонам и вновь увидел черного облезлого кота, крутившегося неподалеку.

«Куда ж тебя, беднягу, положить? - Он вздохнул. - Сожрут или затопчут. Улетай, подружка, улетай. А я пойду, однако, навещу своего боевого товарища...»

8

Он задыхаться стал еще сильнее и пожалел о тех эффективных таблетках, которые доктор хотел ему дать с собой. «Ну и что, что германские? - думал он, тоскливо озираясь. - Где тут что советское?»

Его опять «накрыло с головой» ощущение тоски, печали и безысходности. Он был Герой великого Советского Союза, которого уже не сыщешь днем с огнем, только жалкие остатки от Союза - как после взрыва - разнесло по лоткам и прилавкам, по вывескам, по майкам молодых людей. (Встречались парни в майках, на которых был изображен красный серп и молот с надписью «СССР».)

В небольшом коммерческом киоске сидела какая-то моложавая «курица» (так называл он курящих женщин). Порывшись в кармане, Степан Солдатеви́ч протянул ей мелочь.

- Вам чего? - прищуривая глаз от дыма, спросила «курица», не вынимая сигарету из зубов.

- Да мне бы тоже покурить, только мне чего-нибудь попроще... - сказал он, озабоченно оглядывая витрину. - А у вас тут нету ничего такого...

- Какого?

- Советского.

«Курица» уронила пепел на колени - стряхнула.

- Проехали, дядя.

- Как ты, дочка, говоришь?

- Я говорю, проехали мимо Союза. - «Курица» лениво подняла глаза. - Здесь только заграничное.

- Ага, понятно. - Он высыпал мелочь обратно в карман и собрался уйти, но тут как будто черт его под ребро толкнул. - А ты сама-то, дочка?

- Что - сама?

- Сама ты тоже - штучка заграничная? Или наша, из Козюли?

- Гуляй, папаша! - вяло сказала «курица». - А то парнишек позову, бока намнут.

- А парнишки тоже заграничные?

Окошечко со стуком закрылось перед ним.

Отойдя от коммерческого киоска, Степан Солдатеич оглянулся. «Вот старый дуб! Чего я прицепился? В чем эта «курица» передо мной виновата? Так же тоже нельзя - на людей набрасываться».

Он и сам не знал, что с ним происходит. В нем что-то восставало, бунтовало против окружающей действительности и Стародубцев начал «нарываться». Ему вдруг захотелось, чтобы кто-то встал у него на пути - он в себе чувял силу, такую силу, которая только на войне откуда-то бралась и помогала выживать; ту силу дает человеку ощущение правого дела.

9

Сокращая дорогу, Степан Солдатеич оказался в каком-то замусоренном тупике. Голуби крутились, что-то клевали возле бетонной стены, крыса прощмыгнула мимо голубей, которые ничуть ее не испугались.

И тут Стародубцев услышал за спиной негромкий, но внятный голос:

- Ну, батя! Ты, блин, меня загонял!

Перед ним стоял Вольдемар Неволя. Шляпа сбита на затылок. Галстук тоже съехал - чуть ли не под мышку.

- А! Это ты? - Стародубцев даже как будто обрадовался. - А как же ты нашел меня, сынок?

- Да я ж говорю, ты, старик, загонял меня на хрен! - Интеллигентно улыбаясь, Вольдемар, не забывая посмотреть по сторонам, достал оружие и стволом надавил на грудную клетку Стародубцева. - Тихо, старик. Не пыли. Где звезда?

Устало усмехнувшись, Стародубцев приподнял глаза.

- А где ж ей быть, сынок? На небе.

- Ну, короче, старик! А то некогда! - Переставая улыбаться, Вольдемар передернул затвор. - Ты же не хочешь с продырявленной башкой остаться на этой помойке?

- Нет, сынок, не хочу.

- Значит, давай звезду! Живей!

- Держи, сынок...

Он дал ему звезду и не одну - целые россыпи звезд посыпались у Вольдемара из глаз. Пистолет, закувыркавшись в воздухе, отлетел куда-то на по-

мойку, а парень - к бетонной стене тупика, затылком об стену шарахнулся и упал. Струйка крови изо рта потекла на подбородок - красные капли запятнали белую рубашу, покатались по черному галстуку.

Испуганные голуби, громко хлопая крыльями, взлетели над бетонным забором - пух и перья закружились в воздухе.

«Надеюсь, не убил? А надо было бы! - оглянувшись, подумал Степан Солдатович, собираясь покинуть железобетонный тупик. - Ведь он же встанет и пойдет не за сохой, не за плугом - за наградами, сука, пойдет! Так, может быть, вернуться и добить? Ага! И потом остаток жизни париться в тюрьме из-за этого дерьма? Так, что ли?»

Подумав несколько секунд, он вернулся. Конечно, не за тем, чтобы добить. Любовь к оружию заставила вернуться, а кроме того он прекрасно понимал, что этот ствол в руках бандита рано или поздно выстрелит в кого-нибудь из мирных граждан.

Когда он поднял пистолет и, отерев о штанину, спрятал за пазуху, Вольдемар зашевелился у бетонной стенки и прохрипел сквозь кровавую пену:

- Старик, я тебя из-под земли достану.

- А меня уже достали, наградили, теперь можно обратно закопать. Чтобы ты достал. Сопляк. - Стародубцев сплюнул рядом с парнем. - Я таких тараканов, как ты, портянкой гонял по Берлину!

Попадая в каменные клещи каких-то лабиринтов, вдоль и поперек исписанных похабщиной, обходя железный строй холодных ржавых копий каких-то многочисленных оград, минуя мусорные баки, чадающие прогорклым дымом и повизгивающие крысами, Степан Солдатович кое-как пробился к ветхому жилью фронтовика, похожему на старенький заброшенный окоп.

Картину «окопной жизни» хорошо дополняли мальчишки, с игрушечными автоматами ползавшие по кустам. Один из них бесшумно встал из ямы - из «бомбовой воронки» - и неожиданно закричал за спиной Стародубцева:

- Хэндэ хох!

Степан Солдатович побледнел, поворачивая голову и машинально начиная руки поднимать - от напряжения пальцы затрещали в козонках.

В лицо ему плеснулся детский смех.

- А по соплям? - опомнившись, пригрозил он, опуская руки. - Черти полосатые!

Мальчик виновато улыбнулся.

- Да мы играем, дяденька.

- Неужели? - Стародубцев скупно улыбнулся. - А я подумал, правда, фрицы в городе. Ну, иди, играй, не обижайся. Терпеть я этих фрицев не могу.

- А мы их тоже не любим! - поддернув пыльные штаны, по-свойски заверил мальчуган с игрушечным оружием, прижатым к сердцу.

Глава седьмая

1

Среди русских мужиков, нередко склонных к бесшабашной, разгульной жизни - после нас хоть потоп! - иногда встречаются такие кремневые характеры, что просто диву даешься и думаешь: или это исключение из правил, или все же был такой характер когда-то общий для большинства русских людей, вокруг себя собравших такую великую державу? И что же случилось потом? Русский характер тот, как мощная скала, стал рассыпаться под крепкими ударами судьбы, стал крошиться под бурями и непогодами? Да, наверно, так. Увы. Вот почему удивительно повстречать на житейской дороге гранитный

останец-характер, который убедительно говорит нам о той поднебесной скале, какая была в основании всей породы славянских предков.

Таким характером обладал Григорий Горностай.

Судьба их свела и сдружила в самые первые дни и ночи войны, необычайно трудные для необстрелянных солдат, в большинстве своем наивно верящих в то, что Красная армия «шапками забросает» немцев. Особенно крепко сдружились они после того, как однажды в бою Горностай прикрыл Степана - спас от верной гибели. После этого они всю войну прошли почти бок о бок. И после войны много лет не теряли друг друга из виду. Встречались, правда, но все-таки встречались, когда были молодые и легкие на подъем. Потом - все реже и реже. Иногда обменивались письмами, телеграммы друг другу присылали на день рождения, на День Победы.

И на войне, и позднее Стародубцев изумлялся, глядя на него: и душевной и физической силы в этом человеке было столько, что хватило бы с лихвой на семерых здоровых мужиков. Вот уж кто действительно был Герой с большой буквы - и в боях, и в жизни вообще. Рвануть рубаху стгоряча в пылу атаки или в минуту отчаянья грудью упасть на амбразуру вражеского дота - это, безусловно, требует характера и мужества. Но порою кажется, что это проще, чем творить незримый подвиг повседневной мирной жизни, особенно, если это касается жизни нашей, русской, во многом похожей на прифронтовую полосу. Достаточно вспомнить землянки, теплушки, в которых выросло и вышло в люди не одно поколение строителей светлого будущего. Достаточно увидеть разбитые наши дороги в грязи и в колдобинах, как после артобстрела, полупустые и пустые деревни. Жить русской жизнью и при этом быть человеком неунывающим - это под силу только герою. Вот таким он и был, Горностай, полуслепой инвалид, штопаный весь, перештопанный военными врачами и гражданскими. Он имел в себе осколков, кажется, намного больше, чем костей.

- Возле меня все компасы волнуются! - говорил Горностай, посмеиваясь. - Я для них, как самый главный полюс - пуп земли!

Никто и никогда его не видел в состоянии тоски, хандры, уныния. Иногда случались такие парадоксы: люди приходили в нехитрое жилище старого фронтовика с одной только потаенной целью: утешить как-нибудь, приободрить калеку, а в результате общения с жизнерадостным человеком - сами уходили с чувством утешения и ободрения; дышалось как-то легче и вперед смотрелось поуверенней, повеселее.

И Стародубцев шел к нему с такою «задней» мыслью - приободриться.

«А может быть, уже он тут и не живет? - подумал Степан Солдатеич, заходя в подъезд. - Когда еще грозились квартиру дать!»

2

Полутемная прихожая загромождена была всякой хозяйской всячиной - не протолкнешься.

Анжелина - дочь Горностая, поразительно похожая на отца - встретила гостя хмуро, отчужденно. Была она одета в черное длинное платье и оттого немного смахивала на монашку.

- Проходите. - Голос ее дрогнул. - У нас годовщина сегодня.

- Какая годовщина?

- Как папы не стало.

Стародубцев дрогнул и задышал как будто через вату - с трудом, с при- свистом. Осколок шевельнулся где-то справа, обжигая грудь, и голова закружилась - виски прошибло горячим потом.

Дальше все было - смутно, обрывчато. Степан Солдатеич сел за поминальный стол. (Люди еще не пришли). Перед ним поставили стакан дрожащей водки. Долго, будто в прорубь, он глядел и глядел в синевато-стеклянную глубину, вдыхал дурманнный запах алкоголя и ошеломленно силился понять: «Почему она дрожит все время, водка-то?» - угрюмо думал он. - Значит, я опоздал на целый год. Все собирался приехать...»

Напротив Стародубцева сидел зять покойного фронтовика - крупноголовый Михаил Стожаров. В минуты гнева и раздражения - а этих минут в этом доме было немало - Анжелина почему-то называла мужа «Михамил» и говорила, что он «человек с ученой спесенью». То ли потому, что в нем была природная хамоватинка, в общем-то, безвредная; то ли потому, что он учился в МГУ, а потом его турнули оттуда. При хорошей, светлой голове Стожаров имел весьма занозистый характер и постоянно цапался с преподавателями, спорил с ними на «запрещенные» темы - насчет истории КПСС, например - тогда эта история была на высоте. В итоге он оказался на задворках с метлой «в зубах», как утверждала Анжелина. Немного помахав метлою, Михамил в рабочие подался; несколько лет на заводе пыхтел, за квартиру батрачил, а потом - развал страны и гибель многих светлых надежд под обломками Советского Союза. Стожаров был подавлен всем тем, что творилось теперь и в Москве и вообще в стране. Те, кто бичевал его насчет истории партии, мгновенно перекрасились, побросав партийные билеты в огонь. Михамил был поражен своим открытием: есть люди, для которых нет ничего святого, для них сменить свои убеждения равносильно тому, чтобы сменить рубаху - белую на черную и наоборот. Отсутствие всякого принципа - это и есть главный принцип бессовестного человека. А Михамил - он только назывался Михамилом; улыбочивые хамы с глазами, «отлитыми из свинца», не имели даже сотой доли того богатства, какое имелось в голове у Стожарова, зато они имели наглость, беспринципность и очень многого достигли за короткий срок: машины, дачи и великолепная «зряплата». Ни это в жизни главное - о, да, он понимал, прекрасно понимал. Только баба-дура не понимала, все пилила и пилила мужа из-за этих гребаных денег, а вернее - из-за отсутствия оных. И потому он все чаще и все глубже в бутылку заныривал.

- Ну, что? - Стожаров обрадовался не столько гостю, сколько возможности выпить. - Давайте помянем. Святое дело.

- Ты смотри мне это... - предупредила жена из кухни. - Раньше срока не напоминайся!

- Все под контролем, - заверил Михамил, подмигивая Стародубцеву. - Ну, давайте, как вас?.. Солдатеич? Оригинально. Давайте, Солдатеич. Царство ему небесное.

Анжелина вышла из кухни, блюда начала расставлять.

- Закусывайте, - сказала она, повлажневшими глазами обводя сумрачную, тесную комнату. - Даже цветы сегодня ночью все повяли.

- Душа улетела и цветочки с собой забрала! - Стожаров опять наполнил свою посуду. - Он в последнее время цветы полюбил, разводил...

- Какие цветы?

- Разные. - Стожаров как бы между прочим выпил. - Сегодня он, к примеру, какой-нибудь сциндапус расписной просил купить, а завтра ему подавай Атаву королевы Виктории.

- Скучал, видно, земля звала, - предположил Стародубцев.

- Да нет. Он еще пожить хотел...

- Ну, там нас не спрашивают! - Стародубцев пальцем показал на потолок. - Душа, говоришь, улетела? А мне сегодня что-то примерещилось. Выхожу я это из Кремля и вдруг вижу...

- Чего-чего? - Хмелея, Михамил развеселился. - А может быть, вы лучше так начнете: выезжаю на белом коне из Кремля...

- Зачем? Я не маршал Жуков, на белом коне-то...

- Вот и я об этом.

- Об чем? - Стародубцев не сразу понял, что ему не поверил насчет Кремля, а когда понял - замкнулся.

Хмель на щеках у Стожарова запалил чахоточно-яркий румянец. Пот проступил на лбу, распаханном широкими морщинами.

- А вы тут как? - спросил он, ковыряя спичкою в зубах. - По делам или в гости? Проездом?

- По делам, - суховато сказал Стародубцев и неожиданно «признался»: - Поросят из деревни привозил продавать.

Михамил ничуть не удивился такому признанию.

- Ну и как? Продали?

- Нет. - Степан Солдатеич руками развел. - Говорят, что здесь и так свиной полно.

Стожаров удивленно хмыкнул, догадываясь, в чей огород полетел этот камешек.

- Так что вы там сказали по поводу Кремля?

- Я? - Стародубцев поморщился. - Уже не помню. Башка после контузии дырявая, сынок.

- Понятно. - Михамил опять усмехнулся. - Ну, извините, если я нечаянно обидел.

- Кого? Меня? Да боже упаси.

Парень задумался о чем-то, железной вилкой гоняя по пустой тарелке зеленую сморщенную горошину.

- Вот вы говорите, земля его звала. Да никакая земля не звала! Он был полон сил! Он жить хотел...

- Прекрати! - одернула жена, выглядывая из кухни.

Михамил, уже таявший лишнего, заартачился.

- А почему это я должен прекращать? Степан Собакевич - он ведь был не чужой человек отцу твоему. Так почему же нельзя рассказа...

- Ну, хватит! - перебила жена, отодвигая поллитровку от супруга. - Мы с тобой на эту тему уже говорили.

Стожаров засопел.

- Ты пузырек-то не отодвигай. На эту тему тоже говорили. Поставь на место. Вот так-то лучше. - Он плеснул себе в стакан. - Ну, давай, Солдатеич, выпьем за тестя моего, за вашего боевого друга. Сколько боев он прошел и ничего. Уцелел среди врагов, чтобы от своих погибнуть. Во, какие времена! Во, какой бардак в стране!

Стародубцев изумленно вскинул брови.

- А разве он ни это... Ни своею смертью?

- Да если бы своей, так не обидно было бы! Все мы смертны! - Михамила потянуло на философию. - Время рушит камень, а что уж говорить про человека! Если вдуматься, то что это такое - человек? Муха - по сравнению с вечностью. Правильно? Жужжит, суетится над кучкой дерьма...

- Что ты болтаешь, муха? - одернула жена. - Помолчи тут со своей ученой спесенью. Человек не пьет, а ты как выпьешь, так начинаешь...

- Погодите, ребятаки! - Степан Солдатеевич машинально взял со стола вилку. - А что случилось-то? Как он погиб? Несчастный случай?

- Нет, счастливый, - мрачно сказал Михаил.

Расставляя блюда, жена подошла к нему и отвесила подзатыльник. Муж только вздохнул в ответ и пригладил на затылке жиденькие взбившиеся волосы.

Анжелина под села поближе к Степану Солдатеевичу, негромко сказала, опуская глаза:

- Убили его.

Железная вилка в руках Стародубцева стала сворачиваться винтом.

- Как убили? - прошептал он. - Кто?

- Мошенники. Квартиры обманным путем у людей отбирали. В основном у стариков, у фронтовиков, у кого нет родных..

- Да ведь он же не один! Как так?

- Да вот так... - Анжелина что-то не договаривала. - Папа в последнее время... Он был совсем как малое дитя. Хотел сюрприз нам сделать. Тишком, тайком взялся оформлять бумаги на получение новой квартиры - ему года полтора назад выделили в Замоскворечье. А помогать ему взялись какие-то аферисты. Они уже таких фронтовиков облапошили, черт знает, сколько. В общем, было подписано поддельное завещание на новую квартиру... Ну, а потом его мертвым нашли... Теперь вот идет разбирательство, да только отца-то уже не вернешь.

Вилка, скрученная винтом, упала под стол. Стародубцев хотел нагнуться, но голова так закружилась, что он двумя руками взялся за края стола, чтоб не упасть. Потом - через минуту - он руки со стола убрал. Кулаками вниз похрустел.

Граненая прорубь стакана продолжала дрожать перед ним. Ощущая заунывный звон в ушах, как будто погружаясь на глубину, Степан Солдатеевич пошевелил ноздрями, жадно вдыхая водочный дух.

«Кошмар какой-то! Выпью! - подумал он, и в то же время руки под столом сами собой сложились в крепкий замок. - Нет-нет! Только не это!»

Раскрасневшийся Михаил пододвинул стакан.

- Надо помянуть! Святое дело!

- Надо, - глухо согласился Степан Солдатеевич, глядя в стакан. - А почему она дрожит?

- Кто? Водка? А такую продают! - усмехнувшись, сказал Стожаров и, оглядывая комнату, добавил: - Тут все дрожит. И водка, и вода. И посуда на столе. И цветы на окнах. Вы не заметили? Ну, давайте выпьем, я расскажу...

Не обращая внимания на то, что Степан Солдатеевич так и не выпил, Стожаров стал пространно рассказывать о том, что где-то там, внизу, пробиты норы метрополитена - электрички бегают по темным лабиринтам, наполняя недра громовыми раскатами, выходящими на поверхность в виде мелкой зыби и легкого волнения. Дом находился на пересечении подземных дорог. Во время прокладки метро на этом месте запланировали станцию, но произошла коррекция проекта, и старый дом оставили в покое, предоставив ему доживать, а точней говоря, помирать, страдая от подземной лихорадки, разрушаясь от наружных непогод.

«Живут, как в блиндаже! Сколько лет он ждал квартиру, и вот дождался. Вместо дома - домовину получил».

- Убили? - вслух подумал Стародубцев. - Я что-то не могу понять... Или вы мне что-то недоговариваете... Да как же это так могло случиться? Какие-то мошенники... А вы-то, вы где были?

- Михамил поднялся.
- Вы не курите?
- Да как не курю? Курю.
- Ну, пойдёмте в подъезд.

3

Всю правду рассказать Михамилу было неудобно и даже стыдно, несмотря на то, что он уже изрядно тяпнул. Правда была слишком горькая. Он - как «человек с ученой спесенью» - из-за какого-то копеечного пустяка повздорил с тестем и в последнее время старался его избегать.

А потом Анжелина выиграла где-то семейную путевку на остров Кипр. Отец ворчал, был против этой поездки.

- На что полетите?
- Займем.
- Что, мало вы кому уже должны?
- Пап! - Анжелина ластилась к нему. - Ну, такая путевка - раз в жизни. Ты что? Ну, это же быстро. Месяц пролетит - и глазом моргнуть не успеешь.
- Закроются глаза, так не моргнешь.
- Ну, перестань! Мы же были недавно в больнице - у тебя же все анализы хорошие.

- Он махнул рукой.
- Делайте, что хотите.

И они улетели туда на целый месяц, убеждая себя в том, что никто бы на их месте не отказался на халяву отдохнуть на Средиземном море, на Южном Кипре. Это же сказка и сон наяву. Многие пляжи Южного Кипра награждены Голубым флагом Евросоюза за удивительную чистоту и великолепную инфраструктуру. А город Пафос - чудесный этот город - включен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А кроме того, он знаменит еще и тем, что поблизости от него находится Лазурная бухта Афродиты. Именно там - если верить легенде - чудесная богиня любви и красоты возникла из пены морской. Целый месяц они наслаждались достопримечательностями Кипра, которые представляли собой смесь различных эпох: византийский замок Колосси, где какой-то Исаак укрывался от крестоносцев; церковь, где Ричард Львиное Сердце венчался с какой-то принцессой Наваррской; венецианские крепости; британское левостороннее движение.

Впечатлений было море!

Счастливые, бронзовые от загара, они возвращались в Россию не на крыльях аэрофлота - как будто на собственных крыльях.

А Григорий Полетаевич в это время оформил документы на квартиру, подписал какие-то бумаги и, в конце концов, сам себе подписал смертельный приговор.

4

После перекура они опять сидели за столом, и опять Михамил понуждал рюмаху за рюмахой и говорил о том, что вот если бы раньше дали бы квартиру фронтовику, так ничего бы такого не произошло.

- Так ведь нет! Не давали столько лет! В очередях томили! - горячился Михамил. - Немец в войну был почти под Москвой! Отстояли, отбили. Считай, что кулаками, а не пушками, так ведь? И если бы не вы, не ваше поколение фронтовиков - по Москве сейчас ходили бы фашисты, а Кремль был бы ихним Рейхстагом.

Стародубцев тяжело вздохнул.

- А что, разве не так теперь?

- Нет, погодите, вы недослушали. Я говорю о том, какая короткая память у советской власти! Сама она залезла в пышные дворцы, иностранные посольства - немцев, шведов, турок и прочих - поселила в княжеских особняках в самом центре столицы. А солдаты, отстоявшие Москву, - да пропадите вы пропадом! И знать мы вас не знаем, и видеть не хотим!

- Тише, разорался! - одернула жена. - Закуси хоть немного. И вы поешьте, Степан Солдатеич. С дороги ведь, проголодались.

- Что - тише? - взрепелся Стожаров. - Не правда, что ли?

- Кривда. У нынешней власти память тоже не длинная.

- Да нынешняя власть... Я не защищаю, нет... Я просто хочу быть объективным... Нынешняя власть, она еще не оперилась. Ей без году неделя. Какие тут могут быть претензии?

Гость покачал головой. «Узорное» ухо, посеченное шрапнелью, почесал - ухо слабо ныло и в нем порой позванивало.

- Не оперилась? Ну, не скажите, молодой человек! Эта власть уже летит орлом, живое мясо рвет, глаза выцарапывает!

- Правильно. Что ж вы хотите? Эта власть - продолжение той...

- Э, нет! Если они господами себя величают, так пускай же не ведут себя, как поросята в хлеву. Вот что я хотел бы, дорогой сынок.

Помолчав, Стожаров что-то вспомнил.

- Американцы, - тихо сказал он, усмехаясь, - черти, вот додумались, вы представляете? Американцы вводят свиньям человеческий гормон роста, чтобы получалось нежирное мясо. А мы себя ведем сегодня так, как будто всем нам впрыснули гормон свиньи. Ну, не всем, но очень, очень многим. Вот почему кругом такое свинство. Так я думаю.

- Ну, ты ведь у нас голова! Человек с ученой спесенью! - Жена с нарочитой нежностью погладила мужа по затылку. - Ты лучше скажи, какой гормон тебе ввели? Вторую поллитровку допиваешь... Хоть бы постыдился, поминки все-таки.

- Вот потому и пью, что постыдился. Глаза бы мои не глядели на этот вселенский бардак! - Михамил водянистыми глазами уставился на Стародубцева. - А вы, правда, что ли, приехали сюда свиней продавать?

- Нет. Пошутил я. Тут свинства хватает.

- Так вот и я про то же говорю.

5

На какое-то время Стародубцев выпал из разговора. Перед глазами у него поплыл роскошный Кремль, горящий рубинами звезд и сияющий куполами. Вспомнился Георгиевский зал - до мелочей представился, до последней хрустальной подвески, до царапинки на полу, смастеренном из породы различных деревьев. И одновременно вспомнил он богадельню в Деревянницах под Новгородом, где бывал в гостях у знакомого фронтовика: грязь окопная, вонь; вша людей заедает с тоски в Деревянницах этих. И в это же самое время побежденные фрицы - холеные, разодетые, благодущные, с чувством собственного достоинства и плохо скрываемым чувством превосходства - едут по России, занимаются мудреной, прости... реституцией. Спокойно - по «закону» - забирают картины и драгоценности. Едут на Могилку Неизвестного Солдата, которого они угрохали в неизвестном количестве за годы войны - умели фрицы воевать, умели, чего уж тут на правду закрывать глаза;

сильный враг был, умный; даром, что ли, столько народов и стран стонало под германским сапогом.

Стародубцев опять до стакана дотронулся. Погрел в руке прохладную отраву. Отодвинул.

- Ну, я пойду, однако, мне на поезд, - сказал он, стесняясь признаться, что поезд только утром, а переночевать-то ему негде.

- Ну, смотрите... - Михамил пожал плечами. - А то скоро гости придут. Посидим.

- Да мы уж посидели.

- А далеко вам ехать-то? Вы откуда будете?

- Из-под Старой Руссы.

- А! Это Новгородчина? - Стожаров желчно хмыкнул. - Ну, и как там проживают узбеки? Целину корчуют или нет?

- Какие узбеки?

Стараясь не брэнчать стеклом, чтобы не услышала жена, ушедшая на кухню, Михамил осторожно плеснул себе водки - украдкой тяпнул и неожиданно стихи стал выкрикивать:

Где лес и поле на два дышла,
Там ни двора и ни кола,
России нет, Россия вышла
И не звонят в колокола!
О ней ни слуху и ни духу,
Никто печаль не сторожит.
Россия глушит бормотуху...

Стожаров на секунды замолк, припоминая следующие строки. Потом продолжил:

Россия сгинула навеки
И не на что валить вину,
На Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину!

Выйдя из кухни, жена посмотрела на него глазами подбитой птицы.

- Бормотуха! Это ты ее хлещешь каждый день, так при чем тут Россия?

- А я кто? Не народ?

- Урод!

- Но-но, полегче на поворотах.

За столом помолчали.

С какой-то отдаленной колокольни раздался приглушенный звон.

- Рановато хоронишь, сынок! - угрюмо сказал Стародубцев.

- Так уже похоронили. Год прошел. - Михамил посмотрел какими-то незрячими глазами. - Или про что вы? А, насчет России? Так это же стихи. Они давно уже были написаны Дудиным, тезкой моим... Из песни слов не выкинешь! Да ладно, Солдатеич, плюньте, не берите в голову. Давайте лучше по граммальке? За Победу! А?... Я, между прочим, на днях узнал интересную новость. Знакомые ребята поехали на Запад волонтерами - две тысячи долларов в месяц. Как вам это нравится? А я тут упираюсь за вшивые какие-то копейки. Так, может быть, и мне лучше податься наемником на Запад? Посоветуйте.

- Я воевал бесплатно, из меня плохой советчик.

Парнишка с улицы пришел и, взяв свое «оружие», хотел бежать на улицу, играть в войну - в коридоре кто-то подждал его, потрескивая сухой автоматной очередью.

- Артюха! - остановил отец. - Ты выучил стихи?

- Выучил.

- А ну-ка, встань и выступи!

Мальчик, торопясь на улицу, послушно забрался на табурет. Живые глаза его, сосредотачиваясь, еще живей забегали по комнате, потом остановились на дверях туалета.

Гитлер думал, что война,
Сделал пушку из г!..

Степан Солдатеви́ч невесело засмеялся, а Михаил, осерчав, шлепнул парнишку по заднице.

- Ты чего несешь? Давай другое!

Мальчик соскочил со стула, почесал ушибленное место.

- Какое другое?

- С утра учил которое.

- А я уже не помню.

- Ну, вундеркинд, елы-палы... Иди отсюда и никогда больше не вздумай читать про эту пушку, а то еще хватит ума в школе выступить на утреннике где-нибудь. Ладно! - Стожаров сел за стол и повернулся к гостю. - Я вам сам почитаю...

- Помолчи, пожалуйста, - попросила жена. - Не демонстрируй свою ученую спесень. Не позорь меня. Иди лучше, ложись.

Подумав, Михаил поднялся, покачиваясь.

- Всю башку об этот потолок прошоркал, - ни к кому не обращаясь, пожаловался он, вытирая вспотевшее темечко. - Говорил же, мать, не надо ехать на тот Кипр, так она же выиграла. Барыня. Теперь вот будем жить и подыхать в этих окопах.

Молодая, но уже работой изможденная женщина покаянно опустила темнорусую голову. Вздохнула, глядя на портрет, траурной ленточкой перечеркнутый по нижнему углу.

6

Анжелина ушла укладывать пьяного мужа, и Стародубцев на несколько минут остался в одиночестве. Постоял возле портрета покойного друга, неуловимо, но печально изменившегося, как меняются на белом свете все портреты людей, оказавшихся в мире ином.

«Что, дорогой Григорий, наболтал твой зятек, стыдно слушать? - думал Стародубцев. - Небось при тебе-то сидел, поджавши хвост, и не решался хоронить Россию? А теперь со всех сторон заладили в одну дуду - при жизни роют яму для своего Отечества. Да ладно, Григорий, простим. Дураков с ученой спесенью мы встречали много на своем веку. Они и тогда, в сорок первом, хоронили страну. А когда Наполеон пришел в горящую Москву? И тогда было много таких, которые со страху Русь готовы были схоронить».

За шторкой на окне приглушенно балаболит репродуктор, потом возникла пауза, вслед за которой Стародубцев замер - в комнату ворвались первые аккорды песни «Вставай, страна огромная!» Эта любимая песня всегда прошибала морозом до косточки. Степан Солдатеви́ч сунул руку за шторку, покрутил колесико - и песня пошла в полный рост, в полный голос.

Грянул хор, «срывая потолок» и точно раздвигая стены - комната исчезла... И Москва исчезла... Дымящееся поле, перелески оказались впереди... Шестиствольный миномет работал за деревьями - землю рвал огромными

фонтанами, встающими высоко, замедленно... Солнце, облака, заваленные взвившейся землей, пропадали, а затем как будто рушились в прибрежные овраги... Перевернутая повозка лежала у дороги. Светлый полусбитый обод колеса был похож на месяц, поднимающийся над горизонтом. Живая лошадь с вывернутой шеей валялась на обочине, смотрела сквозь слезы - разорванное брюхо дышало и пульсировало парным кровоточащим мясом. Пробегавший мимо солдатик крестьянской закваски обратил внимание на бедную животину и пожалел - ствол винтовки сунул в ухо и, отвернувшись, нажал на курок... А сбоку пехота бежала, редела отчаянно-угрюмое «Ура!» Проломить оборону уже было нечем - солдаты шли на приступ, шинелями забрасывая колючую проволоку... И в шуме ветра над головой в деревьях, и в шуме колосьев, горящих по бескрайнему полю, и в шуме реки за спиной - всюду слышалось как заклинание: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Много, ой, как много злых и горестных подробностей войны оживало с этой песней в развороченной памяти Степана Солдатеевича. Но много и светлого было в тех звуках, много священного, братского, на веки вечные соединенного запекшейся кровью. Песня рвала ему душу, доставала слезы откуда-то из глубины солдатского нутра, которое давно уже казалось выжженной пустыней, где ни слезинки, ни росинки, ни травинки...

Сбоку замычал Михамил - взял папиросы на окне возле репродуктора. Муха зажужжала на стекле. Коробок со спичками затарахтел. Скомандовал жене:

- Давай, тащи пузырь!

Жена возмутилась.

- Ага, сейчас! Пузырь ему! Люди придут, а он уже готов... лежит кверху задницей.

- Кто? Я? - Михамил чуть рубаху не рванул на груди. - Да ты меня из пулемета не уложишь.

«А я бы уложил!» - подумал Стародубцев.

Собираясь уходить, он поморщился, оглядывая узкий коридор, напоминающий гроб. Теснота угнетала все больше - клаустрофобия давала себя знать. Полы под ногами подрагивали все сильнее. И душно, душно было, несмотря на открытые форточки. Степан Солдатеевич то и дело потрагивал горло, кадык шевелил, как будто воздуху побольше протолкнуть хотел.

- Дак есть надежда, нет ли, что квартиру отсудите у этих ловкачей? - спросил он, уже стоя на пороге.

- Есть! - уверенно сказал пьяный Стожаров. - Я знаю, как эту братию к ногтю прижать. Я ведь тоже этим делом занимался...

- Что ты плетешь? - Жена посмотрела большими глазами. - Чем ты занимался?

- Ну, не занимался, - уточнил Стожаров. - Мог бы заняться. Вполне. И жил бы сейчас припеваючи. Дело в том, что несколько лет тому назад я работал с одним таким ловкачом. Проворный дядя был. Из бывших партийных работников. Семка Пустобойтов или Пустовойтов. Теперь уже не помню.

Стародубцев чуть не сел там, где стоял.

- Чего? Как ты сказал?

- Пустобойтов. Пустовойтов. Семен Азарович. Или нет - Азартович. Азартный мужик. - Михамил громко икнул. - А что такое? Почему глаза по чайнику?

Стародубцев помолчал, обескураженный, и медленно вышел в московские синие сумерки, уже кое-где сияющие первыми звездами, как дробью, раскаленной добела.

Глава восьмая

1

Он сдал билет, купил другой - на поезд, отходящий ночью. (Днем еще думал купить на него, да хотел навестить Горностая.)

И снова стучали колеса - тарактели пулеметной очередью. И снова за окнами в потемках мелькали то близкие, то далекие весенние палы, похожие на отблески военных пожарищ. И снова какой-то попутчик рядом с ним курил в гремящем тамбуре, а потом рядом с ним сидел в полутемном купе - «раздавить» бутылку предлагал. И он уже чувствовал, что воля его ослабевает, что скоро он слетит с катушек в тартарары, потому что пить ему никак нельзя. Строжайший, настоятельный запрет врачей. Да он и сам это отлично знал.

Ему нельзя не только пить - губу мочить. Хмельная душа у него раскалялась, слетала с нормальной человеческой зарубки и тогда уже никто его, ничто остановить не могло. В молодости жутко буйным был во хмелю, непредсказуемым. На крышах, помнится, чечеточку плясал, на оконных карнизах пятиэтажного женского общежития. Характер свой доказывал, дурь свою показывал. А после войны - там уже другие пьяные гастроли начались. Он прошел половину Европы и своими глазами увидел, как люди живут, где спят, что едят. И стало ему горько и обидно за свое убогое существование. Рабство когда еще отменили, думал он, да отменили только на бумаге. Возьми хоть колхоз - всю войну за какие-то «палочки» люди горбатились. Хоть город возьми для сравнения - та же картина, только, может, рамочка другая. И до войны так было, и десять, двадцать лет после войны. Да это ж сколько можно? Ведь у него не три, не восемь жизней, а всего одна, и прожить ее надо так... Как там, в школе-то учили? Чтобы не было мучительно больно? Вот в том-то и дело, родимые! Мучительно больно и стыдно за то, как мы жили, живем и еще, наверно, долго будем жить, не за понюх табаку предавая лучшие заветы наших мудрых пращуров, забывая славную русскую историю, суетясь и дешева ради минутной выгоды, не думая о том, как после нас будут жить в России наши дети, наши внуки. Что мы им оставляем в наследство? Мучительно больно и стыдно смотреть на все это и трезво понимать, что нет исхода. Он пробовал искать успокоения на дне стакана, однако скоро понял - это гибель. Война поточила в нем крепкую душу, как ржавчина точит железо. Он перестал бояться смерти и даже где-то в глубине души стал иногда желать ее и подзывать, особенно когда пьянел. В него словно черти вселялись. В нем словно поджигался бикфордов шнур, протянутый к запасам динамита; пьяный Стародубцев что-то шипел, шипел и вдруг - все, что находилось рядом, взрывалось в клочья, в дребезги. Вот почему он крепился уже много лет. Жил на сухую.

2

Всю ночь он провел на тонком нерве, готовом порваться. Махнув рукою на свое купе - в общий вагон перебрался, потому что стала давить клаустрофобия.

Общий вагон для него был как барак на рельсах и частица родины. Родители жили на Урале, скитались по баракам и теплушкам. Крепкие в ту пору зимы навсегда запомнились мальцу. Метель между теплушками, бывало, снегу утрамбует - выше крыши. Окопы в полный профиль приходилось рыть в сугробах и целые тоннели среди вагонов. На санках, точнее сказать, на коровьей мороженой лепехе, можно было прямо с крыши с ветерком

слететь к железнодорожному разъезду. А летом, когда жар вступает в силу, накаляя вагончики, спал мальчишка иногда между осями и со шпалой в головах, спал под колыбельные песни маневровых поездов, грохочущих неподалеку и тяжело баюкающих землю с чумазыми ромашками и полынью, пахнущей мазутом.

Так что мимо общего вагона Степану Солдатеевичу никак нельзя было пройти.

Всю ночь тут хлобыстали засаленными картами по столикам, травили анекдоты и сосали протухшее какое-то вино. Мужики с дружелюбным простодушием предлагали ему опрокинуть стаканчик-другой за надвигавшийся праздник Победы. Но Стародубцев упрямо отказывался, боясь чего-то жуткого в себе, чего бояться люди, сознательно бросающие пить. Однако и в трезвой душе у него назревала беда, и он уже чувствовал: пей не пей, а солнце - солнце личной жизни Стародубцева - стремительно катилось на закат.

В глазах темнело оттого, что приходилось слышать.

- Вы фронтовик? - спросила какая-то женщина.

- Фронтовик.

- Тогда смотрите, как бы чего не вышло...

- А что такое?

- Да у меня отец чуть было не помер от инфаркта из-за этих проклятых подарков.

- Каких подарков?

- А вы не знаете? Немцы к Дню Победы нам прислали.

- А кто вам прислал?

- Да не нам, а вам... - Женщина отмахнулась двумя руками. - Ой, ну совсем я запутала и себя и вас. Короче говоря, фронтовикам подарки из Германии.

Стародубцева как молнией ударило - отшатнулся, внимательно глядя на женщину. Так смотрят на умалишенных или на детей, говорящих какие-то несусветные глупости. Потом глаза его смущенно опустились. Он какое-то время сидел, не мигая и не дыша. Лицо побледнело и высохли губы, становясь неприятно синюшными, мертвыми.

- И что там за подарки? - спросил он, царапая «узорное» ухо, посеченное шрапнелью.

Женщина пожала плечами.

- Я не знаю, что там было, вещи или продукты. Суть не в этом. Папа отказался. А потом ему сделалось дурно. Хорошо еще, что «скорая» быстро приехала.

- Дожились, твою маковку! - Фронтовик зубами закрипел. - Значит, и меня в деревне дожидается такой подарочек?

- Вот я и говорю, смотрите, - повторила попутчица. - Смотрите, как бы чего не вышло... Как с моим папой... Пощечина от фрицев, вот как он сказал.

- Пощечина, дак пощечина.

Собираясь выйти в тамбур покурить, Стародубцев зацепил ногою детскую игрушку и с удивлением обнаружил, что это - пластмассовая пулеметная лента. А рядом лежал пистолет, тоже пластмассовый, но сделанный как настоящий - с такими пистолетами даже на грабеж выходят «мальчишки»; с перепугу-то не всякий разберет, где игрушка, а где пушка.

- Сыну везу, - сказала женщина и почему-то виновато улыбнулась.

- Хорошее дело, - похвалил Степан Солдатеевич. - Мужик должен быть защитником. А как иначе? Они сегодня подарки шлют, а завтра, смотришь, опять попрут без объявления войны.

Молодой ефрейтор в новенькой форме появился откуда-то.

- Не попут! - сказал он, улыбаясь. - Вы им хорошо накостыляли!

Этот ефрейтор ехал в отпуск домой. Он отогрел немного душу Стародубцева: пел фронтовые песни отличным голосом и по-сыновьи обнимал Степана Солдатеевича. Жалко, скоро сошел он. Нам побольше бы умных и чутких попутчиков - жизнь казалась бы теплой, а долгий путь - короче.

3

А под утро в прокуренном тамбуре произошла скверная сцена - Стародубцеву стыдно было потом вспоминать. Даже сам не знает, как это так случилось. Все было тихо-мирно и ничто грозы не предвещало.

Здоровенный моложавый дядя с тонкими усами, делавшими его похожими на мордастого майора из контрразведки, случайно узнал, что Стародубцева в Москве наградили «Золотой Звездой». (Степан Солдатеевич ефрейтору свою судьбу рассказывал, а этот мордастый «майор» невольно подслушал.)

И вот, когда они вышли в тамбур покурить, усатый недоверчиво спросил:

- «Золотая Звезда», говоришь? А где она? Покажь.

- Да нету, нету никакой звезды, - отмахнулся Стародубцев. - Пошутил я, товарищ майор. Успокойся.

- Я тебе не товарищ майор! - неожиданно окрысился попутчик.

- Ты не майор мне и не товарищ, - согласился Степан Солдатеевич. - Тебе чего надо? Выпил? Закусил? Иди, поспи.

Но мордастый «майор» не унимался.

- Он, видите ли, герой! Лишь бы пацану мозги, значит, запудрить? Вояки хреновы! - «Майор» закурил и, едва не тыча сигаретой в лицо Степана Солдатеевича, стал разглагольствовать по поводу войны. - Он один, а вас четверо! Ты хоть понимаешь эту арифметику?

- Нет. А что за арифметика?

- А это, батя, простая арифметика победы. Один солдат Гитлера лег, а рядом с ним - четыре наших положили. И это называется победа?

Степан Солдатеевич тоже закурил, тяжело задышал.

- Да! Победа! Какая ни есть, а Победа! Все-таки наше знамя было над Рейхстагом, а не ихнее - над Кремлем.

Короткая усмешка дернула черные усики.

- Оно может, и лучше бы?.. Слышь, батя? Может, лучше было бы сдать немцам в плен. Теперь бы жили тоже припеваючи. Жратвы навалом, пива...

Бить Стародубцев не хотел. Просто плюнуть собирался в эту разъевшуюся рожу - не промахнешься. Плюнуть хотел и уйти. Но в нем словно сработал военный механизм - жестокий, сильный и ничуть не устаревший за давностью лет.

Жирный тот бычина и охнуть не успел - съел зуботычину и, закатив глаза, стал медленно стекать по стенке тамбура. Вторым ударом Стародубцев приподнял его и тут же опрокинул на грязный заплеванный пол.

- Немцам? - Захрипел он. - В плен?.. Убью!

И тут за спиной у него еще двое возникли.

- Мужик! Да ты че? Оху...

Не давая им договорить, он сунул руку за пазуху и выдернул пистолет, еще в Москве конфискованный у Вольдемара.

- Не доводите меня до греха! - предупредил он, передергивая затвор. - Фашисты! Ироды!

Мужики попятились. За ними захлопнулась дверь.

Разгоняясь на полный ход, военный механизм просил работы, и Стародубцева заколотило оттого, что надо было тормозить; мозг еще не был выключен; в нем еще теплилось: «Нельзя! Нельзя! Ты что? Сдурел?»

Лицо Степана Солдатеевича неузнаваемо перекошило, как во время рукопашного боя. Захрустели зубы, сведенные злобой. Он спрятал оружие. Горячим лбом прижался к железной, прохладной стенке, трясущейся, как в лихорадке. Кулаком долбанул по стене - раз, другой. Свирепо глянул через плечо. «Зашевелился? Слава тебе, господи! Хотя такую тварь надо убивать, чтоб не смердела!»

Поезд притормаживал.

Подъезжали к Новгороду.

Не дожидаясь полной остановки, он спрыгнул на перрон, будто во сне - перед глазами опять серым солдатским сукном шевелился болезненный морок.

4

Очнулся Степан Солдатеевич сидя на скамейке в тихом сквере за вокзалом. Выплюнув кровь, нацедившуюся в рот, - нижнюю губу до крови закусил. Казанки припухшие потрогал. Посмотрел по сторонам. Над ним склонилось дерево, умытое предутренними росами - влага держалась, трепеща, на кончиках ветвей; капли протяжно срывались на землю, что-то шепча по кустам и порожним скамейкам. Сквозь путаницу тонких зеленоватых ветвей синело небо. Дальнее-дальнее. Огромное и одинокое. Высокий ветер гнал куда-то вереницу легких облаков. День зарождался погожий, просторный, пахнущий липуче изумрудной молодью, лезущей на волю из почвы, из кустов и деревьев. По садам и скверам приглушенно разговаривали воробьи, сороки. Голуби, взлетая, хлопали крыльями. Мир был кругом и покой. Жить бы да жить без оглядки в такой величавый денек, жить бы да радоваться...

Измученное сердце с правой стороны рвалось на привязи, больно толкало в бок - не усидеть. И он пошел куда-то. Хотел к знакомым завернуть, но не решился.

«Куда я такой покажусь? Размазня! - подумал он, на людях привыкший быть собранным, волевым, с кремневым основанием в характере. - У людей и без тебя полно проблем. Ты еще будешь мочить им жилетку своими соплями. Герой».

Город просыпался. Многострадальный, дивный. Орды хана Батыея, фашистские орды - все он помнил памятью земли, камней, деревьев. И за это он был очень дорог Стародубцеву. И очень люб - за то, что снова и снова умел подниматься из пепла, как сказочный Феникс.

Рынок впереди, только-только продравши глаза, начинал пошумливать и пахнуть всевозможными овощами-фруктами. Проворный чернородый джигит в тюбетейке, лихо завалившейся за ухо, любезно встретил Стародубцева у входа. Широкая белозубая улыбка вынырнула вдруг из черной бороды, будто кунак долгожданный перед ним объявился. Показав руками на прилавок, загроможденный пирамидами из фруктов, продавец возбужденно предложил:

- Дарагой! Папробуй, пажалста, гранату!

Стародубцев горько хмыкнул.

- Я уже попробовал однажды!.. Под Смоленском!..

Поморщившись, он машинально тронул правый бок.

Ради «спортивного интереса», походив между рядами и не собираясь ничего покупать, Степан Солдатеевич поскреб затылок.

- Мужики, бляха-муха! А что все так дорого?
- Дешевле хочешь? - спросил какой-то узколобый торгаш. - Иди в свой магазин.

- А где он - мой?

- А вот там церквушка, видишь? Поверни налево и там - «Спасибо Гитлеру».

- Чего? - Фронтовик нахмурился. - Кому спасибо?

- Магазин для ветеранов. Ты че, не здешний?

- Он что - так называется?

- Ну, да, «Спасибо Гитлеру».

Стародубцев сплюнул.

- А кто там за прилавком? Ева Браун?

- Да хрен ее знает... - Узколобый торгаш взял окровавленный большой топор для разделки мяса. - А че ты как-то весь позеленел? Тошнехонько? Ну, дуй скорее, похмелись.

Мрачно глядя под ноги, Стародубцев прошел мимо церкви, лопухи поломал, сокращая дорогу. Остановившись, оглядел издали небольшой магазин с яркими аршинными буквами «ВETERАН». И вдруг захотелось ему еще у кого-нибудь уточнить народное название этой лавки.

Навстречу двигалась женщина с хозяйственными сумками. Подошла поближе. И Стародубцев спросил наигранно будничным тоном:

- Там этот... Гитлер-то... не открылся еще?

Женщина сумки опустила на траву. Пот вытерла с лица.

- Так он сегодня выходной, - сказала обыденно.

- Ну-ну... - шагая своей дорогой, пробормотал Степан Солдатеич. - Значит, все-таки живой. Значит, все-таки сбылись надежды Гитлера: славянам только водка и табак и через полвека от них не останется ни ху-ху! И великая наша держава станет пылью на дорогах истории. Да?

5

Золоченый купол с крестом наверху напоминал прообраз державы - Бог и Царь в невидимых руках держали этот старинный символ могучей власти. Так померещилось Степану Солдатеичу, когда он свернул в переулок и увидел какую-то колокольню над Великим Новгородом.

Огромная «держава», полыхающая от восходящего солнца, кажется, каплю за каплей сочила позолоту на брусчатку. И вороны, слетающие с колокольни, должно быть, на землю садились не зря - клевали золотистое зерно, упавшее с прообраза державы, которая с каждой минутой начинала смеркаться, мрачнеть; со стороны Волхова наплывала грозная туча, разворачиваясь голубовато-черным фронтом.

Степан Солдатеич остановился, глядя на этот мифический «прообраз державы». И точно так же, как листва на дереве, в нем зароптали вразнобой и горячо всполошились - думы, чувства, чаянья...

Что думал он? Что чувствовал? Словами это сложно передать. Горело под рубахой изношенное сердце, так горело - как только дым еще не валил из-за пазухи...

И вчера, и сегодня - бог знает, сколько времени уже! - Стародубцев жил с противным чувством человека, поставленного на колени. Будто плюнули в тебя, а ты не вытерся, потому что руки мертво связаны - вот еще какое было чувство у Степана Солдатеича.

Любая держава держалась и держится на людях, именуемых государственными. Эти люди радуют не только о собственном благе. Они в сердцах и душах

всегда несут обостренное, жаркое чувство родной земли, родного языка, родной истории. С неподдельными слезами, с невероятной болью, которую можно назвать внутренним «духовным кровотечением», государственные люди переживают драмы и трагедии своего Отечества. Переживают куда сильнее, чем свои личные беды, потому что личное можно превозмочь, если Отечество идет прямой и чистою дорогой, а уж когда оно заходит в темный грязный лес - тогда тебе и личная радость не дает ни свету, ни тепла; ничего не мило.

Вот так он был устроен - Солдатеич.

Много, много лет подряд он с пониманием относился к той ситуации, в которой находилась держава-победительница. Ситуация была не веселенькая, мягко говоря. Да и то! Ребенку ясно: обескровлена страна войной. Подкопит силы, встанет крепко на ноги и тогда наладится житье-бытье. Ни сегодня, так завтра наладится. Обязательно. Но проходит день за днем, и год за годом. И что же мы видим? Где оно, «светлое будущее»? Темное настоящее - вот оно! Тот, кто был войною разгромлен в пыль и пепел - тот год от года жиреет и усмехается над победителем. Как же так? Тут впору бы засомневаться в устройстве советской государственной машины: что-то здесь не в порядке, заржавело что-то, червь какой-то сердцевину государства точит? Или как это понять? Куда, куда уходят усилия миллионов рук и усилия духа миллионов советских людей? В какую такую бездонную бочку? В какие такие закрома великой нашей Родины? И у кого, интересно, ключ от этих пресловутых закромов? А ну-ка, господа хорошие, товарищи пригожие, откройте закрома - Степан пойдет, проверит, как вы там распорядитесь богатствами российского - вчерашнего советского - народа?

Только в том-то и штука, что никогда он даже и не думал этим заниматься - даже мысли никогда не допускал. Он был из категории людей очень цельных, мужественных, и вместе с тем наивных, обманутых и нагло обворованных властью, но не допускающих до себя даже мысли такой. Да разве могут обмануть и обокрасть ОНИ, сидящие на самой верхотуре, чуть ли не рядом с Господом Богом и вместе с ним как бы заведующие земною долей - совестью, счастьем, правдой. Нет, конечно же, не могут ОНИ. Просто не могут и все. Нищета, несправедливость русской жизни представлялись ему временными и случайными. И Стародубцев старался не подпускать к себе худые мысли. Крепился и работал, работал и крепился, понимая, что далеко не все зависит в жизни нашей от правительства - на Бога надейся, да сам не плошай. Но сколько ни работал он, русский мужик, - вместе с другими мужиками, не гнушавшимися никакой черновой пахоты, - а все почему-то никак не выходил из лодырей, из пьяниц. Нет, нет и опять говорили ему - не ленись, мол, не пей и тогда все у тебя, русака, будет, как у людей...

И вот теперь он задумался - глубоко задумался, но все равно чего-то самого главного все еще не мог объять рассудком. Как же так получается, милые? Неужели правда то, что доверчивость, миролюбивость, гостеприимство и широкая славянская натура - одним словом, все то хорошее, что было посеяно Богом в душе России-матушки - теперь все это становится нашей слабостью, нашей печалью, такой чертою нашего характера, которая грозит обернуться не просто бедой, но даже измельчанием народа и гибелью нации? Неужели? Так что же выходит? Меняться надо? Перестраиваться? Надо изгонять из души нашу доверчивость, наше долготерпение, уживчивость с другими народами и религиями? Так, что ли, надо? И если русский человек широк - ну, так давайте, наконец-то, мы его сузим. И пускай идут к нам узкими воротами, а не так как сейчас - и душа и ворота всегда и везде нараспашку...

Глава девятая

1

Можно было бы, конечно, дозвониться до района - глава прислал бы персональную машину. Тут никаких сомнений быть не могло. Но характер Стародубцева был такой, что лишний раз напрягать кого-то из-за своей персоны не хотелось. Это, во-первых. А во-вторых, он уже догадывался, что его ждет впереди по случаю геройства - всевозможные митинги, речи, поздравления, цветы, ковровые дорожки, духовые оркестры и прочая, и прочая бодяга, которую Степан Солдатеевич не переваривал.

Короче говоря, до поворота на Миролюбиху он добрался на попутке, сидя в пыльном кузове на ветерке; в кабину забираться не захотел - клаустрофобия.

Шофер был незнакомый, молодой - избавил от расспросов, только сказал напоследок:

- Я бы довез, но там ждут...

- Ничего, прогуляюсь. Мне, сынок, привычно. Я половину Европы вот в этих скороходах прошагал.

- Именно в этих? - не поверил шофер.

- Да. Не вру. Я их берю.

Парень засмеялся, все еще не веря в «скороходы».

- Ну, счастливо тогда! С наступающим праздником вас!

- Ага, - пробормотал Стародубцев. - С наступающим на горло...

Дальше предстоял ему пеший марш-бросок, и это, как ни странно, его обрадовало: посреди природной тишины становилось спокойней.

Полдневное солнце палило не по-весеннему яро. Прогретый воздух, отрываясь от земли, чуть слышно позванивал и шевелился, обретая причудливые очертания. Свежо, смолисто пахли у обочин оперившиеся деревья. Молодая трава, поддаваясь ласковому ветру, гнула широкую спину и словно сбегала с откоса, меняя цвета и оттенки. Но затем эта природная картина резко вдруг переменялась.

Раздался приглушенный рев, и под ноги скользнуло легкое дрожание земли.

Стародубцев мигом помрачнел. Насторожился.

Где-то за березами в полях упирались тракторы - выволакивая борозды к реке и обратно.

Машинально пригибаясь, Степан Солдатеевич прижался к ближайшим березам. Осторожно выглянул из-за укрытия. Поцарапал ухо, посеченное шрапнелью.

«Танковый» гул впереди нарастал, сотрясая не только землю - сердце и душу старого солдата.

И вместо этих полей Стародубцев увидел другие - кошмарные.

2

Перед глазами встала Украина, красная от крови и огня. Это был Корсунь-Шевченковский котел, в котором заживо сварилась чертова уйма народу: армейские корпуса; пехотные дивизии; танковая дивизия СС «Викинг»; мотобригада СС «Валония». Кроме того, в котле сварились отдельные части; полки: три дивизиона штурмовых орудий; отдельный кавалерийский полк; тяжелые артиллерийские дивизионы ракетных комплексов; части боевого и тылового обеспечения. Да много, много там «сварилось»! Всего не перечить!

Для того чтобы выручить окруженных людей и орудия, немцы начали сжимать свой танковый кулак. В районе Новомиргорода, в частности, сосредото-

точены были четыре танковых дивизии Восьмой немецкой армии. Генералы Гитлера были полны надежд - при помощи усиленных ударов танковых дивизий «взорвать котел» и выйти из окружения. Манштейн, имея печальный опыт «выручки» окруженной армии Паулюса под Сталинградом, на этот раз хотел сверкнуть талантом полководца. Манштейн отлично помнил, что в Сталинградской операции армейская группа «Гот», сформированная им и отправленная на выручку Паулюса, «благополучно» была уничтожена Красной армией. Так что теперь он решил создать еще более мощную танковую группировку в составе восьми танковых и шести пехотных дивизий, тогда как под Сталинградом в армейской группе «Гот» было всего четыре танковые дивизии, одна моторизованная и девять пехотных...

Все эти выкладки, цифры и факты оказались в руках Стародубцева гораздо позже - после войны. А тогда, когда он был внутри событий - это был какой-то кромешный ад, в который Степан Солдатеви́ч въехал на танке одним человеком, а выехал - совершенно другим.

Потом, вспоминая тот страшный котел, Стародубцев думал, что все было, конечно, гораздо проще, «скромнее» в смысле кровавых красок. Но в памяти остался тот вопиющий апофеоз, который уже никогда не забыть и ничем не смягчить. Именно этот апофеоз часто приходил к нему во сне и заставлял кричать нечеловеческим голосом. Во сне - в душе у старого солдата - огнем кипел, кровавым паром пыхал печально-знаменитый Корсунь-Шевченковский котел, в котором за кратчайший срок «сварилось» несколько десятков тысяч немцев. Причем несколько тысяч из них, гоня по полю как зайцев, раздавили танками и покروшили саблями казачьей кавалерии. Четыре часа длилось это кровавое месиво. Не размыкая зубов, сатанея с каждым поворотом рычага, ни на секунду не ослабляя ни рук, ни ног - сливаясь воедино с грохочущей громадой железа, невольно урча и порывкая, будто в груди находился разгоряченный двигатель, который начинало заклинивать от перегрева и перегрузки - Стародубцев наряду с другими угрюмо, осата-нело и остервенело утюжил зимнюю равнину. По красно-арбузному снегу, по комьям влажно-бурой грязной земли - в январе тогда стояла оттепель - заполошно метались жемчужно-серые мундиры завоевателей; некогда brave, сытые и наглые эсесовцы из бригады «Валония» и дивизии «Викинг». Бросая оружие, на ходу страдая недержанием мочи и поносом, «Валония» и «Викинг» поднимала руки перед танками, на колени падала - и уходила в мясорубку страшных гусениц, непривычно мягко и податливо скользящих по настилу живого мяса. Под горло подступал комок не то брезгливости, не то жалости. Но голова, «обутая» в тесный танковый шлем, обо что-то ударилась на крутом повороте - и всякие жалкие мысли вышибло вон. Жалеть вас? Курвы! А как жалели вы, на журавлях развешивая русских баб, стариков? Как жалели вы, насилая девок да малолеток? Хорошо вам было? А теперь - растерявшим серебро рыцарских крестов - теперь вам лучше? Да, конечно, им теперь было лучше - мертвые сраму не имут. А вот живым - куда как хуже и страшней.

В какой-то миг из груды тесных тел, как из тугих бурдюков, в смотровую щель тридцатьчетверки хлестануло фонтаном спертой крови. Лицо повлажнело и Стародубцев ощутил, как на голове зашевелился не застегнутый танковый шлем - волосы дыбом поднялись. Рвотным комом раздирало горло, грудь ломило, и в одно мгновение взмокли подмышки, затылок, но ему показалось, что это не пот - кровь стекает, вражья кровь. И ладонь, потая, поплыла по теплому железу рычага, сбивая ровный ход машины вправо - мимо орущих

«викингов», бегущих беспорядочными ордами. Стародубцев сплюнул кровь с губы - чужая кровь почудилась, немецкая. А между тем своя текла, родимая - не ощущая боли, он губы разжевал себе до сырого мяса.

Остановив железную громаду, он дал задний ход и снова ощутил, как захрустели человеческие кости, цепляясь за днище. Временами гусеницы вязли в мокром мясе и, переставая греметь, молча, но проворно буксовали, будто по глубокой густой грязи. А потом... Стародубцев не помнит, что было потом... Как перегорают пробки в электрической сети, так и в нем перегорело что-то вдруг...

Его нашли на дне багряного оврага, куда он съехал, гоня уцелевшую пехоту: по полной скорости зацепившись за обломок пушечной станины, танк разулся левым траком и заглох, завалившись на бок.

Возбужденный после долгой дикой мясорубки, а точнее, мясодавки, взорвавшийся в духоте брони, как только можно взопреть в июле, а не в январе, Стародубцев кое-как на волю выбрался. И тут его обдало страшным холодом, обледенившим не столько тело, сколько душу.

Его тридцатьчетверка была похожа на вурдалака - вся в кровавых лохмотьях, в кишках. Но больше всего поразил Стародубцева обыкновенный человеческий глаз, белесоватый какой-то, цвета плевка. Железной силой выбитый из черепа и попавший в зазор на броне - тот глаз подымливал еще остатком жизни, неотступно, жутко пялился на русского солдата и почему-то напомнил ему заснеженный Земной Шар - далекий, бегущий в пространствах студеного космоса.

В общем, он «сварился» в том «котле». В голове у него что-то повредилося - волосы три дня торчали дыбом, и началась проклятая клаустрофобия. Тесно было в танке. Душно. Как в петле. Он то и дело заполошно рвал рычаги, сбивал наводчика с прицела и постоянно требовал держать открытым верхний люк. И вскоре танк ему пришлось покинуть. Он перешел к богам войны - артиллеристам. Запрягся в пушку и попер ее, родимую, к Берлину, к Бранденбургским воротам.

3

Военные видения и воспоминания усиливались тем, что впереди - по дороге в Миролубиху - там и тут горела весенняя сухая трава. Огонь перебрасывался на березовые колки, на сосенки, а дальше - дальше мог быть пожар очень большой, если огонь перебросится на гребенку соснового бора. Вот почему Стародубцев несколько часов подряд воевал с огнем. Сначала палкой сбивал огонь с сухой травы, потом подобрал старую какую-то фуфайку тракториста - на обочине валялась. Фуфайкой орудовать было сподручней.

Под конец этой борьбы с огнем Стародубцев упарился. Не молодой уже.

Руки-ноги дрожали, когда он присел отдохнуть под березами.

Посмотрев по сторонам, он утомленно улыбнулся.

Ветер в небе очищал задымленное солнце, клонившееся к лесу - к тому самому, который неминуемо должен был сгореть, но был спасен, благодаря усилиям Степана Солдатеевича.

Собираясь покурить, он вдруг увидел три бутылки, стоящие под березами. Находясь во власти военных впечатлений, Стародубцев поначалу даже подумал, что это бутылки с зажигательной смесью. Но когда присмотрелся, то понял, что в бутылку сверху капает березовый сок. Более того - трехлитровая банка стояла поодаль, уже почти что до краев наполненная.

Он приложился к банке и напился вволю, проливая сок на грудь, на рубашку, которая слегка дымилась.

Оглушенное ухо солдата - после борьбы с огнем - понемногу стало оживать: возвращались птичьи голоса, шорохи деревьев, трепетанье трав, трескотня кузнечиков и стрекоз. Но почему-то мира не было в душе, а было только чувство перемирия. И то, что он услышал в следующий миг, не показалось ему неожиданным.

- Руки вверх! - раздался грубый голос.

Сбоку, за деревьями, чьи-то шаги зашуршали по старой листве.

Степан Солдатеевич удивился: почему эта команда прозвучала по-русски, а не по-немецки?

К нему подошел молодой косолапый крепыш из дивизии «Викинг», так почему-то показалось старому солдату. Только на башке у «викинга» была какая-то дурацкая жокейская шапочка желтого цвета, а в руках у «викинга» был незнакомый, странный автомат. (Американская модель, на которой не остаются отпечатки пальцев.)

«Викинг» был охранником - рядом находилась новая дача, где отдыхали «новые русские» и их зарубежные гости, партнеры по бизнесу. «Викинг» пошел за березовым соком, а тут - «нарушитель границы». Охранник был настроен добродушно. Он просто-напросто хотел маленько попугать нарушителя да и послать подальше от границы частных владений.

Подойдя поближе к Стародубцеву, крепыш насторожился.

- Ты откуда? Горелый такой...

- Оттуда! - хрипло сказал Степан Солдатеевич, показывая в ту сторону, где еще дым не осел от пожарища. - А ты, браток, откуда? С Волховского фронта?

- Чего? - Косолапый парень вскинул брови.

- А я тебя сначала за «викинга» принял.

- За кого?

- Ну, дивизия «Викинг». Забыл? Мы ее танками всю раздавили...

Парень, глядя на чумазое лицо фронтовика, хохотнул.

- Всех раздавили, а я уцелел! - сказал он, поправляя желтую жокейскую шапочку.

- Да? - Стародубцев вдруг сердито прищурился. - И Гитлер тоже уцелел?

- И Гитлер тоже. А ты как думал?

У Стародубцева глаза распахнулись.

- А как же Ваня Чураков? Он же вроде как нашел труп Гитлера и Евы Браун. Или нет?

Парень засмеялся, показывая две стальные фиксы на нижних передних зубах.

- Ты че буровишь, батя? Из дурдома, что ли, убежал?

Глаза на чумазом лице Стародубцева страшно сверкнули. Он вдруг понял, что это - действительно уцелевший «викинг», не раздавленный танками. Кулаки Стародубцева сами собой скрутились в пудовые гири. Шумно сопя, забывая о пистолете за пазухой, он сделал шаг навстречу заклятому врагу... Но крепыш предусмотрительно отступил и привычным, коротким движением передернул затвор.

- Есть еще вопросы?

Опуская голову, Степан Солдатеевич потер виски, потер глаза.

- Прости, сынок, - пробормотал он. - Это я недоспал.

- Да-да, это бывает, когда маленько недоспишь или маленько перепьешь. Видно, сильно вчера газанул? Признавайся.

Парень снова засмеялся. И Стародубцев начал расслабляться. В нем появилась надежда на то, что весь этот бред - от перенапряжения последних нескольких дней.

И вдруг за деревьями где-то послышалась немецкая речь. И Стародубцева как будто облили холодной водой.

- Дак ты, значит, с ними? - Он посмотрел в сторону немцев.

- А ты думал, я с тобой?

- Значит, проданся? Холуй несчастный!

- Но-но, папаша! Тихо! Патрон уже в стволе! - напомнил «викинг», поднимая автомат. - Пошли в «комендатуру», там разберемся...

И только тогда до него стало с трудом доходить, что находится он - скорее всего - в 1942 году под Новгородом, на Волховском фронте, в окружении немецкой группы армий «Север».

4

«Комендатура» оказалась трехэтажной, построенной из белого кирпича с богатыми колоннами, с хорошо обрамленными стрельчатыми окнами. Построена была со вкусом, под старину, и местечко было выбрано прекрасное - крепкий речной крутояр, с которого любоваться можно горизонтами на все четыре стороны: восходы в этот дом входили беспрепятственно, закаты широко закатывались в окна. Красота. А рядом с «комендатурой» - новая бревенчатая баня, бассейн с голубоватым кафелем.

Косолапый охранник провел Стародубцева неподалеку от бани и повернул к железному забору, над которым ни один кузнец корпел, выпекая в горниле и выгибая на наковальне замысловатые бублики да кренделя.

Банная дверь за спиной неожиданно скрипнула, и раздался чей-то изумленный голосок:

- Ой, девочки! Гляньте! Эрик шпиена поймал!

Невольно обернувшись, Степан Солдатеевич охнул: белое пышное облако из двери укатилось под крышу, а из облака появилась голая девица - длинноногая, стройная, с мокрыми черными косами, прикрывающими грудь и достающими до самого грешного места. Девица беззастенчиво стояла, до красноты распаренная и слегка дымящаяся, будто на морозе. Потом она встряхнула волосами, сняла банный листик, прилипший к толстой ляжке, и спокойно, весело «сделала ручкой» обалдевшему Стародубцеву. Расхохотавшись над его поглупевшим лицом, девица легко разбежалась и прыгнула в бассейн - взорвала воду, как динамитом! - брызги полетели вверх и в стороны, проконопатив сухую пыль возле мраморной стены бассейна.

«Тьфу ты, прости, господи! Что творится в немецкой армии!» - подумал Стародубцев, отворачиваясь и вытирая капли, попавшие на лоб.

Охранник, названный Эриком, криво ухмыльнулся, поправляя автомат на плече.

- Эй, танкист! - окликнул он. - Артист из погорелого театра! А как насчет клубнички? Ты не против?

- Какой клубнички?

- Ну, ягодка такая... с ягодицами... - Парень глазами показал в сторону бассейна и, подмигнувши, добавил непристойность.

И у Стародубцева возникло жгучее желание сделать шаг навстречу и вырвать «викинга», тем более что парень, потерявши бдительность, оказался на расстоянии вытянутой руки. Но в тот же миг что-то подсказало, что сей-

час этого делать нельзя - Стародубцев ощутил на себе чей-то пристальный нечеловечески тяжелый взгляд.

Собака смотрела. Не собака, а зверь.

Минуту назад колокольчик звякнул над дубовой дверью - на просторное крыльцо «комендатуры» важно вышел голубой неаполитанский мастифф - прямой потомок боевых собак, отличный сторож. В этом доме неаполитанец находился на особом счету: у него своя комната возле двери, свой столовый прибор и отдельное разнообразное меню, которое может позволить себе даже не всякий «двуногий».

Приподнимая огромную морду, мастифф медленно понюхал воздух, отдающий запахом гари, алкогольным дыханием Эрика и незнакомым духом Стародубцева, смело посмотревшего прямо в глаза мастиффу. Мгновенно разбирающийся в людях, неаполитанец вдруг замешкался, прищурил красно-карие глаза, еще вдохнул разок-другой и задержал дыхание, чтобы получше разобраться: кто он такой, этот странный гость, обгорелый, взъерошенный, как будто пришедший сюда с того света; мастифф уже знал, как пахнут покойники.

Двухсоткилограммовая туша кобеля, переливаясь мышцами, играя складками холеной кожи, неторопливо пошевелилась. Подойдя к Стародубцеву, мастифф улегся около него; таким вот образом - без лишних слов - охранник поручил собаке посторожить незнакомца, а сам пошел наверх, чтобы обстановку доложить.

5

А наверху в просторном помещении за круглым столом, уставленным коньяками, водкой и свеженьким баварским пивом, шел какой-то задушевный, но малопонятный разговор:

- Ich rufe dich morgen an! - говорил худосочный белобрысый Фриц Агидиус Штайнер.

- А ну, переведи, что он лопочет?

- Емельян Семенович, он говорит: «Я тебе завтра позвоню».

- Чего? А ну, скажи ему... - Емельян Семенович, слегка покачиваясь над столом, погрозил указательным пальцем. - Скажи ему, дорогой Фриц Агидиус, а знаешь ли ты, как русские говорят? На х... откладывать на завтра то, что можно выпить сегодня? Ха-ха.

- Прямо так и сказать, Семеныч?

- Да хоть прямо, хоть криво, но только чтобы все было дословно. Ха-ха.

Худосочный ариец, сидящий за столом, был аккуратно одет после бани, побрит, причесан на косо́й пробор. А Емельян Семенович - слегка обрюзгший от обилия жратвы и питья - был завернут в чистую простыню и напоминал древнего римлянина с мокрыми волосами, который только что пришел из римской бани - термы. Емельян Семенович - или проще сказать, Пустомеля - обмывал на этой даче какую-то очередную сделку с иностранцами. Давно уже собираясь освоить немецкий язык - хотя бы на уровне элементарного - Пустомеля за своими «деловыми» пьянками-гулянками так и не выкроил время пообщаться с переводчиком, полистать словарь. И теперь ему приходилось, где на пальцах объяснять, где мимикой подчеркивать ту или иную свою фразу.

- Was für Hobbys hast du? - спросил Штайнер.

Пустомеля посмотрел на переводчика.

- Ну, хватит жрать! - сердито сказал он. - Не переводи продукты - речь переводы.

Переводчик хохотнул от такого удачного каламбура.

- Он спросил, какие хобби у тебя?

- Скажи, что я сейчас покажу ему такое хобби, что у него глаза на лоб полезут. Я знаю, что он собирает ордена и медали. Так, да? Спроси. Я приготовил ему хороший подарок. Сюрприз.

Порывшись в каких-то коробках, Пустомеля разложил перед Штайнером такой «пасьянс», что у того действительно глаза на лоб полезли. На столе, на специальной бархатной подстилке, засверкали ордена не только бывшего Советского Союза, но даже награды гитлеровской Германии.

Хладнокровный Штайнер заволновался и подскочил над столом, заставляя переводчика невольно подумать: «Агидиус - это молодой козел. Не зря он скачет».

Заволновался Штайнер, когда увидел, в общем-то, невзрачный, но довольно редкий нарукавный знак «Krimtschild» - «Крым» 1942 года, который был выпущен в количестве двухсот тысяч штук.

- Латунь, - сказал Пустомеля, ногтем пощелкивая по нарукавному знаку. - Четыреста долларов. Но, как говорится, счастье не в деньгах. Такое редко встретишь, вот в чем дело. А вот это видишь, дорогой мой Фриц Агидиус, видишь? Это «Почетный крест немецкой матери». Сейчас я прочитаю. Хоть по слогам, но прочитаю. «Ehrtkreuz der deutschen Mutter». Правильно? Правильно. Эти почетные кресты... - Пустомеля обратился к переводчику. - Штайнер это прекрасно знает. Я тебя просвещаю, деревня. Слушай сюда. Эти кресты были трех классов - в бронзе, в серебре и в золоте. Они изготавливались из никеля или томпака. Этот крест, дай бог памяти, в 1938 году был учрежден по личному распоряжению Гитлера. Стоит, конечно, копейки. Двести пятьдесят, ну, триста долларов. Но у меня для Фрица есть большой сюрприз. Офицерский орден для эсэсовцев. Этот зашкалит за тысячи долларов. Я за орден Ленина так торговаться не буду, как за этот - эсэсовский. Потому что он мне дорог. Он мне, можно сказать, кровью и потом достался. Переведи, хватит жрать.

- Все это хорошо, - сказал переводчик, салфеткой вытирая сальные губы. - Но разве ты не знаешь, Емельян Семенович, что главное хобби нашего гостя - это всевозможные винтовки с оптическими прицелами?

- Винтовки? А зачем?

- Он коллекционирует винтовки. У него их дома уже штук тридцать.

Обескураженно покачав головой, Пустомеля сказал:

- Застрелиться и не встать. Ну, я подумаю на этот счет.

* * *

Эрик, поднявшийся наверх и доложивший о задержанном человеке, вдруг нарвался на гнев хозяина.

- Слушай, придурок! - зашипел Пустомеля, отводя охранника от стола. - На хрена ты его сюда притащил?

- Он залез на нашу территорию, - стал объяснять перепуганный Эрик. - Я подумал, может, вы с ним захотите разобраться...

- Мне что, делать нечего? Сейчас же убери его отсюда!

- Куда? - Охранник пошевелил плечом, на котором висел автомат. - Замотать его, что ли?

- Болван! Этого нам только не хватало. Иди, извинись и проводи за ворота. Живее. А то Штайнер скоро будет уезжать.

- Ну, как скажете, шеф! - И охранник приложил руку к своей желтой жокейской шапочке.

- Что у тебя за форма, идиот? - спросил шеф, усмехаясь.
- Кепку ветром сдуло - в реку.
- Гляди, чтоб самого не сдуло. Ну, шагай, шагай. Мне с тобою некогда любезничать.

6

Двухсоткилограммовый кобель спокойно, мрачно смотрел на Степана Солдатеевича. Глаза мастиффа - с длинными влажными веками Вия - сами собой закрывались. Тихо кругом было, сонно - кобелю спать хотелось. Встряхнув головой, чтобы сон разогнать, мастифф принюхался. Откуда-то пахло березовым соком, землей, перелопаченной под окнами, - там виднелись грядки цветника, торчала тонконогая рябинка; топорщились кусты смородины.

И снова дверь со скрипом открылась в бане.

- Шпиен! - нежным голосочком пропела девица. - Иди, спинку потри!

Чей-то прокуренный бас проговорил из банной глубины:

- Мастино потрет ему ниже спины - не на чем будет сидеть!

Девки возле бани расхохотались, вода заплескалась в бассейне. Две какие-то красногрудые птички, попискивая, полетели оттуда - маленькие, длиннохвостые и такие необычайно красные, как будто напарились в бане. Птички эти сели на железный частокол, потрещали о чем-то, с любопытством глядя на собаку, затем перепорхнули к ней и осторожно стали собирать в траве какие-то вкусные зернышки.

Вислогубый неаполитанец лениво посмотрел на пташек и благодушно, широко зевнул, показывая жуткую пасть, способную, кажется, легко перекусить решетку на ограде и с аппетитом сожрать все железные бублики. Неприятно сверкая, слюна стекловидными нитками растянулась между верхними и нижними зубами. Мастифф облизнулся и неожиданно звучно клацнул челюстями, как пудовым замком - красногрудые пташки шарахнулись и, точно красные листья, пронесли над оградой.

Неподалеку от крыльца валялся граненый железный прут - деталь, оставшаяся после постройки забора. Чтобы сграбастать эту железяку, Стародубцеву понадобилось несколько секунд - пока мастифф зевал, прикрыв глаза.

Железный прут с оттяжкой резанул по шейным позвонкам, и тяжелая башка на перебитой шее криво свихнулась, падая на землю. Жаркая пасть зарычала предсмертным рыком и переполнилась кровью, хлынувшей сквозь зубы.

В это время Эрик вышел на крыльцо.

- Ох, твою мать! - закричал он, оглядываясь. - Где ты, падла?

Ветки затрещали в темном ельнике за углом. (Степан Солдатеевич, отвлекая внимание, железный прут швырнул туда.)

Охранник метнулся за угол - и тут же свалился без памяти.

Стародубцев снял автомат с оглушенного «викинга» и, пригибаясь, прячась за кустами, стал уходить. И вдруг со стороны бани раздался выстрел - пуля просвистела над головой Степана Солдатеевича.

- Стой! - крикнули ему.

- А я стою... всегда в строю, - прошептал он, передергивая затвор.

Незнакомый автомат понравился ему в работе - стрелял почти бесшумно, без отдачи.

Короткая сухая очередь выстеклила банное окно - пар клубками повалил наружу, а внутри поднялся гам, переполох... Девки истошно визжали,

немцы ругались, голышом выскакивая из предбанника... Засверкали голые зады, разбегаясь по кустам, по ельнику...

И опять раздался выстрел - пуля в дерево вцепилась рядом с плечом Степана Солдатеевича. Перебитый сучок отскочил - больно щелкнул по уху.

- Können wir Freunde bleiben! - с перепугу закричал какой-то немец в ельнике. (Давай останемся друзьями.)

И выстрелы, и ненавистная речь оккупантов заставила Степана Солдатеевича превратиться в хищного, ловкого зверя. Он пошел на цыпочках, прячась за деревьями, и снова резанул из автомата - вторая и третья очередь вершины елок срезала над немцами...

- Сдавайтесь, суки! Вы окружены! - закричал Стародубцев, пьянея от порохового дыма.

Немцы, ополоумев от страха, затихли в темном ельнике за баней. Девушка вдруг завывала и на карачках проворно поползла по кустам.

И вдруг зазвенело стекло на третьем этаже «комендатуры» - осколки на землю посыпались.

Воронено сверкая на солнце, в окне замаячил автоматный ствол, и Стародубцев едва успел отшатнуться, на долю секунды опередив нажатие курка, - длинная очередь расковыряла землю под ногами Степана Солдатеевича. Огромное старое дерево, за которым он спрятался, глухо затряслось, принимая в себе смертоносный горох... Сверху посыпались ветки, в нескольких местах перекушенные пулями...

Запахло войной, настоящей войной, и Стародубцев, довольный, отчаянно и зло сверкнул глазами. Наконец-то враг дал себя знать. Наконец-то наступила определенность и не нужно больше улыбаться тем, кому охота плюнуть в бесстыжие глаза.

Глава десятая

1

За рекою, за темными соснами пряталось солнце, разбрызгав прохладную кровь на луга и поляны, сверкающие росой.

Выйдя из лесу, он постоял на берегу ручья и выбросил трофейный автомат - все равно патроны уже кончились. Из-под куста, куда с треском упало оружие, взметнулся какой-то зверек - мерцая глазами, посмотрел на человека и задал стрекоча в темный лес.

Разглядывая руки, испачканные кровью, Степан Солдатеевич плюнул на них, ладонями пошаркал, а потом со вздохом опустился на корточки возле ручья.

«Ну, что поделаешь? - подумал, отмывая кровь. - На войне как на войне. Тут уж - кто кого. Я этих «викингов» не трогал, сами нарвались».

Он ощущал свою правоту и, тем не менее, на сердце было беспокойно, тревожно.

Оглянувшись на темную стену соснового бора, где уже спряталось солнце, Стародубцев пошел по тихим, синим сумеркам в ту сторону, где вспыхивали в сельских избах огоньки.

Впереди был пустырь, изрядно захламленный в последнее время. А за пустырем - большою наклоненной березой - смутно белела колокольня, стоявшая на пригорке. Там, на берегу реки, до войны была церковь, и там же, неподалеку, находилось кладбище.

Ворота, впуская гостя, сиротливо скрипнули.

2

Когда бы Степан Солдатеич не был так взволновал и взбудоражен, то заметил бы, наверняка - недавно кто-то побывал на Долиной могилке; свежие весенние цветы лежали; птицами расклеванная хлебная корка, по которой ползал муравей.

Стародубцев этого не заметил.

Зато увидел он загадочную птицу, вспорхнувшую откуда-то из-под креста и севшую на кустик, находящийся рядом. Птица сидела, замерев, настороженно следила за человеком. И до того она близко сидела, что сделалось видно, как в момент моргания светлой пленочкой затягивало ее крохотный глаз, а под грудью дрожали перышки - в такт заполошно бьющемуся сердцу. И коготки, обхватившие ветку, подрагивали. И Стародубцеву до боли стало жалко эту птаху - в нее, может быть, обернулась чья-нибудь умершая душа.

«Может быть, это Доля?» - подумал он, присматриваясь.

Птичка приветливо пискнула и неожиданно подлетела к нему, словно что-то силилась и не могла сказать. Он обомлел: интонация птичьего голоса была очень похожа на интонацию голоса его жены-покойницы. И пестренький птичий наряд вдруг показался Степану Солдатеичу тем самым нарядом, в каком он схоронил жену.

«Как странно, Доля! Здравствуй! - в мыслях обратился он к пичуге. - Что-то раньше я тебя не замечал. Знаю, знаю, Доля. Раньше ты не хотела меня беспокоить, а теперь в самый раз: наградили-то мертвого. Я же к тебе с наградой пришел... Прорвался через немцев... Через «викингов»... Да никого я, Доля, трогать не хотел. Это они меня убить хотели, а я прикрывлся «викингом», как живым щитом, вот они его и застрелили - вместо меня. А что ж ты хочешь, Доля? Идет война народная, священная война... Ты слышала, Доля, что этот придурок мне сказал в Москве? Немец, говорит, Боду какой-то, написал нашу песню о священной войне. Совсем уже рехнулись! Болтают, что ни попадя!»

Разговаривая с женой - то мысленно, то вслух - Степан Солдатеич подергал с могилки дурную траву и наткнулся на маленькое, аккуратное гнездышко, свитое возле основания креста. Птица-Доля жила здесь, прикрывши домик свой стебельками шероховатого мятлика.

Во время тушения лесного пожара ладони Стародубцева были обожжены - волдыри кое-где вздулись рыбьими пузырями, а потом волдыри полопались от автомата, который он судорожно сжимал. Сначала боль не ощущалась вообще - в горячке боя, - а теперь Степан Солдатеич обратил внимание: руки саднили, когда обихаживал могильный холмик.

- Это ерунда, - прошептал он, обращаясь к темной глубине. - Душа саднит. Устала. Изболелась. Нету ей приюта на Земле.

3

Природа, среди которой человек рождается, ложится в основание его характера. Становой хребет Степана Солдатеича Стародубцева сформировался под влиянием Уральского хребта: вот откуда в нем была несокрушимая твердость, высота и спокойствие духа - в нем всегда присутствовали горы, головами достающие до звезд, а подошвами своими прочно стоящие в земных глубинах.

Глядя на могильные холмики - миниатюрные горы - он поневоле вспомнил родной Урал.

«Домой, домой душа засобиралась! - подумал с грустью. - Хотя какой там дом? Все тут осталось, Доля. Куда мне ехать?»

Новгородчину Степан Солдатеевич освоил после войны: воды курорта Старая Русса, целебные грязи, из которых сразу можно в князи - так хорошо напичканы они сероводородом, минеральными солями и прочим добром - все это очень кстати пришлось его больным суставам, прострелянному желудку и нервам, измотанным в боях. Но главное, конечно, не курорт. Медсестричка жила в Старой Руссе, вот в чем секрет. Случайным, но счастливым промельком судьба свела их на переправе - уже в Германии.

- Как зовут глазастеньких таких? - спросил он в мертвой тишине между разрывами. - Доля? А где, в каком поле живет наша Доля?

- В Старой Руссе.

- Такая молодая - и в Старой Руссе? - Он разговорился так, что сам себе удивлялся потом. - Значит, русская Доля? Отлично звучит. А если не убьют, пойдешь за меня замуж, а, глазастенькая?

- Пойду! - пообещала медсестра, еще не полюбив его, но, не желая солдатской смерти; натерпелась она их, смертей, не дай бог, сколько много.

Так Стародубцев посватался к ней «у фонтана» - немцы яростно долбили переправу самолетами и батареей: снаряды «по воду ходили» то под самый берег, то шумно рвали реку в трех метрах от понтонного моста - брызги доставались им обоим, и эта мелочь, водяная пыль, каким-то странным образом будто бы связывала их священными узами.

До войны он долго не хотел жениться, все думал, что еще в парнях не нагулялся, а после войны и подавно - «нищету плодить» не собирался. Но русская Долюшка-Доля все карты ему перепутала. Глазищи свои выкатила - крупнокалиберные! - и наповал сразила бравого солдата.

4

Тревога в душе нарастала, потому что русская земля там и тут продолжала гореть - весенние палы ходили по полям, то затихая, скатываясь куда-то в низины и овраги, то выходя на пригорки, вставая в полный рост и пожирая березовые колки на своем пути, сосновые боры и даже села и деревеньки в дальнем далеке. В предвечерних сумерках эти пожарища снова Стародубцеву казались военными, а грохотавший заоблачный гром представлялся дальнобойными пушками, прорывавшими Северо-Западный фронт.

Замирая за кустами, за деревьями, то и дело оглядываясь, Степан Солдатеевич добрался до белой кривой колокольни - той самой «Пизанской башни», которую никто уже не хотел восстанавливать, потому что грунтовые воды в этих местах поднялись довольно высоко.

Стрижи и ласточки давно облюбовали «Пизанскую башню». Глядя вверх, на каменную голову, увенчанную первыми созвездьями, Степан Солдатеевич погладил колокольню, похлопал по серому шербату боку, и вдруг увидел птицу - стрижа, или, может быть, ласточку - испуганно взметнувшуюся в небо.

Сиротливый щебет в небесах над колокольней показался тихой молитвой в темном, запустелом храме. Двигаясь на ощупь - он тут бывал уже неоднократно - Стародубцев добрался до своего тайника. Достал свечной огарок, запалил и осторожно поставил в каменный «подсвечник», находящийся возле иконы Георгия Победоносца - только ту икону почти что не заметно на стене; кто-то ее замуровал во время войны, чтобы не досталась басурманам, а теперь - по прошествии лет - замуровка откололась в нескольких местах, осыпалась, и Георгий Победоносец грозно выглядывал из-под укрытия.

По темным ступеням - сам не зная зачем - Степан Солдатеевич поднялся на колокольню. Там было прохладно, ветрено. Какие-то птицы, пописки-

вая, брызнули в темень. Камешек, сорвавшийся со старинной кладки, мягко шлепнулся в травяную дурнину, уже успевшую обступить основание колокольни.

Он тут бывал, хотя и редко - любил постоять «рядом с небом, рядом с богом». И поэтому он знал, что отсюда можно увидеть свой дом. Однако, теперь - как ни старался Степан Солдатеевич сориентироваться на местности - не мог найти свою избу.

- Да что такое? - Он растерялся. - Вот огород. Вон дерево. А где же мой дом, моя крепость?»

И тут он содрогнулся - на мгновенье даже стало жарко на прохладном ветерке.

Дело в том, что он искал свой темный дом, в там - мать моя, Родина! - там во всех окнах свет горел. Это показалось настолько невероятным, что Стародубцев глазам не поверил. Отвернувшись, он протер глаза, а когда снова посмотрел - окна были погашены.

«Померещилось!» - подумал он, спускаясь на землю.

5

Свет в окошках дома не померещился. Там был Николай Чирихин.

Московский доктор правильно сказал: капитан Чирихин из военного госпиталя уехал на родину. А поскольку Чирихин в последнем бою был изуродован до неузнаваемости - лица на лице не осталось! - он стеснялся теперь в таком виде на людях показываться.

Остановившись у новгородского друга, Чирихин позвонил какому-то высокому здешнему начальству, которое знало уже о приезде капитана; потом они встретились и Чирихин, подписав кое-какие бумаги, стал командиром здешнего ОМОНа.

Друг дал капитану машину - доверенность выписал - и Чирихин ближе к вечеру поехал в Миролюбиху. Ключ Николик нашел там же, где его по наивной деревенской привычке прятали и пять и десять лет назад.

В доме было неуютно, пусто, холодно, как всегда бывает после смерти хлопотливой, душевной хозяйки. Николик печку протопил. Чаю вскипятил. Потом посидел на крыльце, покурил, думая заночевать здесь, дожидаться отчима.

Но что-то все время его беспокоило.

Беспокойство это было связано с его любимой девушкой.

Чирихин понимал, что он теперь с такой завидной рожей совсем не подходит на роль жениха. (Шагая мимо зеркала, он старался не смотреть на себя.) А между тем эти счастливые роли - жениха и невесты - еще недавно были вписаны в житейский сценарий Чирихина и его любимой девушки. Мало того, даже золотые обручальные кольца были уже куплены.

Чирихин - человек двухметрового роста - сутулясь, ходил по комнатам, головой то там, то здесь едва не разбивая лампочки. Постоял возле окна, глядя в темень, сгушавшуюся в полях, где белела старая кривая колокольня.

«Обвенчаться хотел с Любомилой! - тоскливо подумал Чирихин, гоня обручальное колечко внутри своего боевого, непомерно огромного кулака. - Что делать? Надо ехать. Надо объясниться. Скажу, пускай она будет мне сестрой, а не женой. Все у нее образуется. Молодая, красивая. Секретаршей работает в приемной главы района. В эту приемную каждый день приходят толпы женихов. Причем богатые, а не какие-нибудь солдафоны, от которых портянками пахнет за километр!»

Раздумавшись так, капитан Чирихин спохватился и посмотрел на ладонь. Там, где только что было кольцо - как золотая восторженная буква О - там теперь оказалось нечто похожее на кривую цифру 8.

Он погнул колечко - узелком завязал.

«Ну, все! - решил. - Завязано!»

Грохоча подковками, он спустился во двор, завел машину, стоявшую возле ворот, и, боясь передумать, как можно быстрее поехал на встречу со своей Любомилой - милой любовью, теперь уже бывшей, как он считал.

6

Глухие сумерки синели над землей. Огоньки все веселей, все ярче вспыхивали в деревенских окнах. Туманы опарой вставали в темных кадлушках речного оврага. Остро запахло полынью, и в подсознании Степана Солдатеича промелькнула мысль о том, что всегда на Руси почему-то полынь перешибает все другие запахи - медовые, которые с утра пораньше призывают пчел на праздник медосбора. Но где они, эти ароматы медовые? Их нету - есть одни только бедовые, горчащие настолько, что не продохнуть.

Эти запахи во мгле все «громче» становились в то время, как звуки сельской жизни затихали - голоса людей, коней, гусей, подоенных коров, накормленных собак. Запоздалые птицы торопливо пролетали над головой - спешили к своему ночлегу. И только Стародубцев никуда не спешил.

Домой он брел медленно, как по глубокой воде. Останавливаясь, то и дело настороженно посматривал по сторонам. Прислушивался к дальнобойным орудиям первой весенней грозы, грохочущей где-то на подступах к темному бору.

Приближаясь к дому, он услышал отдаленный выстрел в пойме - охотник по уткам пальнул.

«Викинги»? - мелькнуло в голове. - Или кто там шарашится?»

Темнота сгущалась - пропадали силуэты домов, деревьев. В реке за огородами небо отпечаталось мокрой печатью. Голубовато-чернильную воду вывездило ясно, крупно - будто золотыми звездами героев.

Иногда по берегу, по деревьям, амбарам и домам как будто стреляли трасирующими очередями: из-за дальней кромки бора - на повороте к федеральной дороге - проблескивали автомобильные фары. На мгновение обливая округу парным молоком - туманец плыл по-над землей - огни убегали в кусты и овраги, белыми зайчатами прыгали в полях и пропадали, чтобы через минуту-другую снова покатиться пушистым белым колом.

Степан Солдатеич долго сидел на прохладной земле за огородами. Дышал полной грудью. Смотрел на белых зайцев, наперегонки бегущих по полям. Смотрел на небо. И никуда ему отсюда не хотелось уходить. Ни-ку-да. От добра - добра не ищут. Он как будто сердцем чувал, что больше у него не будет такой возможности - благодушно, блаженно посидеть на земле, травушку-муравушку погладить усталой рукой, вольготно посмотреть на небеса, на темную реку, словно бы усыпанную звездами героев и тихонько, ласково напевавшую на ухо нечто похожее на колыбельную песенку матери из дальнего-дальнего, светлого-светлого детства.

Продолжение следует



Юрий ЛАЗАРЕВ



Юрий Лазарев родился в 1952 году в семье военнослужащего. Закончил Курганское Высшее военно-политическое авиационное училище, Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Служил в строевых частях Военно-воздушных сил. Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» Стихи публиковал в периодической печати. Автор трех сборников. С 1985 года живет в Рубцовске, руководит городским клубом любителей поэзии «Прометей».

* * *

К нам март пришел, звеня капелью,
Под руку с юною весной
И замер трепетно под дверью:
Ну, что ты ждешь? Скорей открой!

Вдохни всей грудью эту свежесть -
Шагни отважно за порог.
Вольются в душу с неба нежность
И солнца бешеный поток.

Ушли трескучие морозы.
Проталин первых островки.
И весело шумят березы,
Предвидя теплые деньки.

Сбегает весело водица
Искристой змейкой ручейка,
И снова хочется влюбиться,
Начать все с чистого листка...

* * *

Поздний рассвет осветил камыши
И заискрился росой.
Стылый октябрь. И вокруг ни души,
Легкий туман над водою.

Замерло все в сладком утреннем сне -
Лень даже пошевелиться.
Это не лето, когда на заре
Перекликаются птицы.

В желтые, бурые больше тона
Снова округа одета.
Модница-осень во все времена
Голову кружит поэтам.

Мне хорошо оттого, что я к ней
Нынче пришел на свиданье.
Клин запоздалый летит журавлей,
Снова суля расставанье...

* * *

Надо мною ветки сосны,
А вокруг - миллионы звезд.
Где-то рядом цветные сны
Заблудились среди берез.

Еле слышно журчит ручей -
Сам с собой разговор ведет,
Не смыкает, как я, очей.
Я - сегодня, он - круглый год.

Я в палатке не лягу спать,
Пусть туман и свежо к утру.
Я хочу в эту ночь мечтать,
Пододвинувшись ближе к костру.

Пахнет мятой горячий чаек.
Струн гитарных нехитрая медь
До поры, пока вспыхнет восток,
Будет песнями душу мне греть...

* * *

Астр осенних красу,
 Георгин разноцветье
 Я тебе принесу,
 Словно память о лете.
 Наше лето с тобой
 Вдалеке затерялось, -
 За времен пеленой
 Где-то память осталась.
 Там был жаркий песок
 У стремительной речки,
 Нежный твой голосок,
 Волновалось сердечко...
 Солнце гладило нас,
 Ну а ночь освежала.
 Танцплощадка и вальс -
 Ты со мной танцевала.
 Помнишь липовый цвет,
 Тишину переулков,
 И ромашек букет,
 И ночные прогулки?
 Это лето со мной
 Навсегда остается,
 Лишь грушу я порой,
 Что оно не вернется.

* * *

В красках природы оттенков не счесть.
 Осень, ты - лучший художник.
 Все на мольберте у осени есть -
 Тучи и солнце, и дождик...

Рдеет осина последним листом,
 Утром - туманная дымка,
 И, зацепившись, в бурьяне густом
 Ниткой блестит паутинка.

Рыжик с улыбкою смотрит из мха,
 Розовой шляпкой кивая.
 Густо лежит под березой труха,
 Дятла следы выдавая.

Стылое утро и поздний рассвет,
 И перелетную стаю -
 Все это, все поскорей на мольберт!
 Слышишь, тебя заклинаю?!

Осень, прошу, ты пиши и пиши:
 Рощу, поляны, аллею...
 Я сохраню в закоулках души
 Этих картин галерею.

6*

* * *

Отзвенел последний летний день,
 Радуя людей теплом и светом.
 Осени невидимая тень
 Пролетела паутинкой где-то...

Завтра осень ступит на порог,
 Устилая золотом аллен,
 В школе первый прозвучит звонок,
 Опустеют парки и качели.

Снова вереницы журавлей
 Полетят к неведомому югу,
 Песнею прощальной своей
 Оглашая грустную округу.

А потом прохладой дохнет,
 Подтверждая лишь: ничто не вечно.
 Жизнь, как лето, тоже промелькнет.
 Как она мала и быстротечна!

И невольно шевельнется грусть
 О былом, ушедшем без возврата...
 Во дворе калины спелой куст
 Улыбнется как-то виновато...

* * *

Пришло письмо сегодня из Чикаго:
 «Ну, здравствуйте, товарищ командир!
 До дембеля с принятия присяги
 Под вашим я началом проходил».

А это из Земли Обетованной:
 «Марк Бессарабский. Помните меня?»
 А это вот пришло из Еревана
 За подписью: «Сержант Мнацакониан».

Из Питера, Славянска, из Тамбова...
 Солдаты бывшие спустя десятки лет,
 Как отзвуки Отечества былого,
 Ко мне приходят через Интернет.

Мы все служили в армии Советской -
 Одна присяга, и одна страна.
 Подумать не могли, что разлететься
 Заставят нас другие времена.

Кто где теперь. Уже по всей планете.
 Но счастлив я, когда через эфир
 Солдаты бывшие - мои большие дети,
 Мне снова пишут:

«Здравствуй, командир!»

* * *

Когда голодный прибежал домой
Я с улицы, где детство протекало,
Мне мама нарезала хлеб ржаной
И сахара на ломтик насыпала.

И я счастливый убежал опять
Во двор к друзьям - мальчишкам и девчонкам,
Где продолжали весело играть,
Как стая птиц, щебечущая громко.

На тот же самый хлеб она порой
Растительное масло наливала
И, щедро посолив, своей рукой
Мне, как награду царскую, вручала.

И точно так, другие пацаны
От мам своих с «черняшкой» возвращались.
Во всех концах истерзанной страны
Мы с ним росли и силы набирались.

И не было для нас еды вкусней,
Не баловало время нас особо.
А что сейчас? Не мыслим своих дней
Без изобилья выпечки и сдобы.

Я помню тот вкус хлеба до сих пор.
Его не знают юные, а жалко.
И каждый раз мне, как немой укор,
Засохший хлеб, что выброшен на свалку.

* * *

Позывные души слышу снова и снова.
Они рвутся наружу сквозь эфир бытия,
И ложатся в строку - к слову новое слово,
И рождается стих, новой рифмой звеня.

Позывные души, как сигнал издалека.
Он летит сквозь бураны, надежду дая.
С ним приходят стихи, и не так одиноко,
Ведь поэзия нам, как Большая земля.

Позывные души! Вы летите, летите!
Согревайте, спасайте, лечите меня.
Что не высказал я - все во мне всколыхните,
За собою все дальше и дальше маня.

А когда до конца сядут вдруг батареи,
И заветный сигнал их уже не дойдет -
Это значит, что мы, как костер, догорели,
Но остались стихи - о прошедшем отчет.

* * *

*Моей однокласснице Вере Крыловой
и всему послевоенному поколению*

Закончилась Победою война,
В смертельной схватке мы врага
разбили.
Сверкали боевые ордена -
Солдаты по домам своим спешили.

Бежали эшелоны на восток -
Скорей! Скорей! На Родину!
В Россию!
Четыре года - очень долгий срок,
Как много мы дорог исколесили!

Пел о родных краях аккордеон,
Что найден был в полусгоревшем
доме,
И слушал зачарованно вагон -
Сидели вокруг солдаты на соломе.

А в глубине, в таившем мрак углу,
Захваченная в качестве трофея,
Коляска детская стояла на полу,
От вида победителей робея.

Пришла весна, а с ней - конец войне.
Жизнь снова непременно
возродится.

Мечтал солдат о доме, о семье,
И вот теперь коляска пригодится!

И вскоре появилась детвора,
По всей стране победно закричала!
То были ты и я, твоя сестра,
И это было только лишь начало...

* * *

По всей стране: от края и до края
Гуляет осень в платье золотом,
Палитрой красок и цветов играя,
Под серым прохуdivшимся зонтом.

Бредут гуськом березовые колки,
Кусты темнеют мрачно под дождем,
Печально пригорюнились проселки,
О лете вспоминая озорном.

Все больше туч, все меньше
яркой сини,

В кустах калина пламенем горит -
Гуляет осень по моей России
И светлой грустью душу берedit.

Любуюсь ею из окна вагона
И снова с дрожью в сердце сознаю:
Все страны мира просто - вне закона,
Я эту землю больше всех люблю!



Станислав ВТОРУШИН

Станислав Вторушин родился в 1938 году в г. Новосибирске. Закончил Алтайский политехнический институт и отделение журналистики ВПШ при ЦК КПСС. Работал на Алтайском заводе агрегатов, в газетах «Алтайская правда», «Красное Знамя» (Томск), двадцать лет был собственным корреспондентом «Правды» в Тюмени, Новосибирске, Праге.

В 2009 году за роман «Литерный на Голгофу» удостоен звания лауреата премии имени Алексея Толстого (Москва). Лауреат Демидовской премии.

Член Союза писателей России.

Живет в Барнауле.



НА КУНЦЕВСКОЙ ДАЧЕ

Рассказ

День был пасмурным, с низким хмурым небом и неприятным сырým ветром. Шагая от трапа самолета к автомобилю, Жуков не чувствовал его, хотя на нем была легкая шинель и тонкие хромовые сапоги. А когда сел в салон «эмки», ему и вовсе показалось, что в Москву уже окончательно пришла весна. На асфальте блестели лужи, на тротуарах и уличных газонах не было снега. Холодный ветер он ощутил в саду кунцевской дачи Сталина - Верховный главнокомандующий приказал ему прибыть сегодня к нему.

Сталин был один, если не считать охраны и прислуги. Почти всех этих людей, ежедневно окружавших вождя, Жуков хорошо знал в лицо. Они, словно тени, перемещались за своим хозяином из кремлевской квартиры на дачу и обратно, а за долгих четыре года войны Жуков столько раз был и на квартире, и на даче у Сталина, что сейчас, навскидку, сразу бы и не сосчитал своих посещений.

Нынешний вызов к верховному не был связан с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Такими, как в сентябре сорок первого, когда немцы прорвались к окраинам Ленинграда, или в октябре того же года, когда они готовились штурмовать Москву. Война шла к своему завершению, это понимали уже все. Месяц назад войска Первого Белорусского фронта, которым командовал Жуков, форсировали Одер и, заняв плацдармы на его западном берегу, теперь стояли всего в семидесяти километрах от Берлина. Требовалось еще одно, последнее усилие, чтобы навсегда покончить и с Гитлером, и с его армией. Именно с этим, по всей вероятности, и был связан вызов командующего фронтом в Москву.

Поздоровавшись с начальником охраны, Жуков прошел к Сталину. Он сидел за столом в своем кабинете и просматривал бумаги. Молча подняв голову и кивнув на стоявшее недалеко кресло, он снова склонился к ним. Жуков сел, повернулся к Сталину, посмотрел на его согнутую фигуру и не-

ожиданно замер. За годы войны он много раз видел вождя в разных ситуациях. И улыбающегося, отпускающего добродушные остроты по поводу некоторых своих соратников, и доходящего в гневе почти до ярости, когда от одного его пронзающего взгляда у человека леденела душа, но сегодня он был совершенно другим. Жуков впервые увидел, как постарел и ссутулился Сталин. Его голова стала совершенно седой, плечи округлились и опустились, под глазами появились мешки, лицо прочертили мелкие, но заметные морщинки. Было видно, что он очень устал. Война, требовавшая от каждого нечеловеческих усилий, не щадила и вождей. Еще минуту назад Жуков не задумывался над этим, но сейчас вдруг остро осознал всю ту невероятную тяжесть, которую довелось вынести этому человеку за последние четыре года.

Сталин отложил бумаги в сторону и, подняв голову, негромко сказал:

- Давайте пройдемся немного, а то я что-то закис.

Он тяжело поднялся из-за стола, отодвинул кресло и, распрямляя плечи, потянулся. Жукову показалось, что сейчас он услышит, как закрипят суставы, но Сталин, словно угадав его тайные мысли, подозрительно посмотрел на маршала. Жуков отвернулся.

Они вышли в большой ухоженный сад, по которому было проложено несколько дорожек. В стороне от них располагались беседки, их тоже было несколько. В хорошую погоду Сталин любил сидеть в какой-нибудь из них, разбирая бумаги или читая газеты. А иногда просто думая. Он не умел отдыхать, как это делают обыкновенные люди. Его голова всегда была до предела занята государственными проблемами, на личные дела у него никогда не оставалось времени. А за годы войны он почти не виделся даже со своими детьми. И если Светлана, хоть и редко, но иногда все же во время обеда приходила в столовую и подсаживалась к нему за стол, то сына Василия он практически не видел. О старшем сыне Якове, попавшем на Западном фронте в плен к немцам через месяц после начала войны, Сталин не вспоминал.

Сейчас он, опустив голову, медленно шел по дорожке и молчал. Видимо о чем-то думал. Слышно было лишь как под его сапогами похрустывал песок. Потом остановился, посмотрел на Жукова и спросил, словно выстрелил:

- Где сейчас ваша мать?

Он любил задавать неожиданные вопросы, часто ставя этим в тупик своих собеседников. Но Жуков не удивился, спокойно ответив:

- Здесь, в Москве. Я сумел ее вывезти из-под Можайска в октябре сорок первого. Немцы бы ее не пощадили.

- А я свою мать похоронил еще перед войной, - тяжело вздохнув, сказал Сталин. Молча прошел несколько шагов и добавил: - В детстве мы жили с ней вдвоем. Отец бросил нас, когда я был совсем маленьким. После революции мать отказалась переезжать ко мне, не захотела менять Грузию на Москву. Она не понимала революционеров. Незадолго перед смертью сказала: - Лучше бы ты, Иосиф, стал священником.

Сталин снова посмотрел на Жукова и тот увидел, как озорно, по-мальчишески, блеснули его глаза. Он, очевидно, ждал, что скажет на это Жуков, но тот промолчал. Лишь отметил про себя, что глаза Сталина не изменились. Сам он сдал, а взгляд остался все таким же живым, пытливым и недоверчивым, как и раньше. Он словно ощупывал им собеседника, пытаясь разглядеть не только каждую черточку лица, но и отгадать мысли. И многие терялись от этого взгляда.

Они прошли еще несколько шагов. Дорожка была сухой, но под деревьями, особенно у ограды, лежал тонкий слой ноздреватого серого снега,

из-под кромки которого сочилась вода. В Германии снег уже сошел, в лесу и на пойменных просторах Одера зеленела трава.

- Мать у меня была швеей или, как тогда говорили, модисткой, - произнес Сталин, обрывая паузу. Он уже понял, что Жуков никак не отреагирует на его последнюю фразу о несбывшейся мечте матери. - Мы жили ее случайными заработками. Я ей мало помогал. С пятнадцати лет я стал профессиональным революционером. Все время приходилось скрываться от охраны, переезжать из одного города в другой. Трудное было время. Зато какое государство построили! Вот только жить нам не дают. - Он остановился, прислушиваясь к пению пичуги, доносившемуся с соседнего дерева, потом выпрямился и сказал: - Ничего, скоро закончим войну, получим хорошую передышку. Все беды рано или поздно забываются, в памяти остается только хорошее.

Жуков готовился совсем к другому разговору. За Одером перед ним стояла миллионная армия гитлеровцев, готовая, как раненый зверь, отбиваться до последнего вздоха. Надо было думать о том, как ее добить и что делать с немцами после победы. Месяц назад войска его фронта, продвигаясь по территории Польши, захватили недалеко от Люблина немецкий концентрационный лагерь Майданек. Начальник разведуправления, побывавший в нем на следующий день и потом рассказывавший о том, что увидел, все время делал большие паузы, то напрягая желваки, то сжимая в кулаки лежавшие на столе ладони. Затем он замолчал, достал несколько фотографий и разложил их на столе перед командующим. Жуков долго и пристально рассматривал их, но поехать в лагерь и посмотреть все собственными глазами у него не хватило духу. Настолько страшным было то, что делали с людьми гитлеровцы. Сын Сталина тоже находился в одном из фашистских концлагерей. Жуков подумал об этом, когда ему показывали фотографии, сделанные в Майданеке.

Сейчас он снова вспомнил о них. Сталин шел медленно, наклонив голову и опустив взгляд на дорожку. И Жуков осторожно, выбирая самые мягкие интонации, произнес:

- Товарищ Сталин, давно хотел узнать о вашем сыне Якове. Нет ли сведений о его судьбе?

Сталин остановился, бросил короткий, но пристальный взгляд на Жукова, потом отвернулся, и, не говоря ни слова, все так же медленно пошел дальше. В последние дни он все чаще вспоминал Якова, и в его душе возникало никогда не испытываемое ранее чувство вины. Все, что он делал со страной и людьми, казалось ему абсолютной необходимостью, иногда вынужденной, диктуемой трудными обстоятельствами. Они не зависели от него, и он не мог изменить их. Но судьба Якова могла сложиться по-другому, относись к нему иначе сам Сталин.

Он любил свою первую жену Като Сванидзе - стройную и гибкую красавицу с темными очаровательными глазами. Яков родился в Тбилиси спустя год после их свадьбы, а уже через два месяца после его рождения они были вынуждены переехать в Баку, спасаясь от ареста царской охраны. Там Като заболела тифом и умерла на его руках. Сталину казалось, что его сердце окаменело, и он больше не сможет жить. Как ни странно, но к жизни его вернула царская охранка, снова вышедшая на его след. Сталина арестовали и через несколько месяцев допросов и отсидки в тюрьме отправили в ссылку в Вологодскую губернию. Годовалый сын Яша остался у родителей Като.

Семьи не стало, осталась одна сжигающая сердце цель в жизни - революция. О сыне он почти не вспоминал, было не до него. Через несколько месяцев он сбежал из ссылки и вернулся в Баку, где жил на нелегальном положении, издавая газету «Бакинский рабочий». На квартире тестя не появился ни разу, боясь быть арестованным. Но вскоре его все же выследили, арестовали и снова отправили в Вологодскую губернию отбывать до конца определенный ссылкой срок.

Его арестовывали семь раз, четырежды отправляя в ссылку в самые отдаленные уголки России. Шесть раз он бежал, обманывая все сыскные службы. До сына ли ему было в эти годы? Последний раз он бежал из Нарыма в сентябре 1912 года, а уже в январе 1913-го его арестовали в Петербурге и отправили на пять лет в Туруханский край. Сбежать оттуда не представлялось никакой возможности. Якова он увидел только в ноябре 1920-го после того, как в Грузии пало меньшевистское правительство, и в Тбилиси вошла Красная армия. Но в это время у Сталина уже была новая жена - юная, трепетная революционерка Надя Аллилуева. Он ее тоже любил. Надя ждала ребенка, через несколько месяцев у нее родился сын Василий. Яков оказался пасынком. Но вскоре он взял его к себе, на свою дачу в Зубалово, ему нужно было, чтобы Яков закончил московскую школу.

Сталин любил эту дачу, хотя бывал на ней очень редко, живя в кремлевской квартире, которая была расположена недалеко от рабочего кабинета. Он обедал всегда только дома, обязательно приглашая за стол кого-нибудь из тех, кто в это время был у него, чтобы закончить начатый в кабинете разговор. В Зубалово он приезжал в редкие свободные минуты, выпадавшие на воскресенье, чтобы пообщаться с родственниками и детьми. Там всегда было много ребятишек из соседних дач. Сталин никогда не спрашивал, чьи это дети. Они играли, не обращая на него никакого внимания, детский смех разносился по всему саду, он украдкой посматривал на них и чувствовал, как сердце наполняется радостью. Счастливые дети - это счастливое будущее страны.

Но Яков почти никогда не принимал участия в детских играх. Он сидел где-нибудь в сторонке, кормил кур или цесарок, которых держали на даче, читал книгу или помогал садовнику. Между ним и Сталиным всегда была непреодолимая дистанция. Яков любил своего отца, тянулся к нему всем сердцем, но стеснялся раскрыть перед ним душу потому, что отец ни разу не говорил с ним по душам. Он всегда находился так высоко, что до него невозможно было дотянуться. А у отца никогда не возникало потребности опуститься на землю, на которой рос его сын.

Яков окончил школу, поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта, у отца появился третий ребенок - дочь Светлана. Но отношения отца и сына оставались прежними. А сын, между тем, вырос. Он уже был в том возрасте, когда людей посещает первая любовь. И она не просто посетила - обрушилась на него. Яков ходил, не похожий на самого себя, ни с кем не разговаривал, потом заявил:

- Я хочу жениться.

Это было там же, в Зубалово. Желание сына оказалось полной неожиданностью для всей семьи. Яков никогда не говорил, что у него есть девушка, никто даже не догадывался об этом. Сталин не любил, когда его, не предупредив и не подготовив, ставили перед фактом. Поэтому сердито спросил:

- Кто она?

Яков замялся, боясь ответить, потом тихо произнес:

- Зоя Гунина, дочка священника.

Была весна тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Главный враг строительства социализма в одной отдельно взятой стране и самый непримиримый борец с религией Троцкий находился в ссылке в Алма-Ате. Но его друзья еще заседали и в ЦК, и в Политбюро, а самая крупная в стране ленинградская партийная организация находилась под их контролем. И в это время сын Сталина решил жениться на дочке священника. Сталин почувствовал, как все его тело наливается гневом. Голова становится тяжелой, а взгляд холодным и беспощадным. В эту минуту он не мог думать о сыне, о его первой и, может быть, самой большой любви, которая могла сделать счастливой всю его жизнь. Он видел совсем другое - Яков наносил ему удар в спину. Он давал врагам повод обвинить его в двурушничестве. Партия борется с религией, а в это время ее Генеральный секретарь женит своего сына на дочери священника. Друзья Троцкого только и ждут этого. И Сталин зло и беспощадно, как он не раз бросал это в лицо своим врагам, крикнул:

- Мой сын никогда не женится на дочери священника!

После этого резко повернулся и, не оглядываясь, быстрыми шагами пошел к машине, стоявшей в ограде недалеко от ворот дачи. Он не хотел слышать ответ Якова, боялся, что не сдержится и ударит его.

Ответ пришел на следующий день и оказался совершенно неожиданным. Яков выстрелил себе в сердце, но промазал, пуля прошла навывлет, прострелив легкое. Яков остался жив, а Сталин, еще больше обозлившись, сказал жене Наде:

- Передай ему, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет, и не может быть больше ничего общего. Пусть живет, где хочет и с кем хочет.

Сейчас, медленно шагая по дорожке сада, Сталин вспоминал тот день и думал о том, как он был несправедлив по отношению к своему сыну. Якову пришлось много страдать оттого, что отец не замечал его. И попытка выстрелить в сердце была ничем иным, как стремлением прекратить эти страдания. «Как далек я был от него, - думал Сталин. - И как поздно приходит осознание этого». Но тогда он был настолько зол на Якова, что в сердцах сказал Наде:

- Даже застрелиться и то не может, как следует.

Эту фразу он вспомнит через четыре года, когда из такого же пистолета в своей спальне выстрелит себе в сердце сама Надя. Она не промахнется, посланная ей пуля попадет в цель. А Сталин подумает, что способ отомстить ему ей подсказал Яков. И он возненавидит его еще больше.

Отношения со старшим сыном начали налаживаться в тридцать пятом году, когда Яков поступил в артиллерийскую академию. Он не сказал об этом отцу, Сталин узнал о решении сына от наркома обороны. Страна готовилась к войне, и поступок Якова был более, чем достойным. Вскоре он закончил академию и остался в ней преподавателем. Ему присвоили звание старшего лейтенанта. 23 июня, на второй день после начала войны, всю академию вместе с артиллерией направили на Западный фронт. Сталин не успел проститься с сыном. Отправка была такой спешной, что Яков даже не зашел домой. Да если бы и зашел, отца там все равно не было. Положение на всей западной границе было критическим, Сталин не выходил из своего кабинета, пытаясь добиться достоверных сведений с участков боев и, в первую очередь, с Западного фронта.

Дела там шли плохо. 21 июля Берия сообщил ему о перехвате немецкой радиопередачи, в которой сообщалось о том, что Яков попал в плен. Берия

сидел на совещании за большим столом, глаза его бегали, как у испуганного зверька, Сталин заметил это. Когда совещание закончилось и все приглашенные на него стали выходить, Берия поднялся, но остался стоять около своего стула. Его бил озноб, он боялся сообщить страшную новость Сталину. Тот понял это и грубо спросил:

- Что там у тебя еще?

И тогда Берия, трясаясь и промокая носовым платком выступивший на лысине пот, почти шепотом сказал ему о радиопередаче.

- А не провокация ли это? - подняв бровь и медленно направляясь к Берии, спросил Сталин.

Ему не хотелось верить в то, что его сын попал в плен. Западный фронт был смят, потерял управление, многие его армии дрались в окружении, десятки тысяч солдат попали в плен. Но Сталин даже в страшном сне не мог предположить, что среди этих тысяч может оказаться его собственный сын. Ему показалось, что из груди вынимают сердце. Что теперь подумает о нем его армия? Как же сражаться оставшимся в живых, если руководитель государства не смог уберечь от плена даже своего сына?

Он долго молчал, опустив голову и зажав в руке потухшую трубку, потом спросил, с трудом выдавливая слова:

- Кто-нибудь еще знает об этом?

- Никто, кроме тех, кто принимал сообщение.

- Больше никто не должен знать, - твердо произнес Сталин. - Яков может еще находиться в окружении. Не исключено, что вместе со своей частью ему еще удастся вырваться. Мы не будем комментировать немецкие сообщения.

Берия ушел, а Сталин все стоял у стола, не решаясь двинуться с места. Отцовское сердце подсказывало, что Берия прав, но разум отказывался этому верить.

В сентябре, когда он обедал в своей квартире, в столовую пришла дочь и положила перед ним на стол немецкую листовку. На ней был изображен худой человек со впавшими, почерневшими щеками, одетый в солдатскую шинель без ремня и петлиц на воротнике. Достаточно было бросить мимолетный взгляд, чтобы узнать в нем Якова.

- Где ты это взяла? - спросил Сталин, подняв глаза на дочь.

- Сегодня ночью немцы сбрасывали эти листовки на Москву, - сказала Светлана. - Утром ее привез нам Василий. - Она сделала паузу и спросила: - Они его убьют?

- Не знаю, - ответил Сталин. - Он для них такой же пленный, как и все остальные.

На глазах Светланы появились слезы, втянув голову в плечи, она повернулась и неслышно, как тень, вышла из столовой. Что он мог сказать ей? Сталин знал только одно - Яков держался в плену достойно. Он не предал Родину, не стал сотрудничать с врагом. Ему, конечно, нечеловечески тяжело. Может быть его пытаются, стараясь склонить к измене. Может быть мoryт голодом. Сталин смотрел на листовку, на худое, изможденное лицо сына и жалел о том, что слишком мало дал ему своей любви, когда тот был рядом. Воспоминание об этой любви могло бы придавать силы и согревать его в холодном немецком бараке.

Сейчас он шел рядом с Жуковым, думая об этом. Потом сказал, не поднимая головы:

- Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты. По наведенным справкам, держат они его изолированно от других военнопленных и

агитируют за измену Родине. - Он остановился, посмотрел на Жукова и твердо добавил: - Но Яков предпочтет любую смерть измене Родине.

Лицо Сталина побледнело, он поднял руку, пытаясь изобразить какой-то жест, но безвольно опустил ее и с горечью сказал:

- Какая тяжелая война. Сколько она унесла жизней наших людей. Видимо у нас мало останется семей, у которых не погибли близкие...

В конце сорок третьего года, когда наши войска, выиграв Курскую битву, беспощадно громили гитлеровцев на Украине, Берия сообщил ему, что немцы через Красный Крест обратились к Сталину с просьбой обменять Якова на фельдмаршала Паулюса. Сталин не знал, было ли это их действительным желанием или они хотели только поднять пропагандистскую шумиху по поводу обмена, но в голове сразу возникла мысль: «Как же так? В немецких лагерях томятся более двух миллионов наших пленных, сотни тысяч немцев находятся в наших лагерях, а они предлагают обменять одного старшего лейтенанта на фельдмаршала? Выходит, все остальные пленные ничего не значат?» Он понимал, что, по всей видимости, подписывает смертный приговор своему сыну, но резко бросил:

- Я солдата на фельдмаршала не меняю.

Берия понял, что возвращаться еще раз к этому разговору не имеет смысла. Сейчас Сталин думал, стоит ли сообщать о том разговоре Жукову. И, решив, что не стоит, сказал:

- Что-то стало холодно. - Он поежился, передернув плечи. - Пойдемте домой. Попьем чаю, а заодно и поговорим о Берлинской операции.

И пока они медленно шли к крыльцу дачи, Сталин думал о том, что верховная власть и семейное счастье несовместимы. Власть, если ею пользуются не для устройства личного благополучия, а для блага государства - это абсолютное одиночество. Те мерки, с которыми подходят к обычным людям, для верховного правителя неприменимы. Готовы ли на такое одиночество те, кто окружает его? У него не было ответа на этот вопрос...



Антон РОДИОНОВ



Антон Родионов родился в 1983 году в г. Барнауле. Окончил педагогический факультет БГПУ по специальности «педагог-психолог». Работает преподавателем в Алтайской государственной педагогической академии.

В журнале «Алтай» публикуется впервые.

ДАНЬ

1

Смяли, как пластилин, ударом
Танковую броню,
Жизнь забрали совсем задаром,
Глянув в зубы коню.
Зря они считают подарком
Тлеющий экипаж,
Нет, der Jungens, и «Тигру» жарко,
С русским все - баш на баш.

2

На чужой земле твоя нога
Потоптала травы и цветы,
А теперь в остатке сапога -
Что секундой раньше звалось «ты».

3

Солдата вдавливают в траншею
Гусеницы черной «Пантеры»,
А он повесил себе на шею
Связку гранат.
Танки горят,
Будто сделаны из фанеры.

DACHAU

- Какого цвета душа?
- Серого. Почему?
- Пепел, золу смешай
С небом в печном дыму.

* * *

Море мерится силой с луною
И целует песок, проиграв.
Мы с тобою ночью порою
Видим отблески этих забав.
Берег вылизан. Словно собака
Чашку с кормом под утро нашла.
Отпечатки небесного знака
Опорочили наши тела.
Лунный профиль

на гибкую спину

И анфас на прекрасную грудь.
Я тебя никогда не покину,
Но и ты обо мне не забудь.

* * *

Что-то плавится, что-то сплетается.
Мы с тобой - словно холод и лед.
Кто-то в близких своих
сомневается,
Я, наверное, наоборот.
Прочитал у Платона об эйдосах,
Соловьева под вечер листал,
И с тобой я сейчас на одних весах,
Половинкой твоею я стал.
Пусть осыплется небо, как тополь, и
Все пойдут неизвестно куда,
Пусть бы век эти олухи топали.
Лишь бы мерзла в верховьях вода.

ВМЕСТО ЛАСКИ

*«Я увижу волны, блеск зари,
Рыб морских чуть дышащие жабры».*

Константин Бальмонт

Ты как пьяная вышла на палубу,
Улыбнулась созвездьям во тьме
И негромкую, едкую жалобу
Отослала с Бореем ко мне.

Ты шепнула: «Любимый, печально,
Что тебе оставаться с другой.
Уплыла, и вернуть меня, жаль, но
Ты не сможешь уже, дорогой.

Я оставила наши размолвки
Дотлевать вместо страсти огня,
Расскажи этой наглой воровке,
Как любил и как любишь меня!»

Этот тихий и плачущий ветер
Долетел до меня, наконец,
Шелест штор ему мягко ответил,
Что повесился этот подлец.

МУЗА

О, Непостоянная, ну где ж ты?
Опьянен тобой не только я,
Ревности гремучая змея
Все шипит о тщетности надежды.
Может, я бессильный и никчемный,
И она приходит не ко всем.
Я не сплю и очень мало ем,
Измощен, как вечный заключенный,
А спасенья нет, ну, как обидно!
Жалкий раб разлуки и любви!
Приползу, ты только позови,
Жду тебя и не дождусь, как видно.

ЗНОЙ

Температура плавления серебра
И потери структуры - около тысячи.
Не ты создана из Адамова ребра,
И не ты на камнях Египта высечена.
И я не Адам и даже не первый, но
Мне кажется, мы после
плавления станем
Чем-то важным, единым,
чему суждено
Выдержать даже удар закаленной
стали.

* * *

Воин диких мест, ты отравлен был
Жаждой почестей и вина.
Белый плен-туман над полями плыл,
Поглощала все пелена.

Конь упал, хрипя, со стрелой в груди,
Повалил с собой седока.
То, что было сном, не сбылось, поди,
Смыла прошлое смерть-река.

Ты лежал в крови, расколов главу,
А наездник был - хоть куда.
Ты б не пил вина да не ел халву -
До сих пор бы брал города.

Все гремел в ушах дикой стали звон,
Слов любимой ты не слышал.
И теперь ее уведет в полон
Тот, с которым ты воевал.

Ты теперь гниешь на земле сырой,
Вместо почестей - слизь червей,
И знакомый голос: «Постой, постой!
Не губи меня, пожалей!»

ОТМЩЕНИЕ

Топора удар развалил крестец,
Мерно пляшут стяги твоих полков,
Разве это битва, когда овец
Разрывают в клочья клыки волков?
Не подумай, варвар, что так всегда
Продолжаться будет до полной тьмы!

Те, кого ты рубишь, сейчас - стада,
Но когда-то «я» превратится в «мы».
Вас раздавит сила, которой ты
И представить ночью во сне не мог,
Так развеют ночь, полыхнув, костры,
И вонзится в глотку твою клинок.

* * *

Плен гораздо лучше расставанья.
Властвуй надо мной, моя любовь,
Шаг до злости - тоже расстояние.
Слышу я: «Ты мне не прекословь!»
Просишь ты иль снова повеленье?
Разобрать и взвесить не хочу,
Я пишу тебе стихотворенье,
Только лишь поэтому молчу.

* * *

Н.С. Гумилеву

Далеко-далеко, где огненный мечется бык,
Где эхо от слова плывет над песками Сахары,
Где девушка перстень роняет в чудесный родник,
Где песни зурны, а не звуки фальшивой гитары,

Где юный колдун, оправляя пурпурный хитон,
Царице бросает рубины любовных признаний,
Где смерти желает всезнающий спящий Дракон,
Где Гондла рыдает, томясь от любовных терзаний.

В тот мир вы шагнули, оставив стихи на столе.
Туда вы ушли, улыбнувшись расстрельному взводу,
Там солнце сияет, вас ждали на этой земле -
На озере Чад вы глядите на синюю воду.



Светлана КОСТИНА



Костина Светлана родилась в 1982 году в с. Майма. В 2006 году окончила филологический факультет Горно-Алтайского государственного университета. С детских лет увлекалась литературой, печаталась в региональных СМИ и сборниках. Работает журналистом в районной газете.

РАССКАЗЫ

ДВЕ ПЛАНЕТЫ

Обычная девушка просто сказала бы, что любит дождь, но Лара говорила: «Нет такого дождя, в который мне не хотелось бы все бросить и пойти гулять...» - «Но ведь так льет, ты точно этого хочешь?» - спрашивал Саша. «Точно, точно, так же точно, как то, что в каждом доме есть окно». В ответ, Саша неуверенно тянулся за зонтиком. «Брось, зонтик это нецелесообразно, ведь мы идем мокнуть». Тогда зонтик оставался дома.

- Простудимся... - предполагал Саша.

- Простуды не бывает...

- Что?

- А то! Посмотри лучше туда, во-о-н туда, - рука Лары в желтом рукаве на миг вытянулась и застыла.

- А что там?

- Посмотри же повнимательней!

Саша был внимателен, но видел только мокрую дорогу, убегающую в осеннюю березовую рощу.

- Ну? - требовательно вопрошала Лара.

- Вижу асфальт и березняк... - зная Лару, Саша понимал, что его ответ, должно быть, не верен.

- Асфальт? - она озадаченно смотрела под ноги. - Нет, асфальт это слишком заурядно, даже если он облагорожен такими лужами... - и в дождь, который беспощадно клевал ее лицо, а носик от холода становился розовым, она казалась ему неотразимой.

- Мы же не дальнбойщики, Саша! - продолжала Лара, - Мы же странники! А это путь! А там никакой не березняк, там сад, апельсиновый сад!

Видишь, он желтый? - она таинственно улыбнулась. - Это апельсины. Пойдем туда!

«Боже!» - думал Саша. Его ботинки насквозь промокли, но он чувствовал себя счастливым.

Деревья окружили их. Старые березы стояли криво, словно хмельные, и роняли большие ледяные капли. Мокрые ветви норовили поцарапать лицо. Лара замерзла. Он держал ее за руку и чувствовал легкую дрожь.

- Ты прав, это березняк, - сказала она с такой разочарованностью, словно действительно никогда не была в этой роще. - Сплошь одни березы и ни одного апельсина. Знаешь, а пойдем домой, купим фруктов и устроим пир!

* * *

Ночью у Саши поднялась температура. Лара была заботлива. Она вытряхнула шкатулку с пуговицами, открытками, завалившимися леденцами и обрывками каких-то фотографий. В этом хламе нашелся непочатый стандарт аспирина, который должен был спасти Сашу от жара.

- А ты говорила, что простуды не бывает, - вспомнил он.

Лара уже несла ему чай и мед.

- Не бывает. Просто у человеческого организма иногда возникает потребность в градуснике, таблетке, теплом чае в постель и поцелуе.

Она протянула Саше чай и чмокнула его в лоб.

- Какой ты горяченький! Ты словно солнце! - Лара шумно сбросила шлепанцы и легла рядом. Ее взгляд стал задумчивым и грустным. - Да, ты солнце, а все вместе мы - солнечная система.

- Кто это «мы»? - спросил Саша, а сам подумал: «О нет, только не надо про Иру».

- Мы - это ты, я и твоя жена Ира, - сказала она. Саша захлебнулся чаем и закашлял, но Лара сейчас не обращала на это внимания. Она казалась совсем не такой, как минуту назад, но подобные перемены были ей вполне свойственны.

- Ты - солнце, - продолжала она. - А мы - две планеты, которые погибнут без тебя. Впрочем... Одна из планет не так уж значительна. Она очень близка к солнцу, на ней всегда жарко, и, наверное, поэтому жизнь на этой планете невозможна. Вторая планета расположена подальше от солнца и на ней всегда тепло - этот замечательный климат способствует зарождению жизни... Ведь твоя жена вот-вот родит второго, не так ли?

- Прошу тебя, перестань...

- Перестала, - Лара прижалась к Сашиной груди. - Когда ты уезжаешь?

Мысль об отъезде была ему невыносима.

- Лучше не думать об этом...

Она вздохнула и коснулась его ноги под одеялом.

В комнате пахло недавним пиршеством: апельсинами, табаком, свечами. «И все-таки - это любовь...» - подумал Саша, засыпая.

* * *

«Дорогая Ира, я знаю - ты очень умная женщина. Ведь ты давно догадалась, правда? Ты прекрасно понимаешь, что не был я ни в какой командировке. Я был у любовницы. Да, все это время.

Прости, возможно, сейчас я кажусь слишком жестоким по отношению к тебе. Но зато я честен с тобой, я больше не могу притворяться - это невы-

носимо. Я не могу разрываться на части - это больно. Я люблю ту женщину, я не могу без нее. Мы уже два года встречаемся. Прости, я не мог сознаться. Наверное, я трус, я боялся потерять тебя, боюсь и сейчас, но без нее я тоже не могу.

Пожалуйста, пойми меня, ведь ты всегда старалась понять... Давай решим этот вопрос по-разумному. Знай, что наших детей - Катеньку и сына, которого ты ждешь, я ни за что не оставлю, я буду делать для вас все, что в моих силах. Прости меня, если сможешь, но я ничего не могу поделать со своим сердцем...» - пока Саша ехал домой, он все время прокручивал в голове эти слова.

Он должен сказать Ире правду, иначе его сердце разорвется. «Ты солнце, без которого мы погибнем...» - вспомнились слова Лары и по цепочке вспомнились ее руки, мягкие, со всегда холодными пальцами, блестящие, чуть удивленные глаза, слегка надколотый передний зуб, желтый плащ, листья на балконе, одеяло, пахнущее тленом, печальные, дрожащие губы в минуту расставания. «Милая моя, странная девочка, мы обязательно будем вместе...» - подумал Саша, и ему вдруг стало жаль, что он уехал, не сказав ей этого.

* * *

Высокая, худая, смуглая женщина в темном платье - это Ира.

Она стояла перед ним, словно сгоревшая спичка. Что-то было не так...

- С приездом, Саша.

- Спасибо, - Саше казалось, что он отсутствовал дома куда дольше, чем этот месяц. - Как дела, дорогая?

- Все нормально.

Она повернулась к зеркалу и начала агрессивно расчесывать черные, как земля, волосы. Он спросил:

- Что нового?

Ира неестественно улыбнулась.

- Да так, почти ничего. Вчера у нас сломался телевизор, а неделю назад я потеряла нашего ребенка...

- Ира... - Саша вздрогнул, в груди похолодело.

Жена бросила расческу и разрыдалась. Они обнялись. Пятилетняя Катенька вошла в прихожую и, увидев, что мать плачет, затравленно опустила глаза. На ней был выцветший халатик, запачканный акварельными красками. Сашу душила нахлынувшая нежность.

- Катенька, дочка, иди сюда!

Девочка, словно и ждала этих слов. Она метнулась к отцу, и он поднял ее на руки.

- Скучала?

- Да, - Катя улыбалась.

- Я поставлю чай, - смягчившись, сказала Ира и пошла на кухню, откуда веяло чем-то свежее испеченным и просто домашним.

«Она ждала меня...» - Саша провожал ее ласковым взглядом, с горечью и необъяснимым облегчением чувствуя, как именно сейчас, в эту минуту, из его маленькой солнечной системы исчезла вторая планета.

- Папочка, я так скучала, ты больше не уедешь? - спросила дочка, крепко обхватив его шею.

- Конечно нет, детка. Я теперь всегда буду с вами.

САРАЙ

Село было небольшое и самое обыкновенное. Домики и дома стояли в беспорядке, между ними криво струились улочки, на которых не высушили лужи, паслись опасные гуси и равнодушные утки. Как и положено, там был «центр», а в нем - три магазина: два продовольственных с классическими названиями «Ивушка» и «Ручеек» и один хозяйственный, тот, что в здании почты. Назывался он «Лотос», наверное, в честь знаменитого среди российского населения стирального порошка. Был в селе и памятник Советскому солдату, каждое лето обрастающий бурьяном, и автобусная остановка, и заброшенная пекарня, и вагончик-пельменная, хозяин которой считался первым богачом. За селом, на пригорке, рассыпано кладбище, а дальше - васильковое пятно озера, украшенное черными пиками елок, за ним - пашни, поля, пастбища. И конечно, там была школа. Низкая и старая. Построенная буквой «Г», густо выбеленная как изнутри, так и снаружи. Школа эта тоже была самой что ни на есть обыкновенной, и не работой в ней наша героиня Ольга Павловна учительницей русского языка и литературы, мы бы даже не обратили на нее внимания.

Впрочем, если бы не Ольга Павловна, мы бы и не вспомнили о данном селе, и не было бы вообще этого рассказа.

Итак, Ольга Павловна. Для нас же, просто Ольга. О таких говорят «милая», так как она была действительно очень мила: чуть полновата, круглолица, звонкоголоса. Ей было почти сорок, но о возрасте можно было догадаться, разве что узнав про ее семнадцатилетний трудовой стаж работы в школе, так как выглядела она человеком возраста неопределенного. Чувствовалась в ней затвердевшая редкая смесь прожитого, взрослого и чего-то легкого, смешливого, девчачьего, словно когда-то, расставаясь с юностью, они о чем-то с ней сговорились. Она обожала литературу, особенно классическую, из года в год пытаясь привить это же чувство школьникам, но увя, тщетно. Был у Ольги муж, зоотехник, когда-то ради нее бросивший пить, двое веснушчатых с желтыми цыплячьими волосами сыновей, была корова Груня, вороватый кот, рыжая собака со щенками. И дом был уютным, с верандой, где зимой все покрывалось пылью и инеем, а летом - протиралось, застилалось и превращалось в столовую с самоваром и занавесками в синий горошек. Работа в школе казалась приятной и привычной, так же, как, впрочем, и муж-зоотехник, и сама жизнь. И если бы в те времена задали Ольге излюбленный в народе вопрос «Как поживаешь?», она непременно бы ответила: «Ой, ничего, хорошо поживаю...» И театрально бы вздохнула.

И вот случилось странное. Ольга Павловна влюбилась, влюбилась безоговорочно, опасно, навсегда. Она поняла это тогда, в туалете. Поняла и разрыдалась, навалившись на колючую, деревянную стену, а рука с отрицанием комкала заветное письмо. Но началось все днем раньше. Он зашел в опустевший класс, где Ольга сидела среди зеленых тетрадных пирамидок, и положил на стол конверт.

- Что это?

- Это вам.

И ушел.

Он приехал по распределению полгода назад. Молодой историк. Ему, может быть, двадцать пять или тридцать лет. У него красный диплом, кучерявые волосы и быстрая походка. Непонятно, зачем он приехал в эту глушь из

столицы? В школе к нему относились настороженно, но не без симпатии. Он был молчалив, заходя в учительскую, кивком здоровался, брал журнал, шел на урок. Пожилая завуч называла это «профессиональной сдержанностью». А фамилия у него была смешная - Сусликов. Звали Андреем Евгеньичем. Ольге он был интересен ровно настолько, насколько могут быть интересны новые люди, столь редко попадающие в скучный провинциальный мир.

Она еще не знала, что там в письме, но приятная тревога уже уютно разместилась где-то в области сердца. Письмо лежало в сумочном мраке, прижатое кошельком и булкой черного хлеба к самому дну, лежало и ждало своего часа. Ольга шла домой в блаженном недоумении и все думала: «Что же в нем?» Можно было прочесть прямо в классе, но слишком опасно - мог бы кто-нибудь зайти, а ведь в письме наверняка тайна? О, хоть бы это была какая-нибудь тайна!

Она зашла домой. В сенях пищали щенки. Старший сын с отцом ушли рыбачить на озеро, младший сидел за столом и что-то чиркал в тетрадке. Увидев мать, он подбежал и уткнулся ей в бок. Она погладила его по пушистым волосам.

- Есть хочу.

- Сейчас, сейчас...

Зашла в комнату переодеться, но быстро вернулась, вспомнив привычку сына копаться в ее сумке. Мальчик уже успел провалиться туда одной рукой в поисках чего-нибудь для себя.

- Ну что тебе там нужно? Ничего там интересного! Иди мой руки, сейчас будет обед!

Нужно было управиться по хозяйству, поставить вариться мясо, снять высохшее белье с веревок, позвонить маме двоечника, а потом, наконец, приступить к письму. Но где? В сарае.

Она закрылась в сарае. Сквозь неотесанные доски дымился пыльный солнечный свет. Летали встревоженные мухи и монотонно гудели.

Драгоценная свобода уединения. В такую минуту приходит осознание того, что никто по сути тебе не нужен. Никто, кроме самого себя, потому что никого на свете и нет больше, только ты один. И нет скучных забот, нет проблем, нет бесчувственной повседневности. Здесь ты сбрасываешь с себя маску: и получаешь простое, ты скрылся от всего в этом ковчеге, тебя никто не потревожит здесь, в крайнем случае будет ждать, ждать, сколько ты пожелаешь. Потому, что только ты сейчас обладаешь этой властью - откинуть клювастый крючок и открыть дверь...

Ах, Ольга, Ольга! Она думала, что Пушкина в этом селе читала только она одна! А он ведь цитировал Александра Сергеевича, да как! Самые любимые и утонченные строки... Письмо конечно о любви, о том, что она, Ольга - самая удивительная, редкий цветок среди сорняков, что это произошло с первого взгляда и наповал, что у него такое впервые! Пусть она простит его, но он больше не может это скрывать, он сходит с ума, не может спать, есть, думает лишь о ней, о ее широких, небесных глазах. Он просил бросить все, уехать с ним на край света или хотя бы в Новосибирск, где у него живет бабушка. И вообще он готов ради нее на все - словом, это серьезно.

Ольга заплакала, зарыдала от жалости к себе, оттого, что муж у нее - зоотехник, что ей уже сорок, что она ни разу не была в театре, что один девяти-

классник нарисовал недавно Гоголю рога, что она устала от своей коровы и что ей никто никогда не писал о любви.

Где-то за пределами сарая скрипнула калитка и захрустели шаги. Муж и старший сын вернулись с рыбалки...

Так и началось. Историк подкарауливал ее где-нибудь одну и молча вручал письма. Он писал часто, красиво, длинно. Ольга маялась. На каждое письмо в ее мыслях слагался волнительный ответ, слагался и тут же забывался, потому что его вытеснял новый, более страстный и смелый, он жег грудь, как горчичник, гнал прочь другие мысли, мешал работать, мешал доить корову, бранить детей, улыбаться мужу. Но писать ему она боялась. Каждый день, приходя на работу, она надеялась на новое послание. Они сталкивались с ним где-нибудь в учительской, или в столовой, или в библиотеке и обменивались умоляющими взглядами. Дома старалась держаться естественно, как всегда, а сама страдала и думала лишь о том, как бы отлучиться в сарай, наглотаться там его любви и слез, а потом вернуться с новыми силами к прежней жизни.

Однажды она не выдержала, спрятала под кофточку ручку и листок, пошла в сарай и написала ему. Ответ получился сердечный, противоречивый. В нем она стыдилась своих чувств, презирала их, кляла себя за слабость, за безумие, просила все прекратить, оставить ее в покое, потому что так будет легче им обоим, но в то же время она не представляла жизни без него и его писем, они - ее воздух, они уносят ее прочь из реальности, они - единственное, что у нее есть от него. Вышла, чуть пошатываясь. Муж стоял у колонки и жевал папиросу.

- Оля, ты чего там засела?

- Да, нехорошо мне. Пойду, прилягу...

Майский день был прозрачен, хрупок, искрист, словно выдутый из стекла шар, а в нем - жизнь, красочная, соловьиная, полная пышной сирени, бабочек-капустниц и небесной синевы. Ольга шла с работы и чувствовала себя счастливой. Сегодня во время школьной линейки он стоял рядом, тихонько касался ее пальцев, а она достала свое письмо из кармана и всунула ему в руку. То-то он заволновался! Только бы никто не заметил.

Он прямо вздрогнул от неожиданности, испугался даже, и стал еще более красивым. Бедный мальчик!

Теперь он знает о ее чувствах. Наверное, захочет встретиться? Ах, нет! На такое она не пойдет. Это слишком! Другое дело - переписка. Как он пишет! Боже мой, как же все-таки пишет этот влюбленный юнец!

Муж был дома, разговаривал по телефону с «городом» о каких-то кормовых добавках. За последний год он сильно полысел, и этот матовый блеск на затылке теперь вызывал у Ольги отвращение.

Она накинула халат и пошла в огород. Младший сын возился со щенками, старший чистил в коровнике и напевал что-то матерное. Ольга прикрикнула, чтобы замолчал. В последнее время ее раздражала всякая пошлость, она мешала ей быть счастливой, мешала думать о прекрасном и сочинять письма молодому историку. Ольга полола грядку и с упоением жалела себя за свою поэтичность, утонченность, за свою неутоленную, возвышенную любовь. Ей теперь хотелось одного - спрятаться в сарае и хотя бы бегло, хотя бы чуть-чуть насладиться его письмами, почитать, а потом прижать к губам свое сокровище и постоять так минутку, сдерживая слезы.

- Мама...

Младший смотрел на мать исподлобья.

- Что такое? - Ольга выпрямилась, поправила косынку.

- Там папа, читает письма от дяди...

Мальчик виновато отводил глаза. Догадка пришла мгновенно. Скорее всего, сын по привычке забрался к ней в сумку, нашел там письма и по своей наивности показал находку отцу. В голове завыл сигнал тревоги. Это бедствие! Это конец! Какое-то время она стояла в нерешительности, в тишине. Потом муж вышел на крыльцо в майке, мокрой от пота, с табуреткой в руке и двинулся в ее сторону. Весь его вид выражал самые страшные намерения.

Ольга побежала. Страх погнал ее по грядкам, по молодым побегам, погнал в сарай. Она закрылась на крючок, но он казался ей ненадежным, а муж - неумолимым. Расплата за грешную любовь приближалась с самыми нецензурными ругательствами, а потом и ударами табуретки по двери. Ольга, забившись в угол своей крепости, навзрыд просила Бога ее простить. Дверь сотрясалась, хрипела, шаталась, но выстояла, чуть покосившись, но разъяренного мужа так и не впустила. А может просто муж наконец успокоился, не стал долбамывать двери сарая, плод своего же труда. Бросил обезноженную табуретку и пошел в дом, крикнув Ольге: «Вот там и сиди! Там тебе и место!» И она сидела долго, до вечера. Страх прошел, чувства притупились, от этого полегчало. Она ходила вдоль стен, собирая плечом паутину, и слушала враждебный мир. Где-то визжала бензопила, кудахтали куры, визжали свиньи, мычала пришедшая с пастбища Груня.

- Мам! - послышался за дверью ломаный голос старшего сына, - Выходи, тебя там отец зовет.

Она зашла в кухню. Молодой историк неловко ей улыбнулся и шмыгнул покрасневшим носом. Муж был пьян, в кулаке он держал вилку зубьями в потолок и все еще казался опасным. Между ними на столе стояла недопитая пол-литра, соленые грибы и растерзанная на одном из роковых писем селедка. Помолчали. Затем муж опрокинул в себя еще одну рюмку и прохрипел в сторону окна:

- Иди, дои корову. И убирайтесь, оба!

Односельчане - народ свой, почти родной. Не было дома, где бы живо не обсуждали случившуюся историю. За чаем или за чем покрепче, с удочками на рыбалке или с лопатой через забор, или просто на дороге, все, от мала до велика, говорили об училке Ольге и ее молодом ухажере. Такая сомнительная популярность мешала жить нормальной жизнью, впрочем, «нормальной» никто ее уже и не считал. Очень скоро пришлось продать Груню, забрать детей и уехать с юным Андреем Евгеньичем в Новосибирск, к его бабушке.

Так началась новая жизнь. Город придавил Ольгу своим глухим каменным очарованием и быстро превратил ее в уставшую, меланхоличную даму, работающую на полставки в библиотеке, пугающуюся лифтов и машин. Молодой ее муж поступил в аспирантуру и почти всегда где-то пропадал. Зато бабушка всегда была дома. Она ворчала, шипела яичницей на кухне, прятала сладости от приемных внуков и таила в голове под тремя платками зло на все человечество. Мальчишкам в городе нравилось. Младший сын стал посещать хореографический кружок, старший попал в дурную компанию и баловался алкоголем. Ольге было тяжело. Денег на жизнь не хватало, продукты из супермаркета плохо переваривались, каблук все время ломались, Пушкин надоел, и она все больше читала женские журналы.

Она часто ложилась спать в одиночестве и полном бездумье. Постаревшая, земная женщина Ольга. Нет, ей было не жаль себя. Она научилась быть

частью этой действительности и покорно плыть по течению в сторону небытия. Лишь иногда не то сон, не то память открывали перед ней дверь деревенского сарая и впускали в тенистое, деревянное нутро. Она входила, доставала из-под кофточки письма, читала, плакала... Только то, что было в тех письмах, уже давно забылось.

ЗАЗЕРКАЛЬЕ

С возрастом начинаешь бояться старого фотоальбома, этих щемящих встреч с тем, что давно прошло, оставив после себя лишь глянцевые картинки, впаянные в серый картон. Те фотографии, что сделаны в последние годы, живут в модных альбомах, которые стоят на виду, где-нибудь в шкафу, возле часов, пустой вазы и дешевых сувениров. Приходят гости и замечают зажатый между книгами корешок фотоальбома. Гости оживают, им больше не скучно. «Можно посмотреть?» Я, конечно, позволяю. Гости с радостью и спокойствием погружаются под прозрачную пленку жизни, хрустят страницами. «А это ты где? А это ты с кем? А это ты? А это? А это...» Вечеринки на глазах сменяются пикниками, днями рожденья, улыбчивыми лицами родственников, бывших женихов, подруг. «Надо нам как-нибудь вместе пофотаться», - заключают друзья и ставят альбом на место. Я соглашаюсь, но мне все равно. Друзьям тоже. Есть фотографии, которые стоят на столике, сжатые рамами, соседствуют с календарем на стене, втиснуты в стеклянную дверцу серванта. Они быстро становятся незаметными - составляющей частью привычного интерьера. А где-то там, запертый в глухой и темный куб ниши, хранится пыльный том со старыми снимками. Это архив жизни, времени, спрятанный от внешнего мира, не интересный моим гостям, устаревший и слишком величественный для существования на свету, среди вещей, которые составляют мой быт.

Старый фотоальбом погребен под негодными предметами, почему-то не выброшенными вовремя, и просто заполняющими пустоту. Фотоальбом - это не хлам, а если и хлам, то самый священный в моем доме.

Я боюсь старого фотоальбома. Слишком давно я не касалась этого черно-белого тайника. Ведь я почти забыла, что там. Память, как свеча в темной комнате, едва освещает рельефные очертания. Мысль говорит: «Распахни, возьми, посмотри, вспомни...»

И однажды, я решаюсь. Открываю шкаф, вхожу в глухую гробницу. Из-под руин и саркофагов - отживших свое предметов - вижу угол фотоальбома. Я в оцепенении. Что происходит сейчас там, под красной бархатной обложкой? Есть ли жизнь в ветхом, пахнущем минувшем, безвремье? Есть. Я чувствую это. Беру альбом, кладу его на колени. Он теплый? Или мне кажется? Еще не открывая мягкой обложки, чувствую, слышу, как о чем-то шепчутся мои бабушки в простых, светлых платках, отец целует смущенную маму на ветру, а я истерически плачу, потому что я - малыш, грызущий расческу, мгновенно вырастающий в девочку под новогодней елкой, а брат не любит Новый год или делает вид, он ссорится со мной по пустякам и норовит напасть, но я не пугаюсь, ведь за меня заступится отец, такой молодой и непьющий... Он учит меня писать слово «мама» на снегу в феврале, он катает меня на санках, я дышу в шарф и мне холодно, а бабушка остается со мной на выходные, она носит серый плащ и пока не болеет раком, она - любимица у моего прапрадеда, бывшего кулака, который курит много табаку и не верит в слухи о войне - он качает бабушку на ноге, а бабушке нет еще и двух лет. Крестная же

войну не помнит, у нее корова с одним рогом, молоко она продает соседям. Я пью ее молоко из граненого стакана, в то время как мама собирает в саду клубнику, она беременна братом, тем самым, который со мной ссорится... За оградой стоят гости из ближнего зарубежья, они привезли мне ползунки и игрушки, которые у нас в большом дефиците. Пошел дождь и началась первомайская демонстрация, весь наш класс идет строем и я держу за руку Филимонова. Филимонов - муж моей близкой подруги, на ее свадьбе я много смеюсь, смеюсь и - в обнимку с Петей, он редкий шутник, поклонник Цоя и японских транзисторов, а там, между старым гастрономом и школой, выезжает большой молоковоз, из кабины высовывается дядя Миша и машет своей гигантской пятерней. Дедушка дядю Мишу терпеть не может, он считает его недоумком, а в этом санатории «Чистые ключи» он научился разбираться в женщинах, вот, например, эта, с веточкой рябины - совершенная красавица, но выражение глаз у нее чужое, или эта, с гипсовым лицом и черно-красными губами, выглядит как очень милая особа, ее письмами бабушка топит печку еще целый год после дедушкиной гибели, только дедушке до этого и дела нет, он пьет себе горькую с соседом Гришиным у него на веранде. Мой брат в это время взял без спросу его военный бинокль и залез с ним на крышу бани. В бинокль ему видно всю нашу улицу: и соседку Машу, торгующую самогоном, и крестную, ведущую домой безрогую буренку, и подсолнухи, и бывшую пекарню, и колесо в луже, и меня с ранцем на спине...

И вся эта беззвучная жизнь так мила моему сердцу, так близка и недоступна. Этих чувств я боялась. За то, что нахлынут, развяжут застарелые узелки и впустят в прошлое, в то измерение, где никто больше не состарится, не умрет и не родится, где ветер дует в одном направлении, а часы показывают одно и то же время. В черно-белом зазеркалье свой уклад.

Вот он альбом, я открыла его. Лица на фотографиях замерли, но глаза смотрят внимательно и живо. Они смотрят в меня и достают до той глуши, где живет самое сокровенное - память. Память давно хочет на волю, и в этом альбоме она хозяйка. Пошли? Пошли. И мы идем, идем мимо роддома, где я только что родилась, мимо школы, где я получаю средние оценки, мимо березняка, где я - грибник. А вот весь наш класс: Семин теперь работает в ГАИ, Иванцова - в Германии, Шараборин погиб, Самойленко - депутат, Архипов - в тюрьме, Митрофанова - не знаю...

Снова я с куском торта, здесь мне - двенадцать, а здесь - только пять, на мне полосатый свитер, я его помню. Но нет в этих снимках детства. Что могут рассказать о нем эти жалкие заплатки прошлого? Разве таким был цвет моего детства? Разве таким наивным и строгим был мой взгляд? Это просто взгляд, смотрящий в объектив, а я любила смотреть на солнце и шуриться. Но снимки оживили память, раскачали тяжелый маятник. Альбом уже не нужен. Я закрываю его и возвращаю на место, пусть его обитатели живут своей, самостоятельной жизнью.

А я хватаюсь за память, как за канат, и погружаюсь в прошлое, погружаюсь, насколько могу, и вижу там себя, своих близких, тогда еще чутких и улыбчивых. Куда ушло это время, почему я не заметила ту границу, где оно заканчивается?

Нужно написать о детстве, о том, что было. Я напишу сейчас, немедленно. Сажусь за стол, но память уже замолкла, спряталась в свой улиточный домик, ее не выманить назад и я пишу вот это...



Саша ТУМП

Саша Тумп родился в 1953 году в Хакасии в семье первоцелинников. Детство прошло в с. Означенное (сейчас Саяногорск) в Западных Саянах.

В 1975 году закончил энергетический институт, работал на монтаже и наладке оборудования тепловых электростанций страны, жил в г. Челябинске.

Много путешествовал по Уралу, Саянам, Кавказу, Туве, Бурятии, Карелии, Сибири.

Сейчас живет и работает в селе Ивановской области.



РАССКАЗЫ ЗА ПРАГУ

- Сядь! Посиди! - Дядя Витя хлопнул ладонью по лавочке рядом с собой. - Были? - мотнул головой в сторону дороги, ведущей на кладбище.

Я тоже кивнул.

- Батька, смотри, был. Я видел. Хотел подойти, да вот... - Он ударил палкой по ноге. - Победа! Долго ли праздником продержится день? Или забудут? Вы-то нет. Вам и самим-то осталось... Вы еще нас молодыми помните. А?... Че говоришь?

Мы помолчали.

- Под Прагой Победу-то я встретил. 9 мая. Утром. Летит на лошадях парвар наш. С котлом вместе. Из трубы дым. Иван Николаевич Ведров. Из-под Смоленска. Летит. Остановил лошадей и из автомата весь диск - в небо. Мы ничего понять не можем. В Праге еще фашисты были. За оружие и к нему. А он сказать не может ничего. Плачет. Кадык ходит. Пилотку снял. Мы по сторонам - нет никого. А он рукой показывает, мол - «дайте еще диск». Протянули. Он и его... весь в воздух. Тогда и выдохнул: - «Победа! Сегодня утром - все! Конец!» Тихо стало. Ротный бежит с пистолетом. Орет что-то. Сказали ему. ... Да! Орала, стреляли. Ротный голову обхватил, тоже орет на нас и плачет. Затихли. В Праге-то еще немцы были.

... Старый был - Иван Николаевич. Мы все его дразнили - «Ведров, дай каши ведро!» Сопляками нас называл. Помоложе был, чем ты сейчас. Мы его дедом звали. А кто и - батей. От Смоленска до Волги, а потом вот от Волги до Праги дошел. Мимо дома шел. Говорил, что нет дома-то! Ведров! Все объяснял, что фамилия его правильно Вёдров. Солнечно и сухо - значит. Самый сенокос.

Сам из нашенских, с Сибири, а вот под Смоленском осел. Много у нас было с Урала, Сибири. Солнечно и сухо, - значит! Говорил, что писарчукам лень было точки поставить. Вот и получился - Ведров. «Перекрестили, чернильные души», - говорил. Нет уж! Если «точки» есть, то ставить их надо! Малость такая, а, вон гляди, как все может быть по-другому.

...По-чешски тоже так же, - «вёдро» - значит хорошая погода. Хорошо - значит. Тоже славяне! Дед все смеялся: - «Меня славят!» А они кричат: - «Славя-не! Сла-вя-не!» А и то, - если одним ухом встать, то вроде, как «Сла-ва Ване! Сла-ва Ване!» Для Европы мы все были - «Вани»! И казах - Иван, и калмык - Иван! Все - Иван!

Горячо было под городом Пльзень. ...Прагу-то 9 мая взять-взяли, а потом еще ведь война была. Меня там последний раз ранило, в ногу. Не пошел я в госпиталь-то. А так бы потерялась медаль-то. Вот она.

Дядя Витя приподнял медаль. На одной стороне всходило солнышко, на другой было написано «9 мая 1945 г.».

- А это, - он показал на медаль «За отвагу», - сестренка ее. В один день их получил. За последний бой.

Да, вот после Победы-то и погибали. От русских рук русские погибали. Супротив-то власовцы были. Не одни, конечно. Генерал?! Как его? Вот ведь!.. Буняченко! Не помню, когда тебя последний раз видел, а его фамилию помню! Буняченко командовал ими. Да и не командовал он уже! Говорили, что их американцы к себе не пустили, вот они на нас и ринулись. ... Тоже русские. Вот и была последняя битва - русских с русскими. Много в плен сдалось тогда. Тысячи! А многие застрелились. Сам генерал не стал стреляться! Снял с себя фашистские погоны и сидел, прямо на траве у дороги, пока наши не подошли! Но и к американцам не ушел! А мог! Так судьбу и принял! На обочине! Под городом Пльзень!

Что за манера у нас - друг другу морды квасить?! В кровь ведь раздерутся, а потом - друзья. Отходчива душа россиянка! Зло - когда перед глазами враг, а потом, вроде, как и жалко. Люди ведь! Что потом с ними стало?! Да-а-а... А на Параде-то Победы тоже... Ребята вернулись, говорили, - первым под стены бросили личное знамя Гитлера, а последним - знамя власовской армии. Вот как! И тут последние! Вот ведь, как жизнь-то иногда людей скрутит и скорежит.

... Я вот думаю, - дядя Витя повернулся ко мне. - Я вот думаю! На Парад-то шили форму индивидуально каждому. За неделю сшили! Сталин сказал тогда: - «Подать списки участников Парада Победы по «коробке» от каждого фронта! А в коробке двадцать на двадцать - четыреста человек! Во!.. Да чтоб рост соответствовал, и не менее двух орденов у каждого было. К вечеру списки подали. Ни тебе мобильников ваших, ни тебе Интернета, тудыт его!.. Успели! Или панфиловцев в полушубки одели за неделю. Это же пятнадцать-семнадцать тысяч полушубков бараньих сделать надо!.. Я это к тому, - как думаешь, - успеют к Олимпиаде наши подготовиться? Или как? Еще эта Япония - тудыт ее! Бомба эта дурацкая! Жалко их! И так бы сдалась - эта Япония! А может, и - нет! Самураи, - эти их! Для них, почитай, своя земля тоже - мать родная. Не попал я на Японскую - нога. Потом ехал, где - шел! Ох! Раззор, раззор кругом! Страшное дело - четыре года мужики ничего не делали! Заледенена земля наша! Душой заледенела! Как и не было детей у нее! Поплакала Земля-то! Ох, поплакала! Всех приняла! И правых и неправых! Дети, однако!.. А к Новому году здесь был. Вот так же сидел тут.

Дядя Витя похлопал по лавочке.

- Дядя, Витя! А как ты их отличаешь. У тебя же еще одна медаль «За отвагу».

Я показал на вторую медаль.

- Эта? Эта за Днепр! За то, что продержались до своих. За Днепр! За Землю нашу - Мать. Да и свою мамку жалко было. Убьют - ведь, изревется, поди, вся! Сердце разорвет слезами. Да и опять же - на земле без мужика трудно. Себя для нее беречь надо! Конечно, бабы сильнее! Сцепят зубы и все выдюжат, но с мужиком-то на земле сподручнее. Да и Земле спокойнее, когда по ней мужик ходит.

...А ведь никто бы не смог фашисту башку-то к пяткам развернуть, кроме нас! Видел я американцев там! Воевали! Да и англичане! Ребята говорили - те тоже там были! Что уж делали, не знаю. Врать не буду! Для них-то эта война чужая, а мы Европу на выдохе прошли. Как вдохнули под Сталинградом, так и не дышали. Я вот только дома и выдохнул. И то - не сразу. Сплю, а сам не сплю. Все ждешь чего-то, ждешь... Ох, силен был! Силен, злыдень! Че они вообще к нам поперлись? Не знаю! Затуманило людям голову-то! Морок кто на них наслал, что ли? ...А как отличаю? Да никак! Эта - за Днепр. Эта - за ногу.

Дядя Витя о чем-то думал, смотрел своими выцветшими глазами вдаль.

- А ты знаешь, может и не от их пули нога-то болит. Может просто старость уже пришла? А?

КОГДА Я РОДИЛСЯ

Когда я родился - дома никого не было.

На столе стояла литровая банка с молоком и тарелка, накрытые салфеткой. Лежала записка - «Не забудь попить молока. Перекуси до моего прихода». - Заботливые.

У печки лежал кот. Или кошка? Вроде - кот?!

«По столам не лазит», - одобрительно подумал я.

Кот, заметив меня, встал, выгнул спину, улыбнулся, еще раз потянулся и опять лег.

«А кот - с пониманием!»

Он мне нравился. Я огляделся. Печка побелена. Вьюшка закрыта. Перетрубье чистое - не дымит. За печкой пустых бутылок нет.

Занавески раскрыты. И это правильно. Побольше света. А что скрывать? Кому надо - тот и так уж все высмотрел: «Ой! Соль кончилась!.. Дайте немного...» А сами глазами вправо-влево.

Занавесочки веселенькие. Мелкий цветочек. Это хорошо. Мелкий цветочек нравится серьезным людям.

Потолок побелен. Желтизны нет. Тоже хорошо, что в доме не курят.

Детской одежды нет - буду первым. Игрушки вижу - новенькие.

На полу половики. И это хорошо. А то взяли моду - паласы стелить. А в доме кошка!.. Замучаешься потом блох ловить.

Фотографии на стене. Тоже хорошо, что стариков не забывают.

Нормально у них тут! Просторно. Для кровати место есть. В матице крюк есть. В углу еще один. Пристроят меня на первое время...

Я обошел весь дом - все нормально: постели застелены, ведро вынесено, холодильник не пустой, грязной посуды нет.

Хорошо!
«Пожалуй, я останусь. По мне тут! - решил я. - От добра - добра не ищут!»

Узнать бы какой месяц?

О! Будильник есть. Так! 10-30. Так! Где там солнышко? Градусов тридцать будет к горизонту в 10-30... Значит - март! Так - март! Это, что получается?..

А получается... а получается, что официально я появлюсь здесь где-то под Новый год!

...Ну и что? Следующим летом уже яблоки сосать буду, и зубами скрести их, витаминиться. Нормально! Проживем!

Со мной-то полегче им будет! А то вдвоем!..

Не дело - в целом доме и вдвоем!

Все! Точно! Останусь-ка я тут! С ними.

С мамой! С папой!



Антон ЛУКИН

Антону Лукину 26 лет. Родился он в с. Дивеево Нижегородской области, окончил среднюю школу, аграрный техникум, служил в армии. Писать начал рано - еще в школьные годы, и занятия литературой уже никогда не оставлял. В 2009 году у Антона выходят две книги: «Волшебная страна» и «Голубоглазая», в следующем году - еще две: «Судьба солдата» и «Самый сильный в школе», после - повесть «Антошка».

В журнале «Алтай» публикуется впервые.



КОЛЬКА ЧИЖИКОВ

Р а с с к а з

Колька Чижиков вернулся в родные края. В деревне не был шесть лет. Как уехал в город, женился, так и остался там. Мать с отцом да брат Илюха, все к нему катались в гости - снабжали картошкой, овощами, мясом... Жилось Кольке в городе трудновато. Об этом мать его не раз жаловалась соседям и родне.

- Истощал весь, исхудал, одни глаза и кожа, - говорила она. - Но возмужал, конечно, серьезнее стал. Мужчина! - старуха улыбалась. - Детишками вот собираются обзаводиться.

- Давно уж пора, - кивали те. - Сколько ему, сорок два?

- В сентябре будет, ага, сорок два.

- А работает-то он у тебя где?

- Ой, - старуха призадумалась немного, потерла щеку. - Что-то где-то охраняет, что-то очень важное и секретное, потому и не разглашает. Запретили.

- О, как! - с усмешкой произносили бабы.

А работал Колька грузчиком на птицефабрике да подрабатывал сторожем в библиотеке. С его-то образованием - восемь классов - шибко не брали. Крутился, как белка в колесе. Даже пить бросил. Ну как бросил, - выпивал, конечно, не без этого, но не так, как у себя в деревне, не отдыхала, не гуляла душа, не пела песни наотмашь, а наоборот, куда-то глубоко пряталась в теле, съеживалась и не хотела показываться. Что не говори, а все-таки уже семейный человек. Жили они с женой у тещи. Любка, жена его, была на семь лет младше, работала на мебельной фабрике бухгалтером, счет деньгам знала. Да и теща такая же была - скупая. Семь раз обдумают, куда деньги пустить, а потом тратят. Для Кольки это было дико, но постепенно привык, и сам, как

уже заметил, стал экономить на всем. Да и зарплату толком не видел - жена в доме рулила. Был еще у Кольки тесть, но тот два года назад скончался от белокровия. И остался Колька один в двухкомнатной квартире с двумя злыми бабами. Не то, чтобы они его сильно изводили, но расслабляться все же не давали. Особенно теща - чуть что, сразу напоминала, где его место. Тяжело было Николаю, но уехать в деревню не мог, понимал, что сопьется и пустит свою жизнь в труляля. Не те уже годы, чтобы дурью маяться, семья нужна. Всю жизнь был Колька веселым, дурашливым шутником. Потрепать языком любил. Бывало, если выпьет, всю деревню смешил. А иной раз такое отчудит, аж всех в дрожь бросало, и ведь знали, что помело, а все равно верили. А теперь, если бы кто из близких и знакомых увидел Кольку, то не поверил бы, что это он. Не узнали бы. За шесть лет измучила его городская жизнь, потрепало нервишки семейное счастье.

Сегодня утром, в пятницу, у Кольки был выходной. Вчера вечером его сильно поругала теща. Ругала и стыдила. Тот получил зарплату, а деньги отдавать не хотел.

- Я же пальто осеннее собирался взять, - оправдывался он.

- Вот осенью и купишь, - наседала теща. - Телевизор менять нужно, цветной хочется все-таки. Я с пенсии чуть-чуть, ты с зарплаты, и Люба добавит - вот и телевизор. Вот он хорошенький будет тут стоять.

Отдал Колька зарплату, сквозь зубы что-то бубня под нос. Червонец все же успел занюхать. Ночью в спальне жена его приласкала, успокоила. Но все равно, было не уснуть, всю душу истыкали.

По пятницам теща уезжала с утра в другой конец города к своей единственной подруге Гальке. Когда-то они вместе работали в гастрономе. Любка тоже была на работе. Такие дни случались очень редко, когда выходные попадали на пятницу. Оттого он ее и любил - эту самую «пятницу», и искренне ждал.

- На кой черт тебе телевизор понадобился, нам-то он с Любкой ни к чему. Ах, да, я же и забыл, что ты у нас из дому не выходишь, да с дивана не встает, лежебока, цвета ей, видите ли, понадобились. Ух! - Колька заговорил низким писклявым голоском. - Ну, Коленька, ну зятек, ну давай возьмем, а в августе обязательно тебе пальтишко купим, я сама тебе на ботинки добавлю, - ерепенился Колька перед зеркалом, грозя в отражение пальцем. - Смотри у меня! И полы пропылесось.

Он спустился во двор, взял в магазине бутылку красного и снова поднялся к себе. Пожарил яичницу, налил в хрустальный бокал портвейнишка, аккуратно все разложил на столе и затем важно присел. Колька в выходные пятницы всегда ходил генералом по квартире. Всерьез ругал тещу, учил чему-нибудь жену, расхаживая с газетой по залу. Размахивал руками, выпячивал грудь вперед и важно разгуливал, как воробей перед цыплятами.

- Ну, так-с, приступим, - Николай потер ладони. Опрокинул бокал, закинул в рот яичницу, разжевывая, опрокинулся на спинку стула. Почувствовалась небольшая легкость внутри.

- Повторим, - щелкнул он пальцем и быстро наполнил бокал. - Ну, Надежда Григорьевна, за вас, за ваше драгоценное здоровье, чтобы оно у вас было таким же, как у супруга.

Николаю понравился его тост, и он даже погладил ладонью свою грудь. Опрокинул, выдохнул носом, закусил. Все же злость, какая копилась у него все это время в душе, давала о себе знать и просилась наружу. Колька бра-

нил тещу. Внутри бушевал ураган. После портвейна он смелел на глазах, даже матюгаться стал, что за ним редко водилось.

- Всего изъездили, поросята, я им что, лошадь, сундук безчувственный?! - Николай ударил кулаком по столу. - Гады.

Запрокинул голову, замолчал. Вспомнилась деревня, дом, мать с отцом, вспомнился прудик, бывшие веселые дни. Аж ком подкатил к горлу. Сенокос уже прошел. Эх, как Колька любил сенокос, а рыбалку поутру, а песни под гармонь у завалинки, а танцы... хоть и было тогда уже три десятка, а все равно плясал, как мерин сивый. Такая тоска одолела сразу, так захотелось выть, душа плакала, и по щеке тоже скатилась слеза.

Николай долил остатки в бокал и выпил залпом.

- Все, хватит, еду домой, к себе, в деревню.

Колька убрал все со стола и отправился в зал, громко горланя:

...Выплыва-а-ают расписны-ы-ые,
Стеньки Ра-а-азина челны-ы-ы...

Ехать в старых брюках и рубаше не хотелось. Колька открыл шкаф, достал тестя покойного костюм. Совсем новенький. Примерил, в самый раз, как по нему и был шит.

- Мне ходить, значит, не в чем, а тут такая красота в шкафу пылится. Дождешься от вас. Сделали из меня оборванца.

Колька снова озлобился на тещу. Взял маленький чемоданчик и подошел к холодильнику. Очень хотелось насолить ей.

- Ох, - махнул Колька рукой, - да гори все синим пламенем, будь что будет. Не съедят же и не выгонят.

Николай достал из холодильника две бутылки хорошего дорогого коньяка. В мае тещин племянник приезжал к ним на пару дней из Ленинграда, привез с собой как подарок. Так мамаша даже прочитала этикетку Кольке тогда толком не дала, вырвала из рук и убрала в холодильник. Все берегла для неизвестно какого случая.

- Рэми-Мартин, - прочитал Колька и аккуратно упаковал обе бутылки в чемодан. - Ой, спасибо, Надежда Григорьевна, что сохранили до отъезда. Вот мы его с батей сегодня и оприходуем.

Колька прихватил еще пару банок шпрот, докторской колбасы и, оставив на столе записку: «Уехал к своим в деревню. В воскресенье буду», покинул квартиру. По дороге купил еще пару шоколадок (под коньяк), матери платок, отцу рубашу и двинулся в путь.

Как только Николай сошел с автобуса и увидел до боли родные места, тут же кольнуло под сердцем. Такая волна радости и печали нахлынула одновременно, что даже остановился. Постоял немного, оглядел родимую улочку, старенькие покосившиеся избенки на ней, сады, полные вишен, березки, тополя и, выдвинув грудь колесом, направился к дому. По деревне Колька шел важно, гордо закинув голову вверх. В костюме и в шляпе, крепко держа в руке чемодан, он шел, слегка посвистывая. Несколько женщин с интересом оглянулись, но никто не узнал Кольку. А тот еще громче посвистывал, чтобы привлечь к себе больше внимания. Хотелось, чтобы его узнали, чтобы увидели, каким он стал - важным, солидным, в пиджаке и брюках, в галстучке, но никто не узнавал. Всего каких-то несколько часов назад душу терзала тоска по дому, город душил своими крепкими стальными лапами, хотелось, что есть сил, из него бежать, а теперь..., а теперь Колька важно разгуливал по деревне городской походкой, насвистывая песенку.

- Чижик, ты что ли? - послышалось вдруг за спиной. Николай обернулся и увидел своего старого товарища Гришку Бокова. - А я думаю, ты не ты, и не признал сразу-то.

- Здорова, Гринь, - пожали друг другу руки. - А ты все в мазуте?

- А я все в мазуте, - улыбнулся приятель. Гришка работал на тракторе в колхозе, пятна на зеленой рубашке его уже не отстирывались. - Да ладно, перед кем тут красоваться, - махнул он рукой. - Чай не в городе.

- Это точно.

Уж больно Кольке понравилось, как тот сказал «Чай не в городе». Значит, все же осознает по Колькиному виду, что там хорошо.

- А я сейчас к Степану иду, Булка тоже должен быть там. Он, кстати, в том году баню новую построил. Помогли, конечно, немного с мужиками, ну, банька, я тебе скажу, м-м-м, пойдем, увидишь.

- Я еще у своих даже не был.

- Да чай успеешь, пойдем, по сто грамм накатим.

Степан с Булкой сидели у яблони и дымили табаком. Поначалу тоже не сразу признали Кольку.

- Да это же Чижик! - первым закричал Булка.

Степан, прищурив левый глаз, узнав в госте старого знакомого, полез обниматься.

- Господи, а ты тут какими судьбами?

- Да вот, - развел тот руками, - работа отпустила, решил своих наведать.

- Это правильно. Ну, присаживайся, давай за встречу. Это надо же, хех, никогда бы не подумал, что снова увижу тебя, как уехал, и с концами, - Степан открыл бутылку.

- Самогон?

- Ну.

- Не, братцы-кролики, я теперь эту дрянь не пью.

- Ты чего, - Булка даже немного обиделся. - Степан никогда бодягу не гонит.

- Я не об этом. - Колька достал из чемодана коньяк и поставил на столик. - Вот, пожалуйста.

- Ре-ре...

- Рэми-Мартин, - ответил Колька. - Дорогая.

- Да ну?!

- Вот тебе и ну.

- Шикарно живете.

- А то. Город есть город, там все так живут, - сказал Булка. - Это тут пахнешь, как конь, а там, вон, - показал на Кольку, - уехал босым, ни рубля в кармане, а приехал человеком.

- Дорогушая... Это надо же!

- Там все так живут, - не унимался Булка.

- А ты знаешь? - посмотрел на него Степан.

- Знаю. Знаю.

Николай слушал друзей, и невидимая сила поднимала его от земли. Последние несколько лет он никогда не чувствовал себя так высоко и легко. Гордость распирала его всю. И слушая сейчас Булку, даже сам стал верить, что в этом городе и впрямь все хорошо живут и сорят деньгами. Поначалу сердце Колькино радовало то, что его никто не узнает, потому как он был в шляпе и при галстукке. А теперь, когда он достал из чемодана коньячок, гордость совсем поперла из всех щелей, и он сам поверил, что стал богатым.

- Ну, ладно вам, не спорьте, - произнес он важно и разлил по стаканам коньяк. - Закусывайте. - Пододвинул шоколад.

Все выпили, непривычно закусил шоколадом.

- Вот это я понимаю, - улыбнулся Колька и шелкнул пальцем по бутылке. В нем снова проснулся прежний пустомеля. И Николая понесло.

- И часто ты употребляешь такое богатство? - поинтересовался Гриня.

- Да разве это богатство, - махнул рукой, - как и положено, на завтрак, в обед и на ужин, по сто грамм, а где и по сто пятьдесят.

- Это какие же деньги...

- В городе все так живут, - не унимался Булка. Ему почему-то очень хотелось верить, что в городе народ живет без хлопот и забот. Только и делают, что ходят по ресторанам, театрам, кино и распивают дорогие напитки.

- Мне и Любашка моя все твердит, не повредит ли тебе коньячок, мой Косик, это она меня так ласково называет...

- Как?

- Косик, - Николай приятно улыбнулся. - А я ей, рыбка моя, да я от него только молодею.

- Хех, - засмеялся Булка. - Это ты верно подметил. Ну, баба есть баба. Моя мне тоже: еще раз, говорит, появишься пьяным, я тебе, репей, говорит, всю спину скалкой отхожу.

- Здесь у вас да, - Колька даже как-то печально вздохнул. - Там же у нас все попроще. Все-таки как-никак - культура.

- И не ругается? - спросил Гриша.

- А чего ей ругаться. Я же говорю, культура, - Николай снова разлил по стаканам коньяк, и все дружно дрогнули, закусив шоколадом. - Я иной раз с работы-то прихожу и прям с порога ей: зайка моя, что, говорю, будет сегодня кушать твой Косик, а она мне с кухни, картошечку с рыбкой, а я ей, нююю, не хочу рыбки, курочки хочу, - Колька заговорил капризным детским голоском. - Моя с кухни подойдет, раздеваться поможет, свежий номер газеты подаст и ласково мне так на ушко, подожди немного, сейчас и курочка будет. Я ее ладошечкой, оп, по одному месту, а она - бегу-бегу-бегу, и - ширк на кухню курицу готовить.

- Неужто такие бабы бывают? - пораскрыв рты, удивились все.

- Это же город, - вставил свое Булка.

- А теща как, ну теще-то все равно, еще та ведьма, а? - спросил Степан.

- Мамаша? Да ну-у-у! Мухи не обидит. С мамашей мне повезло. Ты, говорит она дочери, у меня его слушайся, где еще такого мужика найдешь! Мол, на ус мотай. Не мужик, а золото. - Колька совсем потерял стыд, расхваливая себя. После коньяка он немного опьянел, язык заработал сильнее.

- Чижик, ну а работаешь ты где? - любопытствовал Степан.

- А вот этого я вам поведать не могу, братцы-кролики, это военная тайна.

- Военный, что ли?

- Ну почему сразу военный? Работаю на очень засекреченных объектах, - Николай призадумался пару секунд, - ну, можно сказать, и военный, для вас так проще будет.

Булка посмотрел на Кольку удивленным, с каплей зависти взглядом. Николай это заметил и снова пошел рассказывать про санатории и моря, где они с женой отдыхают каждый год. Когда распили бутылку коньяка, Колька немного приумолк. Вторую доставать было жалко, хотелось выпить с батей. Он тяжело вздохнул, поглядывая на яблоню.

- Ну чего ты, призадумался? - спросил его Степан.

- Хорошо у вас тут.
- А то.
- Пойду я, наверное, своих еще наведать надо.
- Может, - Степан кивнул на самогон.
- Не, я это не пью, сам понимаешь.
- Понимаю.

Колька попрощался со всеми и отправился к родному дому. Мужики проводили его взглядом, и Гришка открыл самогонку.

- Хех, каким был, таким и остался, - улыбнулся Степан. - Какой военный?! Маменька его все жалуется, мол, еле концы с концами сводят, а тут... Рэми...

- Мартин, - подсказал Гриня.

- Так ведь город, - печально вздохнул Булка. Ему было жалко, что Николай ушел, хотелось еще послушать о красивой и легкой жизни.

- Да чего там хорошего в городе? - посмотрел на него Степан. - Разливай, давай, Гринь, нашу. Чего на нее смотреть.

А Колька гордо шел по родной деревне, оглядывая избы, тихонько посвистывая. Рука по-прежнему крепко держала чемодан. На душе было легко и хорошо. Пиджак был расстегнут нараспашку, и галстук играл на ветру. Хотелось смеяться и кричать. И, свистнув изо всех сил, Колька запел:

Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить...



Иван ОБРАЗЦОВ

Иван Образцов родился в 1977 году. Окончил экономический факультет Бийского государственного университета. Автор поэтических книг «Квантовая лирика», «Лебединые песни XXI века». Внештатный работник Алтайского дома литераторов. Ведет два молодежных литературных клуба: «КГБ» (Культура Города Бэ) в краевой библиотеке им. В.Я. Шишкова и в городской центральной библиотеке им. Ядринцева.

Живет в Барнауле.



* * *

Храня тепло, рука летит,
И ночь - в преддверии побега,
А Вы меня не отпускаете,
И лилии на фоне скатерти
Белее утреннего снега.
Стекло, за инеем - шары
Набухли желтым, синим, красным,
Полет материи атласной
И продолжение игры
«Я Вас люблю...»
В конце строки
Простите мне земную слабость:
Шары, цветные маяки,
Миры, сближения, усталость
и где-то слово реализм,
Да и вообще любое слово.
И бьются вьюги о карниз.
Ну что ж Вы плачете!
И снова -
Храня тепло, рука летит
И ждет, хоть как-то там, ответа.
Стекло рождает новый вид,
Его молчание не злит,
И чуть осталось до рассвета.
Летит, не самолет, но миг
Стучит не маятник, но время.
Я ни к чему здесь не привык
Мы рядом, близко, мы впритык.
Мы одиноки, в самом деле.

8*

* * *

А что нам надо?
Встречи наши редки.
Так птицы две, закованные в клетки,
не плачут, не поют -
они молчат.
Готовые в молчанье открываться
до глубины отчаянья,
до граций,
до чучельных, до граций.
Словно тени,
стоят по клеткам на краю владений
безмолвия Аида, где ничто
имеет то же право, что безмолвье
и бесконечны вспышки темных молний,
и звуков нет,
нет звукоподражаний.
Вселенский мрак
душистый и бескрайний.
Мы смотрим в пол,
мы не хотим конца,
имея за плечами по началу.
Хоронимся хароновых причалов
в безмолвье молчаливого гребца.

А что нам надо?
Слов сиюминутных,
накрученных на время,
заплетенных,
тугой веревкой давящей на горло.

И стороною ветер,
и попутный
погожий день,
и судорогу отъезда.
Облезлый кот шатается облезло
и что-то там мяукает местами.
Ему привычно бремя расставаний
с людьми и шерстью.
Это не смешно
и, в общем-то, не грустно,
просто есть.
Мы тоже протираем нашу шерсть.

А что нам надо?
Нам же не хватает
любви под солнцем,
света или рая.
Нам не хватает их,
что есть не новость.
И мы не знаем края и конца
и что же нужно, чтобы из лица
пробился свет, прорвался светлый
образ.

А что нам надо?
Может, выпить водки,
потом, с собакой, на дурацкой лодке
куда-нибудь к чертям
и прям на дно.
Исчезнуть, согнуться, сдохнуть -
все одно.
Но
нет, нам нужно плавать по морям

и что-то там искать,
тереться шерстью,
переживать о таинствах пришествий
мессии, бога, ангелов,
любви.
Да что угодно, лишь бы наши дни
текли
в привычном русле сумасшествий.

Проходят дни
жарой, дождями, градом,
а что же надо?..

* * *

И что ж, пространства, звезды
и миры -
Смешалось все, и голова не помнит,
Где я, где ты, в конце концов, где мы?
И отчего на небе вспышки молний?
Да нет, все это будто ерунда
На первый взгляд, но если
приглядеться,
То наша жизнь, то наши города
Так хаотично надрывают сердце.
События, сюжеты, времена.
Мелькают люди, лица, разговоры.
И елок новогодних мишура,
И грохот поездов полночных скорых,
И новые желанья - создавать
Ремиксы, кавер-версии, римейки...
А первая любовь осталась ждать...
Забыта в тихом парке, на скамейке...

* * *

И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему плавно,
а я больше не новый - я их провожаю без слова,
и без жеста я их провожаю в речные туманы.
А ведь, правда, что там остается на глади свинцовой,
кроме следа осеннего, кроме осадка разлуки?
А на Малой Олонской уже не осталось знакомых -
и я еду в автобусе, грея дыханием руки.
И я грею дыханием эти застывшие звуки.
И я перечисляю запутанных судеб смятенье.
Тополя у Речного, киоски, бутылки, окурки -
вот и все, что осталось в следах и осадках осенних.
И от Малой Олонской рукою подать до Речного,
где ныряют под мост катера по-осеннему плавно -
а я больше не новый - другой, но, конечно, не новый -
и осеннее солнце встает и плывет над туманом.

* * *

Вот снег, первый снег - двадцатое октября,
И пятна земли и вечнозеленые стебли осоки.
А я никогда не любил проводить в своей школьной тетради поля,
Я был слишком длинный, а мама сказала - высокий.
И вот, я торчу из-под снега, из черной земли,
Торчу на полях, слишком вечнозеленый и длинный,
А мама моя и какие-то люди чужие под снегом легли,
И мне это так все по-детски обидно, обидно.
И вечером, дома, уткнувшись в родное плечо
Твержу про себя - моя светлая, в этой тревоге
Меня не оставь и не пожалей ни о чем,
Скажи, что я вовсе не длинный, а твой и высокий.



Любовь НАУМОВА

Любовь Наумова родилась в 1947 году в с. Горёвка Алейского района Алтайского края. Окончила Дружбинскую среднюю школу Алейского района и Барнаульский государственный педагогический институт. Работала учителем в школе, в райкоме партии, в администрации Алейского района. Имеет звание «Почетный работник общего образования». В 2009 году за публицистические работы о творчестве В.М. Шукшина награждена юбилейным 8-томным изданием произведений В.М. Шукшина.

Живет в Алейске.



ЧТО ВСПОМНЮ Я?

*Если нет сил переделать жизнь,
надо хотя бы ее передумать.*

Ф. Абрамов

*А я вам говорю, что нет
Напрасно прожитых мной лет,
Ненужно пройденных путей,
Впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров...*

Ольга Бергольц

*Жизнь- это не те дни, которые прожиты,
а те, которые запомнились.*

Г. Маркес

Все начинается с утра.

Утро наступает только у тех, кто жив. Розово-желтое или сине-серое. А какое чудо - утро с обложным дождем или белой метелью...

И моя жизнь начиналась с утра. Я должна была родиться ночью, но муки рождения были нешуточно затяжными, и появление мое оттянулось до 10 часов утра. Начинаясь день. Страна на Востоке уже пела и плясала. Праздник ступил и на алейскую землю: 30-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда это был главный государственный праздник. В этот день в городах проходили демонстрации трудовых коллективов, села украшались красными флагами. В клубах проходили собрания, концерты.

Все врачи ушли на демонстрацию, с мамой осталась одна акушерка Лаврова Таисия Дмитриевна.

Стоит только удивляться профессионализму Таисии Дмитриевны: я родилась весом 5200 г, кости черепа от макушки до лба от тяжелых родов разошлись. Но акушерка справилась со всеми осложнениями. Мою голову сразу же перебинтовали, и

маленький «Щорс» начал свою жизнь с экстремальных виражей и приключений от мига рождения.

Всю жизнь во сне я боюсь замкнутого пространства. Это самый страшный сон. Медики это объясняют трудными родами у матери.

А еще я люблю ненастную погоду, свинцовые тучи, буран. В день, когда я родилась, шел сильный снег. И почти всегда в этот день идет снег. Значит, я помню миг своего рождения. Как говорят, на генном уровне.

При работе над воспоминаниями мне захотелось узнать, каким был год моего рождения, каким остался в памяти, в истории. Ведь с исторической даты начинается отсчет судьбы любого человека: все мы связаны со временем, в которое родились. И я начала изучать историю 1947 года. Из рассказов, своих смутных воспоминаний я знала, что в селе это было время бедности: низенькие землянки; от землянки к землянке тропки, чаще всего протоптанные босыми ногами; дорога через речку по шаткому мостку на станцию Алейская - в большой мир; луга и колки, не тронутые скотом и пилами... Шкаф с книжками только в школе, выстроенной на краю села. А новую школу, в центре села, строил мой отец в 1947 году, мама носила отцу обед, а меня сажали на бревнышки. Мне было месяцев девять. Школа была моя ровесница и простояла всего 30 лет. Исчезло село, умерла и школа! Грамотных сельчан в 1947 году, с четырьмя классами, было с десяток, с семилеткой - единицы. Но люди были сильнее, цепче, веселее. И если бы была машина времени, хотела бы не в будущее заглянуть, а вот по этим узеньким тропкам пробежать!

...Период 1946-1953 годов в нашей истории определяется как послевоенный и восстановительный. Уровень жизни большинства населения и особенно сельского оставлял желать лучшего. Крестьяне не имели паспортов и права на свободное передвижение, для них не было гарантированной оплаты за труд, не назначались пенсии. А с личного подворья взимались большие налоги. Не случайно после войны нарастают антиколхозные настроения. Только в Совет по делам колхозов при Совете министров СССР за 1947-1950 годы поступило почти 93 тысячи жалоб и было принято более трех тысяч ходочков. В 1946-1947 году в ряде регионов разразилась засуха. На фоне этого государство усиливало репрессивный нажим на крестьянство. Выходят два указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 года - указ «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» и указ «Об усилении охраны личной собственности граждан». Данные указы устанавливали более жесткую ответственность за кражи, разбои, недонесение о готовящемся или совершенном преступлении. Это была профилактика воровства до самого окончания советской власти, до 90-х годов. Привитый иммунитет, так сказать.

В указах отсутствовало определение минимальной суммы похищенного. Многие мои односельчане были осуждены за горсть пшеницы, унесенной на ужин, кто-то за 3 свеклины. Знаю, сидели Долженко Валентина, Новаковская Ева, Петракова Татьяна, Сапельникова Марфа. И сроки были не по одному году. Статьи за кражу государственного и общественного имущества были от 7 до 10 лет с конфискацией или без. А повторно от 10 до 25 лет. Хищение личной собственности - от 6 до 10 лет, а если разбой - то до 15 лет. Честность воспитывалась и принуждением и убеждением: в школе, с экранов, книгами. Помню рассказ про Нину Карнаухову в «Родной речи», который так и назывался «Честность». Поэтому мы до лихих 90-х дом закрывали разве что на щепочку, чтобы просто видели: меня нет дома. И краж вещей, скота, овощей с огорода не было. Разве что ребятишки морковку где-то подергают или огурцы потопчут.

Правда, на общественное имущество иммунитет постепенно ослабевал, но, все равно, до крупных хищений, коррупции дело не доходило. И слов таких не знали.

В 1947 году прошла денежная конфискационная реформа, которая до сих пор пугает при словах «Денежная реформа», потому что она была именно конфискационная.

Обмену подлежала не вся сумма имеющихся денег, а определенная часть, остальные деньги утрачивали свою ценность. На обмен давалась неделя, поэтому из магазинов скупались дорогостоящие вещи. И все равно на руках осталось очень много денег не обмененных. Но это не касалось крестьянских «накоплений». Крестьянство, как всегда, жило бедно. Одежда после войны вся обремхалась, попросту порвалась; телогрейка, в лучшем случае, одна на семью. Рассказывали об одной семье в нашей деревне, где были маленькие дети. У них умерла мать, отец ушел искать работу, трое детей: 2 года, 7 лет и 10 лет постоянно голодали. Увидев, что меньшей от голода перестал ходить, старшая сестра решила идти побираться за молоком в деревню: они жили на другом берегу Горевки. Девочка не сразу набрала каких-то продуктов. Но самое главное, она несла меньшему бутылку молока. Да вот, беда - река в этот день разлилась и перейти ее было не просто: только с льдины на льдину. Так она и сделала, подвергнув себя смертельной опасности. Но спасла от голода братьев. А там уже суслики пошли. Так все трое и выжили.

В 1947 году была отменена карточная система распределения продовольственных и промышленных товаров. Незначительно, но, тем не менее, с этого года ежегодно стали снижаться цены.

По «Плану Маршалла» США в это время оказывает помощь Европе, в т.ч. Германии. СССР и страны народной демократии отвергли помощь, не пойдя на определенные диктуемые уступки, и все досталось западным немцам. Поэтому так быстро разбогатела Германия! Дипломат Дж. Кеннан, работающий в то время в посольстве США в Москве, опубликовал в Америке в 1947 году статью о предстоящем распаде СССР. Но не сбылась тогда его мечта. Позже он много сделал для этого и, прожив 101 год, дожил до развала СССР. Так с 1947 года началась холодная война, которая продлится 44 года, 9 месяцев, 9 дней.

Цифра 47 появляется на прикладе автомата, изобретенного в этом году нашим земляком Михаилом Калашниковым: «АК-47».

В мае 1947 года отменена смертная казнь. (Действовало до 1950 года.)

Запущена вновь первая турбина Днепрогэса, разрушенная в войну.

На экраны выходит фильм «Золушка», который посмотрели 18 млн зрителей.

Во всех школах и библиотеках идут читательские конференции по книге Вениамина Каверина «Два капитана».

В Новосибирске открыт знаменитый ныне зоопарк.

Страна «заражена» спортом, физкультурой. Впервые стадион «Динамо» в Москве на футбольный матч собрал 54 тысячи болельщиков.

С этого года введено всеобщее семилетнее образование, открыты трехгодичные ремесленные (профессиональные) училища.

Впервые в СССР начинается выпуск сигарет «Прима». Выходит бестселлер «Книга о вкусной и здоровой пище».

...Июль 1947 года был самым дождливым месяцем за всю обозреваемую историю: за один месяц выпало 254 мм осадков, а за сутки 5 июля выпало 133 мм; 10 дней гремела гроза.

С 1947 года правительством вводился новый праздничный выходной день - Новый год.

В 1947 году страна отмечала 800-й юбилей Москвы.

Вот таким был год моего рождения. Нерадостное и бедное время. Это с точки зрения сегодняшних дней. А людям почему-то в той жизни было радостней, а тем, кому было 16-18 лет, и подавно, молодость брала свое: война окончилась, парни дома, вечерами у клуба шумно, а что бедновато, так время другое доказало: все есть, а жить - тошно. Кроме клуба было понятие - «улица». Когда собирались попеть, потанцевать, в деревне чаще собирались поплясать на сельской околице или просто на поляне и говорили: «Смотри, уже взрослая стала дочь, на «улицу» ходит». Или «Тебе еще рано

на «улицу» ходить!» Одевались бедненько, иногда вместо туфель ноги подмазывали глиной. Но бедны были все.

Кино привозили редко, но уже можно было посмотреть «Сельскую учительницу», «Тарзана», «Серенаду солнечной долины», «Багдадского вора», «Человека с ружьем», «Аршин-мал-алан», «Семеро смелых» и, конечно, «Чапаева». Когда этот фильм впервые показывали в Алейске, в села еще кино не возили, колхозникам давали подводы, чтобы ехали в город на «Чапаева». И с песнями, шутками сельчане прибывали в город в кино. Это было еще перед войной. Такое значение придавалось киноискусству. Позднее в каждое село приезжала кинопередвижка, а с 60-х в клубах поставили стационарные киноустановки. В каждом клубе сделали кинобудки.

...Мое рождение обрадовало маму как избавление от мук, от бремени. Для крестьянки тяжело выносить дитя. А если учесть, что этот период совпал с весной, летом и осенью, когда в селе и присесть некогда, станет понятным облегчение, которое испытала мама. Маме было в это время 39 лет, и дома ее ждали еще 4 детей. С марта 1943 года она была солдатской вдовой с пятью детьми, а в 1946 году вновь вышла замуж.

Для отца я была первым ребенком. Отец, Фомин Андрей Дмитриевич, до 1934 года жил в селе Корсакова Поляна Екатериновского района Саратовской области. В семье его было 6 братьев. Это была богатая трудолюбивая семья: ведь земля до революции давалась на мальчиков. Правда, с землей надо еще работать. Но братьям с детства была привита любовь к труду и любовь к природе. Все братья знали огородничество, садоводство, пчеловодство. Отец, например, с 10 лет водил пчел: сам поймал рой в лесу и развел свою пасеку. Дед, Дмитрий Дмитриевич, был знаменитым на всю округу костоправом, даже сегодня в селе живы люди, которым он правил вывихнутые руки, ноги. Как и все, Фомины в 30-х вступили в колхоз. Один из братьев, Михаил, был бригадиром в колхозе.

Но бескровная на первых порах революция продлилась на десятилетия и омылась большой кровью. После того, как в 1932-1933 году колхозные амбары вымели подчистую, в деревне началось сопротивление коллективизации.

20 марта 1934 года отец с братом Михаилом были арестованы и отправлены из родного села в Саратовскую тюрьму. Отец вспоминал, что по ночам тюрьма гудела: привозили все новых и новых арестантов. В тюрьме стоял стон, потому что допросы, пытки были именно по ночам. В детстве я не прислушивалась к воспоминаниям отца, считала, что он преувеличивает, что в нем говорит обида. Но потом в воспоминаниях Шаламова, Солженицына, Жигулина, переживших аресты, я нашла подобные факты. Пытали ли отца, он не говорил, говорил лишь, что они с братом не подписали протоколы с обвинением. Так поступить их кто-то подучил уже в тюрьме. Это спасло их от расстрела. Через две недели при выходе из тюремной бани им вручили узенькие листочки, сообщающие, что решением тройки ПП ОГПУ по Саратовской области от 4 апреля 1934 года они приговорены к десяти годам ИТЛ (исправительно-трудовых лагерей). Отец вспоминал, что ночью ему приснился сон: он потерял сапоги. И еще ему приснилась река с мутной-мутной водой. Этот сон он запомнил на всю жизнь. И всегда говорил, что потерять обувь или увидеть мутную воду - это плохой знак. А перед освобождением из заключения ему приснилась опять река, но вода в ней была чистая-чистая. Эти сны он рассказывал часто, поэтому я их запомнила.

Их повезли в теплушках на восток. Где-то по пути на одном из вокзалов их встречал Ягода и выдавали всем по килограмму конфет. Отец вспоминал, что Ягода показался заключенным добрым, обходительным. Культурным. Генрих Ягода в то время возглавлял Министерство внутренних дел. Через 4 года, в 1938 году Ягода будет расстрелян, пострадают 15 его ближайших родственников. Объясняют это тем, что, узнав о массовых репрессиях, Сталин обвинил в них Ягоду, Ежова. Возможно, дело было не в Сталине, Ягоде, а в местных органах, которым, якобы, мешали успешно работать английские, немецкие шпионы и заговоры. На самом деле за этим скрывалось неумение

руководить. На списках, подлежащих репрессиям по Московской области, поданных Хрущевым, например, Сталин написал: «Уймись, дурак!» Поди, разбери... Конечно, роль местных начальников в репрессиях более чем велика. Кого и сколько репрессировать - решали они.

... В конце 1934 года отца с братом хотели освободить, так как явной вины им не могли вменить. Да и суда как такового не было. Но в декабре 1934 года убили Кирова, начались новые аресты. И, как вспоминал отец, на Восток потянулись непрерывной лентой эшелоны с заключенными.

Родители отца в ночь ареста сыновей были вынуждены покинуть свой дом и уйти в соседнее село Турзовка, откуда родом была бабушка. Им было в это время чуть больше пятидесяти лет. Хозяйство их в Корсаковой Поляне было разорено, вещи растащены. Дом разобрали и из него построили колхозную конюшню. Я видела эту конюшню во время первой поездки на родину отца. Сейчас и конюшни нет.

Мать отца, Алена Лазаревна, урожденная Мамзитова. Фамилия эта - наследие татаро-монгольского ига. Но это сотни лет назад. Татар у нас в родне не было. В обозримом времени. Бабушка была высокая, статная голубоглазая женщина. На нее ходил дядя Миша, как говорил отец. Вскоре, не выдержав навалившейся трагедии, разорения большой и зажиточной семьи, она умерла. Не выдержало сердце. Отцу рассказывали: чтобы не плакать при людях (они ведь квартировали у чужих), бабушка гордая была и, когда спускалась в погреб за картошкой, была в нем дольше необходимого. Там она плакала и молилась.

Отец, спустя годы, часто пел песню, из которой я помню только строчку: «Мать на коленях перед иконой молилась богу обо мне...» Часто при этом плакал.

Семья была верующая, один из старших сыновей, Василий, служил регентом в церкви.

Дедушка, Дмитрий Дмитриевич, после смерти бабушки вернулся из Турзовки в родное село Корсакова Поляна и стал жить с младшим сыном Александром в чужом маленьком домишке. Приблизительно, дедушка и бабушка были с 1880 года.

Так, в одночасье, весной 1934 года для большой семьи Фоминых наступил трагический конец: всех их разметало, оторвало друг от друга навсегда.

Отец встретился со своим отцом только через 20 лет. Из братьев к тому времени был жив лишь Михаил. Какая ирония: ведь судьба только ссыльным в 1934 году братьям подарила долгую жизнь! Знаю, что Степан погиб на фронте, под Сталинградом. Его портрет при жизни отца всегда висел у нас на стене. Сейчас этот портрет хранится у меня. У дяди Степана оставалась жена Ольга и усыновленный мальчик, которого отец называл по-старинному «приемыш». Звали его Яков. Когда семья получила похоронку на Степана, Яков ушел добровольцем на фронт и тоже погиб.

Брат Иван тоже был забран по линии НКВД и не вернулся. Старший брат Василий почему-то не запомнился мне по рассказам отца. Говорил, что был грамотным, в доме стоял целый сундук книг, на замке от ребятишек. И в церкви он руководил хором. Брат Александр был инвалид по зрению. С ним и вернулся в Поляницу из Турзовки дедушка. Должно быть, в то время Александр был паренком лет 15-ти. Когда отец в 1954 году приехал на родину, у Александра было двое детей: дочь Анна и сын Василий. Но самого Александра в живых уже не было. Он умер молодым. Детей растила их мать-инвалидка по имени Мария и дедушка. Умер дедушка 8 ноября 1957 года. Дядя Миша прислал телеграмму: «Умер отец чти память 8 ноября Михаил». Вот это «чти» врезалось мне в память как незнакомое слово, старинное. Оттого запомнился текст телеграммы. Отец поминал отца по-русски: пил, плакал, много раз перечитывая телеграмму. Он вспоминал, как последний раз видел своего отца: это был маленький, худенький старичок, в котором едва угадывался бывший красавец, хозяин большого семейства с достатком и большим ухоженным хозяйством. По случайному ли совпа-

дению или по провидению, дедушка, Дмитрий Дмитриевич Фомин умер в день, когда церковь чтит память святого великомученика Дмитрия Солунского.

...Шел третий век христианства. Проконсулом Солуни был назначен Дмитрий, его главной задачей было истреблять христиан. Но он сам был тайным христианином и вместо гонений и казней стал учить людей вере христианской и искоренять язычество. Разгневанный император предал проконсула жестокой смерти - мужественного исповедника закололи копьями. Кровь мученика, собранная на полотенце, в будущем исцеляла больных. Тело святого великомученика было выброшено на съедение диким зверям, но христиане тайно предали его земле.

В работе над воспоминаниями мне приходилось часто обращаться к религиозным традициям, религиозным датам, так как это соответствует тому времени и исторически правильно, потому что старшее поколение жило по религиозному календарю и религиозным обычаям.

...В 2011 году я побывала на могиле деда и двоюродного брата Василия. Я пришла туда одна, нашла заросшую могилу с почерневшими и полусгнившими крестами, стояла и понимала, как поздно мы приходим к своим родным, которые сейчас, случись, мимо нас прошли и не узнали бы нас. Почему жизнь жестоко и неумолимо раскидывает близких людей далеко друг от друга? Насколько сильней была Россия, если бы семьи жили рядом! Здесь у могилы деда я подумала о том, что надо разыскать живых родственников, всех, независимо от степени родства, от поколения, увидеть их живыми. В этом продолжение тех, кого мы уже никогда не увидим. Я отчетливо поняла смысл слова «никогда». Но это к нам приходит, к сожалению, с годами.

...Я помню март 1953 года. Мне было пять с половиной лет. Отец лежит на кровати какой-то молчаливый, хотя он любил с нами, с детьми, разговаривать. Мамы нет. Отчетливо помню, что тишина в доме была какая-то непривычная. Я спросила у отца, куда ушла мама. Отец мне сказал: «В сельсовет, слушать радио. Умер Сталин». Когда мама вернулась, она рассказала, что все, кто слушал передачу о похоронах, сильно плакали. И она пришла заплаканная. Я понимала, что случилось большое горе. Интересно, о чем думал в тот момент отец? Вслух он ничего не говорил, хотя позже, в подпитии, часто клял Сталина. А иногда говорил: «Сталин мне жизнь сохранил, ведь погиб бы в войну». Но большой благодарности в его словах не было.

Весной 1953 в нашем селе случилось событие, которое помнится до сих пор и подобного больше не было. Это сегодня жизнь человеческая ничего не стоит. А тогда, несмотря на только что отгремевшую войну, когда похоронка обошла редкий дом и часто умирали больные старики и дети, насильственная смерть односельчанина потрясла всех.

Дело было на пасху. Стояла промозглая пасмурная погода. Этот религиозный праздник праздновали тогда в каждом доме: люди собирались компаниями с родственниками, сватами, кумовьями. Наши гуляли у тети Наташи Колупаевой, в то время сестра Мария жила с ее сыном Алексеем. К дому подошла группа молодых мужчин, называли Иосифа Миллера и Николая Минина. Ребятам было по 23-24 года, были женатыми, росли маленькие дети. Отец вышел поинтересоваться, что им надо в чужой компании. Отца они уважали, знали, что он был репрессированным и, как бы загладить вину своего бродяжничества по чужим гулянкам, сказали: «Дядя Андрей! Мы ищем коммунистов, на столбах их будем вешать!» Отец строго отчитал их: «Ребята! Вы прекратите болтать языком, идите к женам и празднуйте, как люди!»

Вроде бы послушали. Но, пошатавшись, ребята дошли до следующей гулянки, до Солодовых, где их просто стали выталкивать, и завязалась драка. Причем, безжалостная: дрались и мужчины, и женщины. Били пришедших незваных гостей. Когда обессилили, драка поутихла. Один из ребят, Минин Николай, был сильно избит и не мог сам идти, его взяли друзья под руки и повели.

В это время одна из женщин, увидев кровь на щеке у хозяина, сказала: «Володя! глянь в зеркало, как тебя сопляки избили!» На лбу действительно бежала струйка крови. Солодов выскакивает из избы, вырывает из изгороди кол, догоняет уходящих и бьет сзади по голове и так еле идущего Минина. ... Село замерло от трагедии произошедшего: односельчанин убил своего односельчанина. Такого никогда не было в нашем селе. Николай Минин был единственным сыном у матери, у него остался маленький сын и молодая красавица жена. Горе поселилось надолго в двух семьях: Солодову дали 9 лет строгого. В моей памяти смерть Сталина так и осталась воспоминанием ужаса, охватившего село после жестокой драки в апреле 1953 года.

В эту же весну как-то ранним утром, проснувшись, я вдруг вспомнила о смерти Николая Минина. В доме еще спали, было тихо. Я задумалась и вдруг поняла, что человек живет невечно. Он может умереть, исчезнуть и оставить солнце, поляны, речку навсегда. Как навсегда? А зачем жил? Я вдруг отчетливо представила, как мало мы живем и как «навсегда» нас не будет. Ужас охватил меня: меня не будет вечность! Все будет. А меня не будет никогда. Мне было обидно, будто меня обманули, будто тайну от меня скрывали. И помню страх от предчувствия смерти, словно я умираю сегодня. Так глубоко о смерти задуматься больше никогда не получалось, потому что не было уже такого первоначального понимания невечности жизни.

... Вскоре после смерти Сталина в зиму 1954 года отец поехал на родину. 20 лет прошло со дня ареста, 20 лет он не видел родных мест. Мы его начали ждать обратно, когда он еще был, наверное, в Алейске. Все маме говорили: «Он не вернется». Мама отмалчивалась, но не спала по ночам и часто вздыхала. Мне шел 7-й год, а брату - 5-й. Рано утром, еще по темноте, она уходила к соседям Мартюшовым, чтобы принести в старом ведре тлеющих угольков. Так было принято: сэкономились спички, ведь печь разжечь - не лампу. К утру в доме становилось прохладно, лампу не зажигали опять же из-за экономии керосина. За стенами литой из глины избенки бесновалась метель, которая, как мне кажется, дула в ту зиму каждый день. Мы просыпались от прохлады в избе и от гула пурги. Мама управлялась с небольшим хозяйством: корова еще не доилась, поросят порезали и, по-моему, уже съели. Днем она что-то шила, починяла. Мама не была певицей, но за работой всегда пела заунывные песни. Одна из них меня очень печалила. В ней рассказывалось, как казаки увезли из дома молодую девушку Галю. Мне ее было очень жаль, я чувствовала, как это страшно уезжать с чужими людьми из дома. «Ой, ты Галя, Галя молодая, обманули Галю, увезли с собою»...

Шло время, отец не приезжал. «Фомин приехал?» «Нет? Ну, он и не приедет!» Я представляю, как тяжело маме было это слышать.

Однажды под утро в замерзшее окошко кто-то постучал. Мама сразу сказала: «Это отец!» Она говорила после, что так стучал только он. В дом вернулась радость! Отец не привез богатых подарков, привез от дяди Миши пол-литровую баночку меда, который мы никогда не видели. Мы впервые в жизни попробовали, что такое мед. Мед был белый, крупиночками, очень душистый. Запах родины отца.

... В 1955 году в селе заговорили: «Целинники! Целинники!» К нам приехали, в основном, из Тамбова молодые ребята и девчата. Непохожие на наших, все рослые и очень солидные по поведению. Появились в селе трактора, машины. Комсомольцы-целинники сразу подружились с местной молодежью и взялись за постановку концерта. Ставили пьесы, пели песни, но на концерты не пустили детей, ввиду большого наплыва зрителей. Художественная самодеятельность среди взрослых, точно помню, началась именно с приезда целинников. Потом они постепенно переженились на наших девчатах, а девчата тоже выходили замуж за местных. Некоторых девчат впоследствии увезли с собой в Тамбов.

Степи вокруг села были все распаханы. В урожайный год зерна прибавлялось, но, к сожалению, такое на Алтае бывает нечасто.

Село наше по количеству работающих было небольшим, но работающим. Отчего это зависит? Не знаю. Но все села района отличались отношением к общественному труду. В одном, например, когда начиналась уборка свеклы, сначала «белорусными» тележками развозили по селу всем жителям, а потом работали на колхоз. В Горевке такое представить нельзя было. Совестьнее были, что ли? Славилась наши животноводы, получали хорошие надои, привесы. За это получали медали, ордена. На Доске почета можно было встретить Сапельникову Екатерину, ее мужа Михаила, Классину Гильду, Колодина Василия, Никишаева Василия, Скопичевского Николая, Долженко Ивана, Петракову Степаниду. Ленивых в селе не помню. Хотя, конечно, они были! Но как-то копошились все.

«Какие горевские дружные!» - говорили. Жили мы уже не в Горевке, а в соседнем селе, которое не объявили неперспективным и где сегодня доживают век мои земляки.

В 1956 году, зимой, отец с матерью ходили в школу на собрание. На нем проходило ознакомление с тезисами Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях». Я узнала это название позже, но частично запомнила событие опять же из-за необычного слова «тезисы». Такова особенность памяти. Я в это время училась в первом классе. Недавно попались стихи Татьяны Ребровой: «Нас 56-й застал за школьной партией, мы первой оттепели первая капель...»

В первом классе со стены над школьной доской был снят портрет Сталина.

...Среди моих родственников не было коммунистов. До меня. На меня не повлияли исторические изменения последних двадцати лет потому, что коммунистом я стала не из-за идеологии, не из-за «моды» или из-за карьерного роста. Я точно знаю, как только я стала учиться, погружаться в мир книг, а особенно в мир русской классической литературы, я поняла несправедливость устройства нашего мира. Учебники истории переписывают, кто как на душу положит - в них нет достоверного, в них нельзя искать правду.

Учебник истории не может являться учебником жизни. Его подравнивают под власть. Но какая идеология, какой исторический опыт может дать столько в формировании мировоззрения русского человека, например, сколько дают Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Достоевский, Чехов, Салтыков-Щедрин?!

Искания, заложенные в русской литературе XIX века, толкают и толкали миллионы людей на поиск лучшей доли и лучшей жизни. Литература как искусство в России (это всемирно признано!) - самая яркая, самая убедительная. Оттого в России свершилась социалистическая революция. Она готовилась всем ходом развития русской классической литературы. Именно литература «перепахала» людей. И новым идеологам капитализма: и бывшим «липovým» коммунистам, и «демократам» - надо вычеркивать из сознания людей, из истории не Маркса-Энгельса и не Ленина, а Пушкина. Пофамусовски: «Собрать бы книги все да и сжечь!»

*Толпа глухая,
Крылатой новизны любовница слепая,
Надменных баловней меняет каждый день,
И катятся стуча с ступеней на ступень
Кумиры их, вчера увенчанные ею.*

Это Пушкин. Совсем недавно прочитала, что режиссер Никита Михалков «обвинил» русскую литературу в разжигании революционного движения в России. Он прав. Впрочем, до этого об этом хорошо написал А. Герцен.

Все лучшее, что еще осталось в нас, в наших людях во всех республиках бывшего СССР - это привито нам советской историей, той жизнью, той моралью. И это несмотря на репрессии, войны, деньги! Есть унижительное слово «совок». Им называют людей «ранешнего» времени и всю советскую цивилизацию, пребывавшую в праведном

аскетизме. Но сегодня же ясно, что советский человек - это герой, исполин. Да, он жил без изысков, но его аскетизм был продиктован мыслью о будущих поколениях. Он ради них воевал, погибал, вкалывал, ради них затягивал пояс.

Я выбрала свой путь в 23 года и ни разу об этом не пожалела. Я шла по нему не одна, а с миллионами тех, кто служил, а не выслуживался, кто работал, а не хапал. Кто думал, мыслил, познавал, а не заглядывал в рот тем, кто сам не знал, зачем он здесь и другим не давал знать.

В 1974 году, когда стало ясно, что бюрократизм, чванство, самоуспокоенность погубили комсомол, написала письмо в «Комсомольскую правду». Конечно, неприятностей и непонимания, глухого и завистливого, нажила, но меня поддержали молодые люди со всех концов страны. Я получала столько писем! И высокие официальные - ЦК ВЛКСМ - поддержали. Только на местах все осталось по-прежнему. Именно тогда надвигающиеся 90-е для меня забрезжили своей неизбежностью. Я знала, как страшно заглянуть туда, куда я заглянула, когда писала ночью письмо в центральную газету. Ведь я понимала, что бюрократизм, сглаживание, приукрашивание были всегда необходимы не только большой, а в большей степени, маленькой власти. Уже были очевидны масштабы ревизии, которые предполагала надвигающаяся жизнь.

Мои политические убеждения «левые», социалистические. Политической партии, соответствующей моим убеждениям, нет, поэтому ни в какой из партий сегодня я не состою.

Теперь о Сталине.

Я хорошо усвоила, что любая власть - это жесткая система управления, в какие одежды она бы не рядилась. Почитайте Маккиавели «Государь»!

И чем больше устремлений, чем больше свершений, тем жестче она должна быть. Другого история человечества еще не показала: Чингисхан, Иван Грозный, Петр Первый, Александры и Николаи, Ленин, Сталин, Брежнев, Ельцин и т.д. Любое сопротивление ждут репрессии, большие или маленькие. Вспомните опять же пушкинский «Медный всадник».

А народное терпение пропагандировали не Петр Первый и не Сталин, а тысячи лет до них - Библия: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены».

В 2009 году Англия отмечала 500-летие Генриха Восьмого. (Фильм «Тюдоры»!) Это был властный, нравственно необузданный, нетерпимый к любым проявлениям несогласия с его политикой правитель. Почему же Англия его чтит 500 лет? Этот король много сделал для Англии в эпоху Реформации, приблизил ее к западным странам, слыл покровителем ученых, привлек на службу мыслителя-гуманиста Томаса Мора, сделал его членом королевского совета, посвятил в рыцари, назначил первым министром. Он надеялся, что Томас Мор, с его большим авторитетом, станет послушным орудием короля. Но когда Мор отказался принести присягу королю и не пошел против своей совести, он был арестован как государственный изменник. Напрасно ученый доказывал, что нет таких законов, по которым человека можно судить только за то, что он думает иначе, чем король. Нет, король не стал сжигать Томаса Мора, как других. Из уважения к нему, он приказал отрубить ему голову. А всего за время правления Генрихом Восьмым было казнено более 70 тысяч человек. Из шести своих жен двум он так же «по благу» отрубил головы. Если учесть население Англии в XVI веке, то это был настоящий террор против своего народа. Но Англия чтит своего короля за Реформацию. И Томас Мор напрасно писал: «С человеческой жизнью по ценности не могут сравниться никакие сокровища».

Часто ставят в пример Петра Первого, как истинного патриота. Кто с этим спорит? Так вот Петр писал: «С другими европейскими народами можно достигать цели человеколюбивыми способами, а с русскими не так: если бы я не употреблял строгость, то

бы давно не владел русским государством и никогда не сделал бы таковым, каково оно теперь».

Франция ежегодно отмечает День великой французской революции, проводит демонстрации, шествия к Бастилии. И государственный гимн, «Марсельезу», не меняет со времен революции, и государственный флаг не меняет с наполеоновских времен. В Италии диктатора Муссолини повесили, а памятник ему в Риме сохранили.

Показателен здесь опыт Китая и его отношение к Мао Цзедуну. Имя своего вождя они хранят в собственной истории по принципу «саньцикай» - 7:3, т.е. считают, что в его деятельности 70% положительного, а 30% - отрицательного.

Террор в стране можно развязать и без диктатуры, без репрессий, без тюрем, а тихо, просто «опустив» великую страну на колени.

Гражданская война, где воюют сосед с соседом, отец с сыном, брат с братом, где общество поделено на «белых» и «красных», развязано и сегодняшними «эволюционными» перестроениями. В 1985 году мне посчастливилось оказаться в морском круизе. Одной из 15 туристических групп, плывущих на теплоходе «Латвия», была группа из Чечни. Красивые, энергичные ребята и девушки, но через 9 лет мы окажемся по разные стороны в гражданской войне. 15 тысяч погибших со стороны России и сотни тысяч беженцев, а сколько со стороны Чечни, никто не называет. А ведь там гибли дети, старики, женщины - мирное население, не считая боевиков. Где были мои друзья-туристы? Страшно, если они убивали моих земляков, мальчишек 18-ти лет, оказавшихся в 1995 году в рядах российской армии и брошенных неумным министром обороны в самое пекло этой войны. Скорей всего, убивали.

У меня был шок, когда в декабре 1994 года в «Новостях» показали, как наши танки входят в Грозный. А через месяц пришел первый гроб в наш район. В январе 1995 года мы хоронили полгода назад ушедшего служить восемнадцатилетнего Женю Венцеля. Какой это был воин?! Пушечное мясо! Было какое-то оцепенение: ведь война не объявлена, а хороним с поля боя разорванного на куски, обгоревшего десантника. Была ненависть к собственному тыловому бессилию. «Почему пацанов отправили в бой? Мы, сорокалетние, безработные мужики играем в карты и пьем по кочегаркам, а детей наших послали на войну!?» - так справедливо и еще трезво матерились односельчане Жени.

«Чеченская мясорубка» была унижительной войной для обеих сторон. Казалось бы, повод покаяния для русских и чеченцев перед своими народами и друг перед другом более чем достаточный. Так нет, современных идеологов тянет в Ржев, в Катынь. Передо мной 4 современных учебника истории России, и среди дат в каждом есть упоминание: апрель-октябрь 1920 года - русско-польская война. И только. Нигде не упоминается жестокая расправа с пленными русскими офицерами и рядовыми, которых было захвачено в плен 200 тысяч: 140 тыс. погибли от издевательств и не вернулись из плена, сгинули неизвестно где. Места их братских могил в Польше поросли травой и бурьяном. И историки не рассказывают об этом, и не летят наши руководители государства в годовщину венки возлагать.

После революции Ленин на пароходах «отправил» цвет российской науки и культуры за границу. Но через 10 лет наука и культура в СССР получили небывалый расцвет.

А с 1995 года по 2005 год при демократии из России добровольно выехали лучшие умы, видя свою невостребованность. Тысячи продолжают уезжать. За 20 лет не было создано ничего значительного «свободными» учеными, художниками, писателями, композиторами. Космические корабли один за другим валяются в прямом смысле на головы россиян! Почему?

Так что же говорить о Сталине?.. Он такой же, как все, кто вершил и вершит великие дела.

...В 1934 году в СССР в ведении НКВД образовано Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения - ГУЛАГ. С апреля 1934 года осужденные отец и дядя «осваивали» богатства Восточной Сибири: строили железные дороги, валили лес. Брат Михаил был грамотней отца, он работал бригадиром, позже прорабом. По природе мудрый, рассудительный, предприимчивый, он был везде уважаемым человеком. Дядя Миша, как я его запомнила, отличался от отца начитанностью, у него в большей степени чувствовалась белая кость. Судьба подарила мне 4 встречи с ним, и все они были запоминающиеся. Дядя Миша хорошо разбирался в людях и как-то невысокомерно возвышался среди них: его сразу было видно и слышно, и не от громкого голоса, а по разговору. Речь у него была грамотная, некрестьянская, хотя и с саратовским диалектом. Он хорошо пел и любил, когда пели другие. Был он степенней отца, поэтому всегда ладил с начальством. Они с отцом были романтичными натурами, было у них в душе что-то лирическое, не стариковское, даже в старости.

Однажды, в октябре 1974 года, он неожиданно без телеграммы приехал к нам в гости. Не дожидаясь утра, он ночью пошел пешком из Алейска в Горевку. Еще по дороге, наверное, в Казахстане, он купил в гостинец арбуз килограммов на пять. Дядя Миша нес его в сетке, как он выразился, «на горбуше». Была поздняя осень, подморозило, идти было скользко и темно. Потом он смеялся над собой: арбуз поколотил до синяков ему спину за длинную дорогу. Но так, на порыве, поступить мог только дядя Миша. А было ему в то время уже 71 год. Где-то недавно прочитала: «Либо найду дорогу, либо проложу ее сам». Это о таких людях, как дядя Миша. Работал он садоводом, овощеводом на совхозном огороде. Был профессиональным охотником на волков, за что постоянно поощрялся местным обществом охотоведов. Рыбаком был превосходным. А какой ухой он нас кормил! Они с отцом были во многом похожи, но у отца, как он сам выражался, «грамотешки не хватало». Отец читал, но писал плохо. У меня хранится «Справочник по пчеловодству», выпущенный в 1937 году. Отец его купил, мечтая о свободе, о любимом деле в самые трудные дни своей жизни, когда было «до смерти четыре шага». На корочке есть адрес, написанный отцовской рукой: Камсамольск п/я 215157. Это был адрес последнего проживания отца и его брата Михаила.

«Когда я был на Дальнем Востоке», - так часто начинались отцовские многочисленные рассказы о жизни в заключении. В детстве у меня сложилось впечатление о той жизни отца, как о жизни, наполненной приключениями: о тайге, с ягодами и зверями; о больших сибирских реках, кишачими рыбой; об интересных людях-нанайцах. Отец вечерами брал в руки гитару, которую сделал себе сам из чьей-то старой, разбитой, подпав корпус фанерой, заменив почти все составляющие ее части, и пел. Ни радио, ни, тем более, телевизора у нас не было, и знакомство с музыкой у меня состоялось именно вечерами, когда отец, сидя на сундуке, пел песни. Без праздника и вина. Дрова или кизяки, а иногда и просто полынок, трещали в печке. Мама вяжет или прядет, мы с братом сидим на кровати, слушаем. Это были «Летят перелетные птицы», «Раскинулось море широко», «Солнце всходит и заходит», «Город Николаевск, там винный завод...», «Сижу за решеткой в темнице сырой...». Но самая любимая песня у него была «Есть на Волге утес...». Это понятно: вырос недалеко от Волги; двадцатилетним участвовал в строительстве знаменитого моста через Волгу в Саратове. Теперь я думаю, что для отца это были вечера воспоминаний о той жизни, как он выражался, «на Дальнем Востоке». Иначе, зачем эта гитара, песни в обстановке, совсем не располагающей к этому?... Но о чем вспоминать? О чем тосковала душа отца? Ведь для нормального человека там был ад.

Когда я получила справку о реабилитации отца и повезла ему, я подумала, что он скажет? А он сказал: «Обязательно, когда умру, положи мне эту справку в гроб. Пусть

бог знает, что я свой ад уже прошел на земле». Я не выполнила волю отца: бог и так все про нас знает и никакие справки для него не указ. Я оставила эту справку на память внукам и правнукам как урок.

Может, ада на небе нет, но на земле он есть.

*Минус сорок
Показывал градусник Цельсия.
На откосах смолисто
Пылали костры.
Становились молочными
Черные рельсы,
Все в примерзших чешуйках
Сосновой коры.
Мы их брали на плечи -
Тяжелые, длинные -
И несли к полотну,
Где стучат молотки.
Солнце мерзло от стужи
Над нашими спинами,
Над седыми вершинами
Спящей тайги.*

(А. Жигулин)

Отца уже не было в живых, когда я побывала на станции Волочаевской, от которой проложена железная дорога на Комсомольск-на-Амуре. Именно эту трассу прокладывали отец, его брат Михаил и тысячи заключенных. И они же отстроили станцию Волочаевскую. Она и сегодня, как памятник тому времени, живет в одинаковых домиках, спланированных подневольным архитектором. Спустившись с Волочаевской сопки, мы подошли к наблюдавшему за нами старику.

«Нет, я здесь в 30-е годы не жил, я в это время отбывал свой срок на Колыме. А вот старуха моя сказывала, что вон там стояли бараки», - он показал на восточное подножие сопки. Заключенных там было много, только в живых остались не все. Голод, цинга, холод. Нормальный человек это вынести не мог. Их возле всей дороги до Комсомольска лежат тысячи».

...Мы стояли на перроне станции Волочаевская. Мимо нас шли поезда, отстукивая, как метроном, мелодию памяти сотням, тысячам, полегших здесь, на этом неизвестном фронте, который убивал так же неумолимо, как тот, под Москвой и Сталинградом...

Именно эта железная дорога до сих пор связывает Россию с городом, который строили комсомольцы-романтики и заключенные.

Отец всю жизнь мечтал еще раз побывать на Дальнем Востоке. Объяснял: ведь там прошли мои молодые годы. И говорил, что он на просеках на деревьях делал зарубки, отмечая свое пребывание в этих местах, и мог с закрытыми глазами найти эти зарубки.... Но когда появилась возможность отцу съездить на Дальний Восток, он был уже стар.

...Отец постоянно вспоминал людей, с кем жил и работал в заключении. Это были русские, поляки, немцы, евреи. По его рассказам я понимала, что они были в большинстве своем умные, добропорядочные люди. Сильные люди.

*...Я пронес на плечах
Магистраль многотонную!
Вот на этих плечах,
Позавидуйте мне!*

(А. Жигулин)

«Магистраль многотонную»... Когда заговорили в 70-х о строительстве БАМа, отец сказал: «А начинали ее строить мы, заключенные, только об этом никто почему-то не вспоминает. И Тынду, и Чару».

Отец всю жизнь сравнивал с теми людьми теперешних его односельчан. Редко, с кем он сходил. Выбирал тех, кто сам что-то пережил. Среди них были, например, немцы из Поволжья и Украины, бывшие заключенные. В других людях он часто видел мелочность, корыстолюбие, слабость, неумелость, никчемность. Особенно отмечал это у больших и маленьких начальников. Он считал, что, допуская управлять собой духовно бедных людей, одержимых только властью, обогащением, мы позволяем им убивать в нас радость жизни, им совсем не доступную, обрекать людей на унижения. Мне это было непонятно. Понятно сегодня.

У отца трезвое несогласие могло вылиться в настоящий бунт, например, на гулянке. Гневу тогда не было предела. «По-русски рубаху рванув на груди», ударив кулаком по керосиновой лампе, он грозно вспоминал все накопившиеся обиды, каждый раз разные. Мы, дети, сразу убежали из избы. Драться он не дрался, но гнев его был страшен. Наутро мама зашивала очередную рубаху на груди и ворчала: «Все рубахи уже порванные!» «Нервы расшатанные! Думаешь, там быть двенадцать лет - это мед!?» - оправдывался отец.

А я часто защищала своих земляков от отца, как казалось мне, от несправедливой критики: «Тебе все плохие!» Но сейчас мне понятно, насколько отец был сильней, интереснее и умней тех людей. В трудную минуту люди именно к нему, безграмотному, шли за советом на любую тему. Он мог их многому научить, ведь вряд ли в селе был кто-то, кто столько умел и знал, кто столько видел и столько пережил... Хотя он всю жизнь проработал всего лишь плотником. Но жизнь отцу дала свою мерку ценностей, которой он не изменял до самой смерти. Эта мерка дается богом (а еще кем?!) тому, кто ее выстрадал.

...Прошло 10 лет заключения и тем, чей срок закончился, прокурор объяснил, что до окончания войны, а шел 1944 год, заключенные остаются на поселении. По воспоминаниям отца, все прокуроры, с которыми ему пришлось общаться, знали, что осуждены они по ложному доносу и часто у них вырывалось: «Я знаю, что вы невиновны...» Заключенных, чьи сроки уже закончились, оставили на поселении для возможного участия в войне с Японией в случае непредвиденных обстоятельств войны на Востоке. Надо сказать, когда началась война, отец рассказывал, все заключенные написали заявления о добровольном участии в войне. Но им было отказано.

Только 16 августа 1946 года, спустя 12 лет после ареста, братья Фомины, Андрей и Михаил, были освобождены.

После освобождения заключенным возвращаться на родину не разрешили еще в течение года. Сказали: «Вы ведь знаете, что попали сюда безвинно, приедете в родное село, найдете виноватых в вашем деле. И прибудете сюда уже как уголовники. Остыньте, начните новую жизнь».

...Отцу предложили: «Вот выбирай любое село или город на Алтае, останавливайся, устраивайся на работу и живи до особого распоряжения».

Пути братьев разошлись. Отец поехал на Алтай. А Михаил там, на Дальнем Востоке, женился второй раз на молоденькой то ли комсомолке, то ли заключенной, у них родилась дочь, и они приехали уже втроем, с маленькой дочкой Любой через год на Алтай. Но его саратовские дочери, Люба и Нюра, жившие с матерью и ждавшие его, стали писать моему отцу письма и спрашивать, почему их отец так долго не возвращается. Папа убедил брата вернуться к семье. Дядя составил разговор с молодой женой Лелей о том, что он возвращается в Саратовскую область, к семье. Леля, по рассказам мамы, очень любила дядю Мишу, на него была сильно похожа дочь. Молодая жена с маленькой дочкой уехала и исчезла навсегда где-то в большой тогда стране.

...Отец проезжал мимо Барнаула, мимо Калманки, мимо Топчихи и не сходил с поезда: не нравились названия станций. А название станции - Алейская ему понравилось сразу: ведь на букву «А». И он вышел из вагона.

Станция представляла собой богом забытое место. Болотистая пойма Алея, низенькие домики, правильнее назвать, избушки. Непролазная грязь после дождей и пыльный солончаковый ветер в сухую погоду. Все это после дальневосточных просторов и красоты таежных мест сразу нагоняло тоску.

Отец устроился работать кочегаром в «Главмука» - тогда главное предприятие станции Алейская, возвышающееся грандиозно на тогдашней окраине. Получил комнату напротив завода, на Первомайской улице, в двухэтажном доме. Сейчас этот дом снесли, но подобные соседние дома до сих пор целы. Комната была, по тем меркам, большая, высокая. Да и дом для Алейска, как небоскреб.

Отец зашел в комнату и, как впоследствии признавался, только здесь он почувствовал, насколько одинок, насколько оторван от прошлого, привычного, хоть и несвободного, но уже ставшего образом жизни. Его отпугивало непонятное, неопределенное будущее. Зачем я здесь? Как жить дальше? Всю ночь он думал: ему 36 лет, ни семьи, ни родни. Начинать надо с нуля.

Работа кочегаром - тяжелая, но для отца была привычная: бери больше, кидай дальше. Поразил запах свежего хлеба: время было голодное, и кочегары пекли его себе на обед. Чаще это были пресные пышки. После смены отец не пошел в пустую квартиру, остался ночевать в кочегарке. Напарник заметил, что отец был который день невеселый. После работы он предложил: «Чего, Андрей, тебе одному скучать? Пойдем ко мне домой!»

Так он больше не вернулся в свою комнату на улице Первомайской, а стал жить как квартирант в семье Моисеевых Егора Леонтьевича и Варвары Степановны в Мамонтовском переулке.

...Мама с родителями приехала в Алейский район весной 1919 года, когда ей было около 11 лет из Калужской губернии, Ульяновского района, села Госьково. Ехали целый месяц, стремились к посевной быть на Алтае, где обещали вольные хлеба. С ними приехало еще семей десять. Никишаевых прибыло на Алтай 4 человека: отец - Егор Андреевич, мать Аграфена Ивановна, урожденная Сенина; дочь Наталья, моя мама, с 1908 года, дочь Марфа, с 1912 года рождения, сын Афанасий, с 1915 года и здесь, на Алтае, в 1926 году у них родился сын Петр. При въезде в Савинку, именно туда направили переселенцев, из крайней избы вышел хозяин (это был Завалишин Григорий, по кличке Рыжий) и попросил отдать старшую девочку в няньки. За это он пообещал осенью пуд пшена. Маму посадили с повозки. Так она, не доехав до своего угла, оказалась в чужой семье. А ведь ей в эту пору не было еще и 11 лет. В моей памяти остались имена детей, которых нянчила мама. Это были Вера и Володя. В разговорах с мамой они часто упоминались. У мамы была очень хорошая память. Она нам, «безголовым», часто говорила: «Как же вы будете век вековать? Не понимаю, когда говорят: «А я забыла. Как это можно что-то забыть?!» Сегодня я поражаюсь, сколько притч из Евангелия помнила мама, хотя набожностью она не отличалась. Но икона дома была. Однажды мама увидела у меня репродукции картин Леонардо да Винчи и попросила одну на замену старой, видно церковной, уже выцветшей, размером с открытку. Эта наклеенная бумажная иконка изображала картины из жизни Христа. В религию нас тогда не посвящали, но детей крестили. Меня крестили в 6 лет в старой церкви в Алейске. Я это хорошо помню. Часто, становясь на стул, я вглядывалась в совершенно непонятный сюжет на иконе и пыталась прочитать сокращенные слова на старославянском. Одну надпись мне удалось прочитать: «Омовение ног». И еще там было написано: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Написано было на старославянском, я с трудом разбирала текст, но потом, знакомясь с Евангелием от Матфея, нашла эту фразу: «Где я встречала это выражение?» - и вспомнила, что на маминой иконе.

Мамины рассказы я воспринимала как родительские наставления. Например, мама всегда подавала нищим и наказывала не быть жадной: просит человек - дай, видишь - бедней тебя - помоги, не скупись. Она до последних дней привечала незнакомых, зашедших попить, цыганок с вещами, появившихся в пору дефицита, покупала у них какие-то несуразные вещи...

Мама часто вспоминала, что ее бабушка по отцовской линии ходила в Киев пешком, как уточняла мама: «Богу молиться». Это где-то в первой трети XIX века. Из Калужской губернии до Киева и только пешком. С собой сухари и вода.

Наверное, все притчи в маминой памяти были из рассказов ее прабабушки.

... Я предложила маме самой выбрать для обновления иконы репродукцию из набора открыток. «Вот эту!» - она выбрала «Мадонну с младенцем». Или ее называют еще «Мадонна Литта». Совсем недавно, когда мамы уже давно не было в живых, я долго стояла в одном из залов Эрмитажа перед этой картиной Леонардо да Винчи, всматривалась в краски, видимые мазки, сделанные художником более 500 лет назад. И вспоминала мамину икону, которая висела в углу родительского дома до последнего дня жизни родителей.

... Мама часто рассказывала о своем появлении на белый свет. Был жаркий осенний день. Аграфена, мамина мать, собралась вязать снопы, хотя вот-вот должна была родить. Поспела рожь. Здесь, на краю поля после полудня она и родила девочку. Пуговину перерезали серпом, завернули ребенка в фартук. И домой ее привезли на подводе уже вдвоем с дочкой. Это было 29 августа, по старому стилю, 1908 года. Назвали дочь Натальей, так как в церковном календаре на момент крещения был день святых Адриана и Наталии. Даже предположить нельзя было, что здесь же наречено и имя второго мужа, с которым она проживет 46 лет.

Северная церковь собора Василия Блаженного названа во имя Адриана и Наталии. А собор носит имя Василия, так звали первого мужа мамы, погибшего на войне. Вот такая вроде и случайная связь!

В 2011 году, как раз в месяц рождения мамы - август, я была в мамином родном селе в Госьково. И очень хотелось мне найти то поле, на краешке которого она родилась. Ведь оно никуда не делось, разве что травой заросло! Но никто мне, конечно, не помог найти то поле.

... В школе мама училась всего 3 месяца: с Покрова до Рождества. Вспоминала, что у всех учеников были целые карандаши, а ей отец купил дешевенький, поломанный, из-за этого перевязанный ниткой. Дед до конца дней слыл жадным, а карандашей тогда в России не выпускали, закупали за границей, только в 1923 году в СССР была построена карандашная фабрика. Поэтому до революции стоили карандаши недешево, что для деда, как он выражался, было «начетисто». После Рождества дед сказал, что хватит учиться, пора помогать дома. Мама ведь была старшая, к этому времени в семье родилась еще сестра Марфа. Бабушку в зиму дед отправлял под Москву, на торфяники, зарабатывать деньги. На торфяники уезжали обычно мужики - работа тяжелая, но дед никогда не ездил - любил кабак, карты. Когда проигрывался, был очень злой, бил бабушку и всех, кто попадал под руку.

... Мама, как только подросла, лет с восьми, стерегла лошадей наравне с мальчишками в ночном - в их семье больше было некому. Ведь из детей она была старшая.

Будучи в мамином родном селе, смотрела по сторонам, куда, на какие лесные поляны, луга гнала в ночное восьмилетняя девчонка? Вокруг села лес, лес...

Я очень люблю рассказ И.С. Тургенева «Бежин луг». События рассказа происходят в Чернском районе Тульской губернии. Это не так далеко от Ульяновского района Калужской губернии, где жила до отъезда на Алтай моя мать. Где-то в ста верстах по прямой. Картины природы, жизнь ребятишек в рассказе - все это будто из маминого детства. Это прекрасно описал Иван Сергеевич Тургенев. И вообще, с Тургеневым у калужан почти родственная связь, хотя, как известно, он был мужик орловский. Так

в рассказе «Хорь и Калиныч» он сравнивает особенности калужских мужиков с орловскими. Тургенева «поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой».

Вот как описывает Тургенев избу калужского крестьянина: «...В углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске».

И хотя я знаю, что у калужан не у всех так было: калужане делились на «белых» и «темных», и мои предки, скорее всего, были «темные», иначе бы не рванули на вольные хлеба в Сибирь, но строки о далекой прародине приятно читать.

Помню еще один эпизод из детства мамы. Он мне всегда приходит на ум, когда я перечитываю другое произведение - «Войну и мир» Толстого, который, кстати, уроженец тульских, недалеких от Калуги, мест. Вот эти строки: «...Две девочки со сливами в подолах, которые они нарвали с оранжерейных деревьев, бежали оттуда, и наткнулись на князя Андрея. Увидев молодого барина, старшая девочка, с выразившимся на лице испугом, схватила за руку свою меньшую товарку и с ней вместе спряталась за березу, не успев подобрать рассыпавшиеся зеленые сливы».

Революцию мама вспоминала с подобным эпизодом из своего детства: они с ребятами залезли в барский сад воровать сливы и груши. Знали, слышали, царя свергли, богатые должны все отдать бедным. Мимо проезжал кто-то из бывших господ. Дети испугались, но проезжающий помещик, посмотрев на «воров», молча отвернулся. У мамы этот случай остался в памяти навсегда. Она подчеркивала: «Революцию, когда Николашку свергли, я хорошо помню!».

А недавно стала перечитывать И. Бунина. Он уроженец Орловской, соседней губернии.

Я читала рассказы, внимательно вчитываясь в язык, говор бунинских героев и все больше и больше обнаруживала родные выражения и слова, что помнила с детства: забрухала (о корове), развели сажи из печки, заострили спичку (так писали), «была у меня стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла и истаскала его наизнанку» (мама не любила яркие платки и часто носила их наизнанку), «носят темно-лиловые паневы с позументами» (также описывала «ранешнюю» одежду и мама); «пока доедешь до этой усадьбы уже совсем ободняется», «волк коню не свойственник»; «перекрещусь» (мне долго резало слух «перекрещусь», «крещеный»; «хрестная» - было ближе с детства), «будылястый» (худой, костистый, «длиннобудыльный») и т.д. Как будто с мамой поговорила! Но у Бунина есть и негативное описание калужанок в «Суходоле»: «Осенью пригоняли на косьбу, на молотьбу калужских баб и девок, которых звали за их пестрые сарафаны «распашонками»... Они были грудасты, охальны и дерзки, ругались скверно и с наслаждением, прибаутками так и сыпали, на лошадь садились по-мужичьи, скакали, как угорелые». Не вырубишь топором...

В детстве мне нравилась картина К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Там девочка несет маленького мальчика на спине. Дети испуганно оглядываются, они уже слышат раскаты грома. Но девочка не бросает корзинку с грибами, за которыми ходила в лес. Мне эта картина напоминает рассказы мамы о том, как ей, восьмилетней, было нелегко нянчить толстого младшего брата Афоню, приходилось его брать с собой за ягодами, за грибами. Помню, она рассказывала: «Посажу Афоню на яблоню, а сама за яблоками, а он свалится с сучка на землю, плачет...» Я всматриваюсь в картину, в лица, в одежду детей, другие детали на картине и чувствую с картиной какую-то тесную кровную связь.

...Село Госьково осенью 1941 года спалили танки Гудериана. Здесь шли тяжелые бои, враг рвался к Москве с юга. Потом село было отстроено, но уже на новом месте, на другом берегу речки Вырки.

Свою родину мама часто вспоминала: любила рассказывать о лесе (с лесом в Горевке, как говорится, напряженка!), где знала каждую ягодную полянку, каждую грибную куртинку. Всегда подчеркивала, что очутись там, и сейчас их нашла бы! В этом они соревновались с отцом. Так и слышалось: «А у нас, помню...». Интересней жизнь в детстве получалась у отца: «Да что у вас в Калуге? До сих пор, я слышал, ходят в лаптях». «Ну и что! Да лапти самая здоровая обувь: легонькие, сухонькие», - не сдавалась мама. Так и спорили они всю жизнь - два, оторванные от родной земли, человека...

...Уехав из Савинки поближе к своим земельным заимкам в годы, когда еще жили единолично (в 1919-23 годы), калужане и другие переселенцы обосновали вдоль речки Горевки поселок, который так и называли - Горевка. Название, скорей всего, взято не от слова «горе», а от слова «гореть». В раннем детстве я слышала, что раньше вокруг Горевки были рощи, но они исчезли. Может, нужны были пашни и рощи, поэтому корчевали, сжигали. Хотя рассказывали и другую историю: речка Горевка была глубокой, широкой и разливалась по весне внезапно, наполняясь водой из многочисленных логов. Через реку проходила дорога на Боровское, Мамонтово из Алейска. Мост в разлив в одночасье сносило и люди оставались надолго отрезанные на другом берегу. Сокрушаясь, говорили «Вот горе, такое горе!»

Все это было, но связь названия реки со словом «горе» маловероятна.

Поселок сначала заселили и заняли лучшие земли переселенцы из Украины. Но хотя село основали выходцы из Украины Мазко, Кравченко, Лисицкие, Шимковы, Луценко, Криуля и жили в нем не только переселенцы из Калужской губернии, жителей Горевки стали все звать почему-то калужанами. В Горевке мама вышла замуж за односельчанина Соленова Василия Степановича, 1906 года рождения, уроженца Тульской губернии Богородицкого района деревни Кибень. Вышла замуж молодой, в 17 лет. Василий Степанович пропал без вести в войну под Сталинградом, в марте 1943 года, оставив вдовой с 5-ю детьми.

...Первая из живых детей была дочь Мария (1929 год), затем родилась Катя (1934 год), затем - Вера (1936 год), Коля (1938 год), Петя (1940 год, умер в августе 1945 года).

...Мама в сентябре 1946 года приехала в Алейск к Моисеевым занять до «новины» зерна или муки: в доме кончился хлеб. Была она исхудавшая от забот и недоедания, невеселая, говорила мало. Варвара Степановна Моисеева была сестрой ее погибшему мужу, поэтому мама надеялась, что они помогут. Может, хоть отрубей каких на болтушку ребятишкам. Когда она уехала, квартировавший отец спросил: «Что это за женщина?». Ему объяснили. Позже он всегда подчеркивал, что ему стало маму жалко, но и, наверное, понравилась она ему с первой встречи.

С лета до зимы отец ходил пешком в Горевку, что-то помогал большой семье по хозяйству, а потом они решили пожениться. 19 января 1947 года, на Крещение, у них был вечер. Собрались родственники, соседи. Сестра Вера вспоминала, что она на «свадьбе» плясала. Значит, и гармошка была. К их браку все относились настороженно, каждый что-то советовал. Все предупреждали маму: как бы «жених» не сбежал, столько у тебя ребятишек, смотри, баб молодых, без детей, полна Горевка. Брат мамы Афанасий, фронтовик, мудрый мужик, убеждал, чтобы она не вздумала еще рожать детей. Позже Афанасий с отцом подружились, только жить Афанасию оставалось чуть больше двух лет: в посевную 1949-го года он попал под плуг и погиб. Всю войну прошел от Москвы до Берлина, а без войны прожил всего 4 года, оставив жену с тремя малолетними детьми. Да еще в семье жили две сироты: племянник тети Лизы Василий и дядина племянница Нюра. Отец его часто вспоминал и очень жалел о ранней смерти Афанасия.

Горевские женщины относились к отцу с симпатией: был он черноволосый, высокий, «здоровый», как говорят о весе и росте в деревне.

...На гулянках после войны женщины пели всегда печальные песни. И все плакали, каждая о своем, утирая уголком белого платка слезы. Но пели не останавливаясь: слезы

бегут, а голос не дрожит. Говорят, так плачут от большого горя. И как было не плакать при песне «Сронила колечко...», если почти все они были вдовами. Эти песни со слезами на меня навевали такую тоску, такое недетское горе, что я иногда боялась того момента, когда говорили: «Ну, бабы, давайте споем!» Не любил этих слез и отец. «Пусть бабы плачут, а ты почему плачешь?» - говорил он маме, будто и не было у нее жизни до отца, а ведь до войны она прожила с Василием 16 лет. Значит, и его Наталья вспоминает довоенную жизнь, значит помнит и жалеет о ней. Бах - по лампе, хрясь - рубаха!

...В больнице акушерка Таисия Дмитриевна предлагала назвать меня Октябриной - в такой праздничный день родилась. Мама ничего не ответила, но подумала: только телят называют по месяцам - Марта, Майка.... И дома стали звать Валею. 21 ноября, через две недели после рождения, отец пошел в сельсовет выписывать «метрику» и услышал, что сейчас называют Любами, Людами. Вот Николай Иванович Тарасенко, председатель сельсовета, назвал свою дочь Людою. Тогда отец решил, что я буду Любою. В Европе человек имеет несколько имен, спасаясь от несчастий и болезней. Так что я, наверное, от рождения застрахована от всех напастей. Попробуй, найди меня: Октябрина, Валентина, Любовь?

...Первый раз после рождения меня вынесли на улицу только весной, наверное, в мае. Закутали в старенькое одеяло и кто-то из сестер вынес. Мне было 7 месяцев. Как рассказывают, увидев впервые небо, я так испугалась и закричала, что пришлось снова занести. Потом стали выносить, закрывая лицо уголком одеяла и постепенно приоткрывая. Но все равно, как только я поднимала глаза к небу, начинала плакать от испуга. Низенькая избушка, тесная для семерых обитателей, здесь же еще тележок до весны - для меня это уже была среда обитания, привычная за 7 месяцев. Еще мама вспоминала, что месяцев в девять высыпала по мне какая-то сыпь. Рядом жил «грамотный» в медицине дядя Гриша Мартюшов. Он посоветовал искупать меня в череде. Надо сказать, что у деревенских людей травы называются не по-научному, а по-своему. Мама не знала, что это за трава «череда», в Шмараевом логу нарвала каких-то синеньких цветов и выкупала. Все прошло. Потом разобрались, что череда - желтая, а это совсем другая трава. Такие сплошь лечебные травы росли вокруг, такая экология была! А сейчас, чуть что - аллергия на цветы...

...Из самого раннего детства помню, как из старой усадьбы, из избушки внизу огорода (сейчас там растет ветла), перетаскивали ларь под зерно. Он у нас потом стоял в сенях, пока родители были живы. Ларь переносили в новую избу, которую построил отец, хотя это трудно назвать «стройкой», как говорили деревенские, «сгондобил», слил из глины, соломы, повыше бывшей хаты, на пригорке, чтобы меньше было сырости. Строиться при такой нищей жизни было трудно. Ни дерева, ни кирпича, ни цемента не было, люди ютились в землянках, которые наполовину вырывались в землю, а потом надстраивались пластами земли. Как можно дешево построить жилье на земле, а не в земле, односельчан научил отец. Выстраивались леса: доски, прожилыны, горбыли собирали со всего села, у кого-то одного их не было - послевоенная нищета. У будущего жилья рыли до желтой глины яму. Благо, на наших буграх она рядом. Эти ямки до сих пор виднеются на месте исчезнувших домов. В середине ямы оставляли островок, на нем стоял погонщик лошади, которую он направлял по кругу, когда готовили глину для мазки. А сначала бочками возили воду и выливали в яму, мешая специальными мутовками. Между закрепленными досками закладывали солому, затем лили на нее жидкую глину, а десятки женщин становились рядами здесь же в эту глину, солому и трамбовали ногами. Так лили избу. Это делалось всем селом, потому что труд это был невероятно тяжелый, называли это коллективное действие «помочью». Чтобы успеть за лето подготовить жилье в зиму, иногда лили в один день две избы. Муж шел к одним на «помочь», жена к другим, чтобы по-справедливости помочь односельчанам, тем более что все в маленьком селе были друг другу родней, кумом, сватом.

Вечером накрывались длинные столы, ставилась нехитрая летняя закуска: картошка, лук, квас, яйца, сметана, если кто смог собрать молока, сдавая почти все на мо-

локанку для выполнения плана. Учитывая тяжесть труда, рубили кур, резали овцу. Из спиртного - самогон из свеклы. Он был у всех разный: крепкий - слабый, мутный - светлый, вонючий - приятный. Это зависело от хозяйки. Что интересно, сельские пивуны знали безошибочно, по запаху, чья самогонка. Пили немного и небезобразно, а гуляли очень весело. Со стороны можно подумать, что это свадьба. Поздним вечером над селом раздавался звонкий голос тети Дуси Бахваловой, которая частушек знала, не переслушать! По-моему, она их сама сочиняла! Если кому рассказать про ее жизнь с раннего детства, там кроме горя и страданий у сироты не было ничего. Но столько в ней было задора, смелости, веселья, что все забывали о ее доле. Часто ее называли именем знаменитой частушечницы - наша Мария Мордасова.

На утро всех ждала работа в колхозе, и никто не прогуливал, не ссылаясь, что в выходные «лили» избу.

Такой же «помочью» мазали потом просохшие литые избы и готовили кизяки к зиме. Что такое уголь - никто тогда не знал: поэтому избы лили небольшие, но чтобы было не меньше двух комнат - это было уже по-современному: «прихожка и горница». Раньше избушки были из одной комнаты, без всяких кухонь, спален. Большие избы было трудно протопить. Я помню, отец из Алейска привез что-то в мешке. Потом достал черный камень и сказал, что это уголь. Я смотрела и не понимала, как же его зажигают? Наши печки не были приспособлены под уголь, плиты не выдерживали - трескались, от раскаленных примитивных труб загорались крыши. Случались пожары. И, самое страшное, многие угорали, особенно дети. Ведь раньше даже печь, где пекли хлеб, топили лишь кизяками, а грубку, как повседневное отопление, полынком, катуном (известное растение «перекати-поле») и соломой. Зато естественное, а не углеродное, отопление было полезно для здоровья: ведь дым был не ядовитый, нежный, с запахом сена, горечи полыни. Им лечиться можно было.

Село на удивление жило дружно и с традициями, крепившими эту дружбу. Например, перед пасхой знали, у кого корова не отелилась и нет еще к празднику молока. Надо помочь. Помню, как-то нам приносили в ведре (банок не было) молоко не близко от нас проживающие односельчане Рассихины. Давали также яйца, если у кого не было кур или еще не занесли к пасхе. Психология сельских людей сегодня изменилась: кто сейчас беспокоится, есть что на праздник поставить на стол у соседней? Другое дело, осудить, если - нечего. А если у тебя еще много всего, то, кроме гордости за себя любимого, ничего не испытываешь. И это началось с появлением достатка. «К черту сытость, верните прошлое!» - воскликнул однажды Ф. Абрамов. И он прав: богатство, даже небольшое, оказывается, портит человека. И в селе богатых всегда не любили, хотя это и не совсем правильно: бедными становятся не всегда от безысходности, здесь много разных причин. Но богатство всегда обрастало несправедливостью, а через какие-то темные дела предков. Поэтому в революцию это выплеснулось гневом и на честных тружеников, и на настоящих эксплуататоров. Стихия разбирать не стала и под эту гребенку уничтожала истинных работяг и умельцев. Горевские старожилы до сих пор помнят семью Кравченко, которая была раскулачена и выслана в Нарым. Ее со спезами до Алейска провожали односельчане и потом вспоминали о них как о хороших хозяевах, особенно на фоне новых неумелых организаторов и руководителей, у которых хозяйской жилки не было, а власть ведь любят все. Роцу в Горевке до сих пор называют Кравченковой, потому что в ней была пасека Кравченко, да и земля принадлежала ему, когда жили единолично. Владимир Григорьевич Кравченко - хозяин двора. В семье у него с женой Марией Ивановной было 5 детей. Они имели свой сельхозинвентарь, большой дом, много домашнего скота, пасеку. Конечно, у него были деньги и золотишко. В 1930 году их раскулачили: дом забрали под клуб (в нем прошли наше детство и вся наша юность), хозяйство, что под нож, что в колхоз. Свои сбережения Владимир Григорьевич, в основном это были золотые изделия, спрятал в специально сшитый и вроде бы безвинный пояс и одел его на сына Ивана, которому

было 11 лет. При обыске ни денег, ни золота не обнаружили, а Ивана с тех пор в семье звали «золотой мальчик». Этот мальчик в ссылке окончил школу и поступил в Томский университет (деньгигодились, в том числе и на учебу!) на физико-математический факультет. Со 2-го курса ушел на фронт, где был топографом, поскольку был грамотный. Был ранен, контужен. Он полностью потерял обоняние, сильно простудившись, когда усталый, после боя, вместе с однополчанами уснул в каком-то болоте. Проснувшись, обнаружил, что примерз к земле. А после войны вернулся все-таки на родину, на Алтай, стал учить детей физике в школе № 1 города Алейска, окончив Барнаульский пединститут. «Золотой мальчик» был уважаемым человеком в городе, его очень любили дети. Но военные годы дали о себе знать. Иван Владимирович умер в 52 года.

Мать его умерла еще в ссылке, а отец, хозяин некогда большого хозяйства в Горевке, Владимир Григорьевич Кравченко, прожил 80 лет. Семья Кравченко очень любила приезжать в Горевку. Трудно представить, что они чувствовали, глядя на знакомые места. Об этом уже никто не узнает. Как часто говорил мой отец: «Судьба играет человеком».

Возвращаюсь к первым детским воспоминаниям.

...Всей семьей наши перетаскивали большой деревянный ларь для зерна в новую избу. Остался в моей детской памяти, как вспышка, яркий летний день: тепло, солнечно. Помню, что остановились, чтобы передохнуть на тропинке, по которой мы ходили в огород и к колодцу, пока жили в Горевке с 1950 по 1979 год. Нечаянно придавили ногу старшей Марии. Слабо, но помню: все переживали, шумели. Потом, наверное, и сама Мария не помнила этот случай, а мне он врезался в память. Мне было года три. И то неполных.

А в полтора года со мной произошел трагический случай, вернее, чуть не ставший таковым. Я этого не помню, конечно, но в семье это часто вспоминалось. Летом, когда «топтали» вывезенный со двора навоз, который накопился за зиму, разбрасывали кругом, поливали и делали из него огромную лепешку. Когда лепешка высыхала, ее рубили на квадраты сделанным из лемеха секачом. Получались кизяки, их складывали в пирамиды - сушили, переносили во двор, потом топили всю зиму печь. Дети любили стоять возле печки, когда печка только начинала теплеть, сквозь щелки было видно, как весело плясали язычки пламени. В те долгие буранные и морозные зимы печка была центром жизни во всех избушках.

Тут и я подошла погреться, полюбоваться огоньками. И вдруг раздался взрыв: кружки, плита - все взлетело от взрыва. Со мной рядом сидел дядя Миша (он еще не уехал в Саратов). Дядя резко за платье в мгновение отдергивает меня от огня и спасает мне жизнь. Оказывается, во время вывоза навоза у него выпал из кармана патрон, он его долго искал и не нашел. А патрон остался в кизяке. От температуры он взорвался.

...Помню, как-то к осени отец пошел собирать муравьев: сильно болели суставы и спина и кто-то посоветовал набрать «мурашей», благо муравейники попадались в ту пору часто. С собой он взял меня. Шел мне 5-й год. Дальше помню, мы сели отдыхать где-то в районе рощи за речкой. И вдруг я вижу, вдоль моей вытянутой ноги, обутой в кирзовый сапог (резинные отец не разрешал покупать детям: ноги будут болеть) ползет змея. Отец меня хватает в охапку, а на змею наступает сапогом. Эта картина так и врезалась в память.

...В зимние дни, когда на улице еще не ходили, не в чем, сидели у окна и смотрели на дорогу: там по заречному склону, по белому снегу санные повозки чернели одна за одной. В то время дорога на Дружбу, Боровское, Мамонтово проходила через Горевку. Тогда казалось - это дорога в дальние страны.

Почему-то запомнился еще один день из раннего детства. У сестры Марии был сын, которому было чуть больше года. Он простыл и заболел. Вскорости умер. У меня в памяти остался маленький гробик, который нес на полотенце через плечо, обхватив рукой, мужчина, говорят, это был его крестный, вскоре погибший, Николай Минин. И мы, ребяташки, бежали за гробиком.

...Жили мы на краю села через огромный лог Шмарай. Кстати, такой же лог я увидела в маминем родном селе Госьково в Калуге, и подумала: мама всю жизнь прожила у оврага.

А я с ранних лет полюбила кино. Еще в школу не ходила, а в кино надо идти. Детских сеансов не было, и кино начиналось не раньше 10-ти часов вечера. Помню, брат Коля собирается в кино, вернее, делает вид, что никуда не собирается, чтобы я не потащила за ним, ложится вроде спать. А я караулю, знаю, ждет, чтобы я заснула. Как только он пошевелится, я тут как тут. Ладно, в клуб он меня еще возьмет, но после кино - «улица», танцы под гармошку, девчата, а ему надо меня вести домой такую даль. Мама вспоминала, что не засыпала, пока не услышит топот моих босых ног за окном. Коля меня проводит немного, а потом бегу одна через овраг, душа в пятках. Но кино любила без памяти. Читать в то время не умела, а интерес к знаниям уже проснулся.

Кино - это отдельная история из жизни ребятешек 50-х. Ведь в селе еще не было электрического света, радио только в сельсовете. Как только показывалась брочка с киномехаником, с банками, где была кинолента, «движком» - генератором электричества, по дороге с Ильинки - в Горевке начинался праздник. Начинался он с трудовых обязанностей. В этот вечер детьми особо добросовестно поливались огороды: мать за это даст, а верней, найдет в только ей известном месте деньги в кино: 50 копеек стоил детский билет (после реформы 1961 года - 5 копеек). Источниками этих мест часто были теплые свежие яйца из куриного гнезда. Их нужно обменять в магазине на деньги. Но, по-моему, даже просто яйца за билет киномеханик принимал. Взрослые, устав от дневных забот, непостоянно посещали кино летом, но были и среди них настоящие киноманы. Рядом с нами жила тетя Лена Шатилова. Жила бедненько, но кино для нее было святое, чем вызывала критику блюстителей деревенских порядков: «Ленка опять потащила яйца в магазин! Наверное, кино привезли». И радиоприемник «Новь», и патефон она купила первая в селе, хотя жила, повторяю, бедно. И мне приходилось у Шатиловых слушать первые в своей жизни радиопередачи, за что я уважала тетю Лену и не понимала отца. Даже не знаю, почему он не стремился купить радио, а позднее, телевизор. У нас радио появилось в 1959 году. Называлось «Родина», работало оно от двух батарей, которые ставились здесь же на стол. На ужин у Шатиловых часто была картошка с «вшивчиком» - это такой степной лук, который ее дочки собирали на бугре, выше наших изб. Из колодца (это вместо холодильника!) доставалась литровая банка молока, именно литровая, холодная, влажная банка - хорошо помню, и молоко она у кого-то покупала: коровы у нее не было. Я вкусней еды не представляла. Ждала подружку Нину, пока она обедала, а у самой текли слюнки. Меня иногда сажали за стол, а летом они ели прямо в сених, постелив какую-то дерюжку. Помню, тетя Лена изредка говорила: «Любк, вы дома это же едите? Поди, всего на столе полно! Принесла бы помидорчиков!» Я не понимала, как могут какие-то помидоры сравниться с картошкой и «вшивчиком»? Бегала, приносила в подоле помидоры. Я любила свою необычную соседку! В детстве я страсть как любила ходить в гости: к Шатиловым, Посерковым, Петраковым, Никишаевым, Рассихиным, позже, к Колодиным. Мне было скучно дома, жили мы на отшибе, который образовался после отъезда многочисленных соседей в Алейск, а я была очень любопытная, мне надо слушать новости, разговоры о прежней жизни. Мне все было интересно. Кроме отца и матери, да изредка приходившего Александра Ивановича Селиванова, коллеги отца по плотницким делам, жившего на другом берегу лога, у нас никого не бывало. По праздникам родители уходили «на деревню» в гости, мама часто ходила за новостями в магазин. У вернувшейся матери отец спрашивал шутливо: «Ну, что бабы говорят, война будет или нет?»

В кино, кто поближе жил к клубу, шли со своими самодельными табуретками: лавок на всех не хватало. Здание клуба - бывший дом раскулаченного Кравченко, не умещал всех желающих. И в дверях стояли, и в окно глядели, если не на что купить билет.

Приходили обязательно с семечками. Сидели плотно, весь пол закрыт ребятишками. Право у детей на место на лавке появлялось лет с четырнадцати. Тогда занимали место заранее, но если не хватало места взрослым, уступали. Кинобудки не было, аппарат ставился на стол здесь же в зале.

Во время сеанса зрители бурно обсуждали события фильма, отпуская шуточки, делая замечания, дружно смеясь. Мальчишки, наверное, из рассказов участников войны, научились различать орудия, машины. Самые головастые кричали: «Огнеметы! Минометы! 34-ка! «Студебеккеры!» Фаус-патрон! «Катюша!». Нам, девочкам, было непонятно это, и мы чувствовали уже тогда большую разницу между нашими интересами. В то время она была именно в этом. Курили взрослые часто здесь же, поэтому световая дорожка от киноаппарата до экрана курчавилась от дыма. Курили чаще самосад или махорку «Варшавскую», сигареты «Ракета», «Махорочные». Этот ассортимент стоил копейки. Молодежь, как ни странно, курить начинала рано, но начинала она со мха, который мальчишки дергали из пазов деревянных построек. Из-за отсутствия средств на махорку. Но украдкой, боже, избавь, если отец или мать увидит!

Иногда фильм прерывался неполадками в киноаппарате: то лампа сгорит, то кинолента порвется, то движок заглохнет. В «Затесях» В. Астафьева прочитала похожее о послевоенном кино:

«... Но вот еще обрыв в прах изношенной ленты, хуже того - замолк движок за стеной, не слышно жизнерадостного попукивания его обгорелого, тракторного выхлопа. Народ терпелив, тихо переговаривается в полной тьме... Час проходит, другой начинается - нет кина. И никто не объясняет, будет ли оно. Тоскливо. Но публика не расходит...»

Нередко сеанс переносился на другой день. Надо было сохранить билеты и приходиться завтра.

Часто зимой перед кино были танцы. Играл сельский гармонист (я помню, это были Александр Грошев, Александр Савин, Василий Никишаев). Девчата выходили в круг перед самым экраном - больше места не было. Публика дружно включалась в обсуждение танцующих девчат, кто как одет, как танцует. Подбирались кандидатуры в невесты сыновьям, чтобы дома за ужином похвалить девку, вроде ненароком. Ребята не танцевали, стеснялись обширного жюри, по крайней мере, я не помню этого.

Из мелодий помню одну: «В Кейптаунском порту». Ее переделали и пели на свой лад:

Старушка, не спеша, дорожку перешла...

А вообще-то, песня была про 14 моряков, про французский браунинг и роковую женщину, из-за которой они погибли...

У них походочка, как в море лодочка...

Из киномехаников помню многих, но больше всех был киномехаником Коля Раксин. Он был наш, горевский парень, из самой большой семьи. Иногда он оставался на несколько дней дома и ставил кино повторно на следующий вечер. Такое было с фильмами «Веселые ребята», «Мистер Питкин в тылу врага». Фильм «Мамлюк» я смотрела раз десять, помню до сих пор героев - грузинских мальчишек Хвичу и Гочу. В «переживательных» фильмах зрители (и взрослые, и дети) плакали. Убийств в фильмах было мало и если погибал главный герой... Помню, «Бродягу» показывали на улице (дело было летом) на стене школы: иначе не помещались в клубе зрители. Слез по бродяге было море, хотя и своих «бродяг» после войны было немало. Раджа Капура, индийского артиста, в деревне все знали, как соседа. «Чапаев», «Волга-Волга» - эти фильмы шли в амбаре, а иногда также на улице. Одним из первых фильмов помню «Садко» (1952 г.), «Анна на шее» (1954 г.), «Укротительница тигров» (1954 г.), «Чужая родня» (1955 г.) Много фильмов было про диверсантов, шпионов: «Над Тиссой», «Застава в горах», «Случай с ефрейтором Кочетковым». Нас особо пугали афиши, где в скобках было написано: «До

16 лет не допускаются». Обидно, когда тем, кому уже было 16 лет, шли в кино, а кому не хватало до 16-ти даже месяца, в лучшем случае, стояли под окнами. В деревне ведь все дни рождения знали. Но фильмы запрещались безобидные, не те, где была порнуха или чернуха (их тогда ни в США, ни в СССР не было), а те, которые содержали чуть больше любовной жизни, сложных любовных отношений, которые, считалось, будут непонятны для тех, кому нет шестнадцати лет. Например, кинофильм «Идиот», «Тихий Дон», «Воскресение», «Поднятая целина», позже «Председатель».

Надо сказать, что нравы послевоенной молодежи были хулиганскими и иногда жестокими, грубыми: в войну учились как попало, родители, а часто это была одна мать, были затянuty трудом, не до воспитания. Дети росли, как травинки в поле. А вот кино приучало детей к добру, честности, к культуре отношений - оно было окном в неведомый мир, в котором никто из нас не был. Красивые города, страны, необычные люди, героические поступки. Наша бедность, отдаленность от большой жизни, наша деревенская залатанная одежда, часто купленная на вырост: один-два года ходили, как Пьеро, а когда становилась впору, она уже была вся обрехатая. В кино были неизвестные города (а нам известен был один Алейск, с прогнившими деревянными тротуарами, с киоском «Медок», с калачами по 5 копеек в чайных), чужие страны. Только Индия чего стоила! Необычная одежда, ленточки, шелка! Музыка! Невиданной красоты природа!

Есть у В. Астафьева рассказ «Индия», который описывает обостренное чувство тогдашних детей к неведомым странам. Очень интересный рассказ!

А когда в кино показывали советские села, то они были непохожи на Горевку и Ильинку. В них все красочно, весело, по-доброму. Зря сейчас «пыхтят» на пырьевские фильмы, на фильмы Александра! Это были иконы для нас. Они нас вырывали из данности, мы понимали, что эта жизнь не навсегда. Я до сих пор, когда смотрю эти фильмы, вижу, что мы из кино брали фасоны платьев, прически, стремление к профессиям, далеким от сельских просторов, например, геологи, строители, летчики, инженеры. Советское кино показывало пример в поведении, развлекало, проповедовало и распахивало горизонты. Оно излучало святость. Мы понимали, что жизнь может быть другая, но чтобы счастливо жить - надо много работать, а самое главное для нас - учиться. Дети войны, конечно, в большинстве уже не смогли выучиться, получить любимые профессии, посмотреть мир. А моему поколению грех обижаться на жизнь - все зависело от нас самих: ни от кошельков и блат, а если есть голова на плечах - иди, учись, выбирай специальность. В Горевке впервые за всю историю села появились 2 человека со средним образованием, с десятилеткой: в 1956 году поехал поступать в Горный институт в Новокузнецк (тогда город Сталинск) Селиванов Николай. А в 1957 году окончил среднюю школу его брат - Петр. В 1964 году среднее образование получил Володя Чувахин, в 1965 - Володя Кузькин, Люда Тарасенко. С 1966-го года дорога в жизнь со средним образованием была проложена уже моими ровесниками - Дружбинскую школу окончили Никулин Витя, Никишаев Коля, Селиванова Люба (сестра тех братьев Селивановых), Петракова Рая, Никишаева Лида, Рассихина Галя, Шариков Володя и я.

Я хорошо понимаю Василия Макаровича Шукшина, когда он, взрослый, женатый, но, чувствуя постоянную тягу, необходимую для осуществления тайной мечты - учиться, уезжает в Москву, чтобы стать таким, какими были герои в кино. И самому делать это чудо - кино. Шукшинский порыв, с точки зрения сельского жителя послевоенной деревни - безумие, бесполезная трата денег. Так это было воспринято и его земляками-односельчанами. Они не учитывали особый огонь в душе, разоженный книгами из небольшой сельской библиотеки и простенькими фильмами в сельском клубе.

Когда говорят, что сегодня в селе книга недоступна, и вообще, культура в селе оставляет желать лучшего, мне думается, а что такое культура? Ночной клуб? Романы Сорокина? Пелевина? Гламурные журналы? Тусовки? Ведь книги на полках сельских библиотек остались те же, что читал Шукшин. Каких книг там нет?

Я вспоминаю старенький черный двухстворчатый шкаф, закрытый на маленький плоский замочек, явно не от воров. Он стоял в учительской Горевской начальной школы. Открывала его учительница в определенные дни и для определенных классов. По-моему, по вторникам. Полки с книгами были распределены по классам - 1-й класс, 2-й класс... Первый класс должен прочитать книги на своей полке в первом классе. И так до 4-го. Кто читал много, мог перейти на другую полку - только читай! Таким образом, к окончанию начальной школы мы перечитывали целый шкаф книг. Кроме этого, особые книги, которые надо не пропустить и прочитать именно в детстве, Мария Сергеевна, наша учительница, читала нам во время каникул или перед уроками, на перемене: «Робинзон Крузо», «Приключения Гулливера», «Девочка из города», «Малыш и Жучка», «Радость нашего дома». Хорошо сказал об этом Виктор Астафьев: «Чтобы приучить ребенка к чтению, ему нужно читать и обязательно вслух, как это делалось в тридцатые годы, когда было мало книг и это казалось благом для нас, тогдашних учащихся. Чтение вслух в младших классах должно занимать основное время на уроках чтения...» И когда сегодня говорят: «Дети не читают», и об этом беспокоятся родители, учителя, хочется спросить, а взрослые читают? Я помню, какой был у нас праздник, когда Люба Колодина из поездки в санаторий привезла книгу Н.Ильиной «Четвертая высота» о Гуле Королевой, и мы по очереди ее читали! Я недавно, найдя в Интернете, перечитала эту книгу и подумала: «Как нас пригнули в моральном плане, насколько сильны мы были!» Гуля и Ксения Собчак. Молодые, умные, но между ними моральная пропасть! Сколько потерянного нами, недоступного, уже недостижимого.

В нашей начальной, малокомплектной школе для детей выписывали журналы «Костер», «Вожатый», «Пионер», но больше всех мне нравился журнал «Семья и школа» - больно хотелось быть учителем или воспитателем. Тогда все девочки об этом мечтали, потому что хотели быть умными, интеллигентными, модно одетыми. В этом был один пример сельский - учитель. Я помню даже шрифт статей этого журнала. Попросила отца, чтобы мне выписали его домой. Он пошел со мной в контору (здесь решались тогда все вопросы), но там не могли нам помочь, не знал никто, что это за журнал и как его можно выписать. Так мы и ушли ни с чем. А к учителю постеснялись обратиться!

Для учеников выписывалась газета «Пионерская правда»; с «Правдой» познакомилась тоже в школе. Помню, как учительница прочитала нам зимой 1957-го года в газете «Правда» рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Я училась во втором классе. Рассказ она читала не только ученикам, но и родителям.

В школе нас учили петь. Этому почему-то придавалось большое значение, хотя в звезды нас не готовили! На учительском столе постоянно лежала большая красная книга с нотами и словами песен для 1-4 классов. Там много было песен о школьной дружбе, о школьных праздниках. Она была учительской книгой, и брать ее было нельзя. Помню, я любила песню о новогодних каникулах с припевом: «На коньках хорошо, на санях хорошо и с горы хорошо прокатиться, но сейчас веселей, в десять раз веселей возле елки плясать и кружиться!» И еще люблю с детства песню «Утро красит нежным цветом...» Песни мы искали в численниках (отрывных календарях), у приезжающих городских подружек, на обложках различных журналов. Почему-то был интерес - выучить новую песню. Как ни странно, мы, деревенские, тянулись и к высокому искусству. К окончанию школы мы были хорошо знакомы и с популярной классической музыкой. В селе «Дружба», где мы учились с 5 класса, в парке, рядом с интернатом, висел репродуктор, его называли «колокол», и из него транслировались лучшие произведения русской и зарубежной классики. Ходишь по селу или просто со школы идешь и слышишь «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». По крайней мере, «Лунную сонату», Пятую симфонию Бетховена мы здесь услышали. Шопеновский «Революционный этюд», шубертовская «Ночная серенада», «Неаполитанская полька» и мелодии «Лебединого озера» Чайковского, «Турецкий марш» Моцарта, полонез Огиньского - все это мы знали, не бывая ни

разу в музыкальном театре. Особо мы любили полонез Огиньского. Душа замирала от «торжественно-певучих, сладостно-отчаянных звуков полонеза» (И. Бунин о полонезе в «Суходоле»). Нравилось нам и его другое название - «Прощание с родиной».

Нас выручало и маленькое радио в интернатовской комнате, с которым мы засыпали и просыпались. Тогда была крупная государственная программа, которая определяла духовное воспитание народа. Сейчас программы, в основном, шоу, и здесь больше подходит выражение Й. Геббельса: «Порабощенному народу надо давать только развлекательное искусство». Кем порабощенному? А остальное, почему-то, верно.

По радио можно было параллельно получать художественное образование: здесь транслировались театральные постановки, оперы, оперетты, симфоническая музыка - все с комментариями. Диктовались слова опять же новых песен, сразу шло разучивание их с музыкальным сопровождением. С детства через радио мы знали имена Марии Каллас, Марио дель Монако, Марио Ланца, Лемешева и Козловского, Поля Робсона, Обуховой. До нас старались донести, что есть в мире знания, без которых стыдно входить во взрослую жизнь. Помню, своим ученикам, когда они кисло морщились от классики, всегда говорила: «Вы вслух об этом не говорите никогда! Стесняйтесь, вы просто этого еще не понимаете!» А вчера читала «Дневник писателя» Достоевского и прочитала то, с чем давно согласна: «...Непонимание некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовало о тупости признающегося, о невежестве его, о скудном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Тотчас же, напротив, весьма часто фраза «Я не понимаю этого» выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере, с важностью... Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди, малоразвитые и тупые, нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств».

Все мои ровесники были пионерами, комсомольцами, но это никогда не было нам помехой в развитии, никто не загонял нас в рамки, не заставлял ходить строем. Наоборот, пионерские и комсомольские собрания помогали нам обрести активную жизненную позицию. Не были мы ограниченными, неинтересными, зашоренными! Не верьте никому! А то, что мы в свое время не читали некоторых запрещенных писателей... Если честно, сегодня, кроме разочарования, ничего мне не дали эти произведения.

В большинстве. Да и дети наши, в отличие от нас, вообще перестали читать. Недавно, будучи в Москве, решили побывать на месте событий «Мастера и Маргариты», тоже не печатанного когда-то. Вышли на Пушкинской, видим, парень сидит у памятника Пушкина. С виду, москвич. Спрашиваем, как пройти на Патриаршие пруды. Но сначала уточнили, в каком классе учиться. Ответил, в 11-ом. Как пройти он не знал, роман не читал, предложил: «А вы спросите вон у женщин среднего возраста, они все знают». Как точно он определил, кто знает булгаковские места в Москве, кто читал роман. Мы рассмеялись. Уж сильно нас рассмешил «средний возраст»!

Мы читали и заучивали Пушкина так, что спрости сейчас и вспомним. Я помню, девятиклассница Таня Рыбальченко знала всего «Онегина» наизусть! Произведения на уроках читали, разбирали и от этого запоминали. Иногда кое-кому настырно это внедрялось. Но то, что без берегов - это болото, а с берегами - река! Нас не претило от классики, мы в ней искали ответы на все вопросы, которые ставила перед нами жизнь. В пору отсутствия другой информации, та методика преподавания вполне была приемлемой для мотивации образования, теперь, наверное, надо искать другую. Современные наши ровесники, несмотря на всеядность, стали знать не более нас. Или, наоборот, в связи со всеядностью. Поэтому я считаю, что когда мы, полураздетые и полуголодные, бегали за сусликами, кандыком и щавелем, мы были богаче тех, кто сидит сегодня за компьютером, мы были наблюдательнее, находчивее, физически сильнее, добрее, любознательнее. У нас, деревенских детей, было личное, свое детское личное пространство, что очень важно для становления самостоятельности и чувства

значимости текущей жизни, вернее, утекающей жизни. А компьютер пожирает это твоё личное пространство, твою жизнь, которая, к сожалению, коротка и конечна.

Я часто ловлю себя на мысли, что моя жизнь ещё оттого счастлива, что со мной в то время жили такие люди, о которых все вспоминают с благодарностью. «Я же помню его живого!»- так по-детски всегда думаю, глядя на Гагарина, Шолохова, Шукшина, Магомаева, Шульженко, Окуджаву, Титова, Рубцова, Лихачева, Жукова, Высоцкого! И будто завидую себе!

...Ещё одно воспоминание из раннего детства - осеннее утро, уже прохладное, туманное. Как у Тургенева: «Утро туманное, утро седое, нивы печальные, снегом покрытые...» Уже холодно. Мы с сестрой Верой сидим в копне на поле, которое было выше нашего дома. На бугре, как говорили. Рядом, роясь в стерне пшеницы, пасется небольшой табун гусей, и мы караулим его от волков. Туман плотный, сырой, а детское сознание было наполнено недавними рассказами о больших стаях волков, вспугнутых войной и появившихся в алтайских степях в большом количестве, чувствуя, что здесь не стреляют, что сопротивления им оказать некому. Страшно и тревожно. До сих пор не люблю туман, хотя в памяти из детства он остался, как один миг. Тогда шел октябрь 1951 года. А в ноябре мне исполнилось 4 года. Сестра Вера собиралась уезжать в Новосибирск устраиваться на работу, ведь сестра Катя к тому времени уже работала на заводе. Как-то смогли достать Кате нужную справку, наверное, потому что отец погиб на войне. А Вере только исполнилось 15 лет, поэтому она осталась в селе.

Вера была моложе двух старших сестер, но всегда была рядом с ними. Она тянулась за ними и очень скучала, когда Катя уехала. Ей тоже хотелось в город, в другую, казалось, более сытую, взрослую и красивую жизнь. Скрашивали ее будни соседки-переселенки с Поволжья: сестры Маруся, Лиза и Фрося Классины. Потом, когда она приезжала уже из Новосибирска, они сразу забегали с работы к нам и в сенях раздавались радостный визг, смех - была искренняя радость от встречи. Можно было подумать, что встретились сестры. Сейчас так чужие не встречаются. Вообще, прибытие сестер в отпуск было в то время главное событие в нашей жизни. Мы жили от ожидания до ожидания. Я тогда впервые увидела чемодан. Он был черный, вместительный, с блестящими замками, от которых у Веры в кармане были два маленьких ключика. А когда чемодан открывали - это было чудо: в нем лежали бело-желтые, чуть приплюснутые от тесноты, пахнущие чем-то неземным, вкусным, как я узнала гораздо позже, ванилью, булочки. Здесь же большой кулек с конфетами «Пилот». Это были шоколадные конфеты с нежной белой начинкой. На синей обертке изображен самолет, на похожем, мы видели на картинке, летал Чкалов. Далее шли вещи: кофточки, платья, рубашки, отрезки ситчика. А однажды мне привезли куклу. Это была красавица в зеленом платье, ручки, ножки - розовые, с пальчиками; кожаные коричневые туфельки и даже белые носочки. Фарфоровое прелестное личико. Розовое, пухленькое тельце набито чем-то. Такой ни у кого не было, ее стали брать фотографироваться чужим детям. И однажды случилась трагедия: куклу потеряли кто-то из взявших. Не вернули! Мне до сих пор больно...

Сестры привозили свои наряды - крепдешинные и креп-жоржетовые платья. А еще панбархатные. Сами жили на гидрожире (был такой искусственный жир, потом его называли кулинарным), а одевались, как тогдашние модницы. Это было что-то! Носочки под туфельки - белые с нежной зеленой и сиреневой полоской! А танкетки! Такой обуви в селе не было. Тогда появился анекдот, как дед приехавший в гости внучке зачинил все дырочки в босоножках. Я в это верю, потому что обувь эта у деревенских вызывала много насмешек. Сестры рассказывали о жизни в общежитии, о чистоте в комнатах, вообще о порядке. Работали они на заводе «Сибсельмаш». Историю этого завода на сибирской земле показали в фильме «Вечный зов».

...В жизни Вере было несладко: она ко всем относилась открыто, по-доброму, а жизнь отвечала ей обидами, предательством. Работала она, как и сестры, много и

всегда физически. Помню, была у нее на заводе в Хабаровске. Горячий воздух с запахом металла, в руках у нее отопительные чугунные радиаторы, тяжеленные! И на этом заводе она работала до пенсии. Жила сначала на квартире в маленьком домишке - временке с двумя детьми. Потом от завода получила комнаты с подселением в благоустроенном доме, а потом и благоустроенную 3-комнатную квартиру. В 46 лет она, выйдя снова замуж, родила третьего ребенка - дочку Лену, что само по себе было подвигом для женщины, но она подняла дочь и они с мужем дали ей высшее образование, обустроили ей квартиру. Вера отличалась от сестер тем, что знала - ее жалеть некому. Все в этой жизни зависит только от нее и все надо добиваться самой. Она старалась выжить, сберечь здоровье: от завода ее часто направляли в санаторий, иначе ей бы не справиться с горестями, которые сопровождали ее жизнь. Она старалась быть всегда современной женщиной, следила за собой, всегда при кудрях, туфлях и модном платье. И никогда не унывала! Для того чтобы жить, как люди, она работала до 70 лет, не филонила, не хлопотала инвалидности, а всю жизнь вкалывала. Хотя болячек, конечно, нажила. Но судьбу свою сумела выстроить!

... Когда мы с братом учились в интернате в селе Дружба (школа в Горевке была только начальная), мама постоянно занимала деньги и на оплату за проживание, и нам на расходы на неделю у соседа. Нам давали 50 копеек, иногда рубль на двоих. Мы ходили в кино: 5 копеек; складывались на повидло: 65 копеек со всех; баловали себя пряниками: 65-80 копеек, халвой - 1 рубль 30 коп. - все это вскладчину со своей комнатой, человек 5-6. Наши родители по сравнению с родителями моих ровесников были постарше: когда я закончила школу, маме было 58 лет, отцу 56. Жили, в основном, на мамину пенсию в сорок рублей, отец плотничал, получал копейки, с подорванным здоровьем в заключении держать большое хозяйство уже не мог. Болел желудок, и Катя в 1963 году, когда в хлеб стали добавлять разные примеси, высылала ему из Кемерово сухие белые булочки.

Старшая сестра Мария уехала работать дояркой в свеклосовхоз - сейчас это поселок Алейский. Там уже было электричество. Все ее расспрашивали: «Ну, расскажи, Мань, какое это электричество?» «Да ничего хорошего, для зрения очень вредно. Если после ночи внезапно включишь, глазам больно смотреть. Надо из-под одеяла постепенно присматриваться, чтобы глаза привыкли». «Не дай бог еще и нам проведут - ослепнем», - дружно осудили цивилизацию горевские. Электричество нам провели только в 1959 году. Привезли дизельную станцию, в народе называли движок, поставили дизелиста, он включал станцию с 6 до 24 часов. А если свадьба или другая большая гуляночка, надо нести дизелисту ужин, чтобы ему не скучно было. Особенно досаждала мужика молодежь, ну кто заканчивает танцы в деревне в 24 часа, когда коров дома в 22 часа только начинают доить? Надо идти просить дизелиста или иметь в клубе наготове лампу. Года два в юности мы протанцевали при лампе и под баян.

... Когда наступала осень, жизнь в селе становилась сытней. Родители выращивали на огороде помидоры, огурцы, капусту, морковь, брюкву, репу. Но в селе огороды были не у всех, не знаю, почему. Конечно, хотелось хлеба, булочек, постряпушек. Но хлеба до нового урожая не хватало. За отцом следили особенно тщательно: как никак, из заключения, детей много, чем-то же кормит - с голоду никто не пухнет. У нас была самодельная крупорушка: два толстых пня, набитых железных пластин, положенных друг на друга, соединенных металлическим штырем, вокруг которого они вращались при помощи ручки, которая находилась на верхнем пне. Между пнями желоб. Если отцу или матери удавалось украсть сумку зерна, ее сразу же размалывали, пекли лепешки и съедали в ужин. Часто приходили с обыском: втыкали острый щуп в землю, пытаются найти ямки с зерном. Их иногда и действительно делали: рыли, обжигали внутри, чтобы обмертвить землю, которая не даст прорасти зерну. Но зерно прятали лишь бы прокормить семью, а не для наживы. «Пшеницу приносил с тока?» «Приносил!» - говорил отец. «Где?» - спрашивали. «Съели дети», - отвечал отец. Так и уходили ни с

чем. А с обысками к нему шли к первому. Но обыски были не только у нас. И было это после войны, позже жизнь становилась более лояльной. Интересно, как охранялся ток с зерном осенью позднее, при хрущевских временах. В уборку хлеб не успевали перерабатывать - сеять, веять, сушить за день, и он на ночь оставался на току в огромных ворохах. Его надо было сторожить. Сторожом назначался старый человек: это был дед Илья Скопичевский, позже баба Маша Долженко. Только сгущалась ночная тьма, по неписаной, но ненарушаемой очереди к току крались сельчане с мешками. Нельзя было ходить не в свою очередь: слишком быстро убывало зерно, и было заметно утром для начальства. Хотя все знали, что сельчане ночь использовали для походов к току. Были такие сельчане, которые держали мало хозяйства. Поэтому они приходили изредка. А были жадные, которые, надрываясь от тяжести, таскали зерно всю ночь. Хозяйство они водили большое, поэтому жили побогаче. Были такие, которые не держали хозяйство, они носили зерно кому-то за определенную плату (молоко, яйца, овощи, реже самогонку. Такой валюты тогда не было. И вообще, пьяных в уборку, сенокос я не помню). Но чаще такая надрыва была из-за многочисленной семьи. Отцу носить зерно было тяжелее всех, потому что ток находился от нас через огромный крутой лог Шмарай, и с грузом на горбу его преодолевать мог только сильный человек. Наверное, таким он и был. Хозяйство мы держали всегда небольшое: корова, подтелок, 2 поросенка в год выращивали с салом в два-три пальца: была такая мера для сала. Две-три гусихи и гусак в зиму, 15-20 куриц.

Такой хлебный сельский коммунизм был потому, что на трудодень колхозники получали мало и зерна, и денег. Наживы особой у крестьянина от кражи хлеба не было: много ли на горбу принесешь! - лишь бы намолоть муки на хлеб!

Молоко все лето несли на молоканку, чтобы выполнить положенный налог. С молоканки несли возврат - «оборот», так мы называли обрат, обезжиренное молоко. Обратом кормили поросят, делали творог; себе молоко оставляли, но совсем мало, поэтому молоко было лакомством. Я, как неуклюжая и любопытная, часто зазевавшись, спотыкалась в кочках Шмарая и проливала обрат. И получала за это. В конце месяца полагалось с маслозавода немного сливочного масла. Помню, я несла его на большой тарелке, а кусочек был сантиметров 8 на 12 и толщиной сантиметра в 4. Я облизывала его ровно со всех сторон, чтобы не так заметно. Такого вкусного, душистого масла я больше не ела. Скорее всего, это оттого, что природа еще не знала больших загрязнений. Не было еще ракет стратегического назначения, которым постоянно меняли гептиловое топливо и, конечно, проливали его. А ракеты у нас в огородах стояли с 1964 по 2002 год. Сильно загрязнялась почва и гербицидами.

...Когда старшие сестры разъехались, Коля учился в школе. Сначала в Горевской, а затем с пятого по седьмой класс в Завет-Ильичевской. У сестер осталось по четыре класса образования. Но писали они грамотно, особенно красивый почерк был у Марии, хотя учиться ей пришлось неполных 7 классов. Помешала война. У Кати и Веры учиться после начальной школы возможности не было. В школу ходили по очереди: не было одежды и валенок. Не было тетрадей, учебников. Но жизнь потихоньку налаживалась, и отец поставил задачу выучить Колю. Ведь перед ним был пример братьев Селивановых, которые продолжали учебу в средней школе, хотя у них отец погиб на фронте и учила их с последних сил одна мать. В Завет-Ильичевскую семилетнюю школу Коле приходилось ходить еженедельно пешком с сумкой картошки за плечами - жил он там на квартире у чужих. Всего пришлось хлебнуть. Короче, это были «уроки французского». Вспоминаю один зимний вечер, когда мы ждали семиклассника Колю из школы. Это было под Новый год, и придти он должен был ночью пешком после новогодней елки. Школа была за 7 километров от Горевки. Было уже темно, и мы переживали, не случилось ли что. Потом заскрипели шаги под окном. Пришел он с узлом, с новогодним подарком. Помню, конфеты были завязаны в платке, их было много, с килограмм. Кажется, ему дали больше

других, потому что его отец погиб на фронте. По-моему, он не съел по дороге ни одной. Он радовался, что нес домой много конфет. Это были «голые» розовые «подушечки». Сладше и запашистее конфет больше я в жизни не ела.

В восьмой класс Коля пошел учиться в Алейск, в школу № 1. Директором там был Бублик. Что-то у него не заладилось с директором. Ему надо было утвердиться, что он хотя и деревенский, но шустрый и свободный от комплексов. Наверное, хулиганил. А может, заскучал он по сельской жизни, жил ведь на квартире. И вскоре Коля бросил школу. И как не бился отец, я помню, Коля плакал горькими слезами, хотя в то время 14-летние уже считались взрослыми, и твердил: «Я не буду учиться в Алейске». Так он и остался с семью классами образования. Кажется, что такое учиться не дома? Но отрыв от дома в 14 лет может перенести не каждый ребенок. Коля не перенес. До армии работал в колхозе. В 1957 году осенью уехал Коля на призывную комиссию. Приехал возбужденный: бежали кросс, он прибежал первым. Тогда было такое обязательное испытание для призывников. А на следующий день приехал уже с повесткой. Наутро нужно было с вещами явиться в военкомат. Он побежал на ток, где работала мама, затем к отцу, чтобы он взял подводу везти его в ночь в Алейск. К вечеру Коля посадил нас с братом на бричку, и мы поехали в магазин кое-что купить к проводам, к ужину. Помню, что мы купили консервы: голубцы в виноградных листьях, камбалу в масле и какие-то консервы обычные в томате. По тем временам это были деликатесы и их покупали по особым случаям. Мяса в сентябре еще у нас не было, только к зиме подрастал поросенок, поэтому это был тот случай, когда нужна была сельская лавка, так тогда называли магазин. Мы сидели с братом в бричке, а призывник, что есть мочи, гнал по кочкастой дороге пару лошадей. По дороге мы догнали девчат, которые шли с овчарни: «Садитесь, подвезу!» Когда девчата сели, Коля хлестнул очередной раз лошадей и крикнул весело: «Все! В армию ухожу!» Они не поверили: «Ох, и брехливый ты, Соленик!» («Солеником» его звали по фамилии Соленов. В деревне многих звали по фамилии: Чуваш, Малан, Грош, Кузя, Селиван, Мартюш, Крылок - соответственно фамилиям - Чувахин, Маланов, Грошев, Кузькин, Селиванов, Мартюшов, Крылков).

Не поверить Коле девчата имели право: он был выдумщиком, весельчаком, много шутил, умел плясать с вывертом, пел тоже с вывертом, вроде дурачась, знал много анекдотов. Ребят, его ровесников, в армию почти не брали, так - единицы, потому что было много больных. Болезни мальчишки получили в годы войны: недосмотр матерей, которые пропадали на работе, отсутствие лекарств, голод, простуда. И позже, мужчины, рожденные в 1938-40-х годах умирали совсем не старыми. Именно в раннем детстве они недополучили то, что потом необходимо в организме на всю жизнь. Те, кто постарше, были на «подножном корме»: щавель, кандык, камыш, кувшинки-кубышки, речные лилии, медуница, только завязавшиеся смородина и клубника по лугам и колкам. Разоряли птичьи гнезда, вытаскивая яйца.

...Перед службой в армии Коли, в 1956 году, отец с мамой уезжали в гости в Саратов. Коля остался за старшего: на нем было все хозяйство, и мы, двое младших. Но он умел все делать: и варить, и стирать, и управляться с хозяйством. И вообще, нам с ним было весело! Вечером приходили ребята, девчата играть в карты. Общительность пригодилась ему в армии: Коле служилось легко, таких - в армии любят.

Утром Коля был отправлен служить на границу Туркмении с Ираном, недалеко от города Кызыл - Атрек. Я помню, как стало пусто без Коли. Служил он хорошо, хотя служить было нелегко. Туркмения: пески, жара, пустыня, в тени +50. Но в письмах он не жаловался. Через год службы получили от него фотографию. На обороте было напечатано: «За примерность в службе, отличные показатели в боевой, политической подготовке и дисциплине приказом по части награжден фотокарточкой под развернутым Знаменем части. Командир в/части 2047 подполковник Лобастов. Сентябрь 1958 года». Однажды пришло от него письмо, а в нем две атласные ленточки, голубая и розовая, сложенные

и проглаженные так, что их не видно было в солдатском конверте. Это для меня. Таких лент у подружек не было. Как-то в письме попросила Колю купить мне фотографию какого-нибудь артиста. Нашла, у кого просить, у солдата - пограничника! Будто он служит в Москве. Потом про просьбу уже и сама забыла. Где он их купил на заставе и за какие деньги - не знаю, но он купил больше двух десятков черно-белых фотографий моих любимых артистов. Пришло 3 толстых конверта. Здесь были Ольга Бган, Валентин Зубков, Владимир Гусев, Юрий Саранцев, Татьяна Конюхова, Леонид Харитонов, Изольда Извицкая, Эдуард Бредун, Александр Михайлов, Леонид Быков, Алла Ларионова, Олег Жаков, Клара Лучко и другие. Только девочки 50-х поймут мою радость: ведь это было такое богатство в то время, таких открыток не купить было и в Барнауле. Да и кто стал бы их еще и за что покупать?! Теперь я с подругами своих кумиров рассматривала на открытках после каждого фильма! Оттого и помню их всю жизнь. Для меня тогда это было, действительно, каким-то чудом. Энциклопедия по киноискусству!

Закончив служить, Коля пошел учиться на шофера и стал возить грузы из Алейского в Чарышский район. О его работе ходили байки, потому что шофер он был наподобие шукшинского Пашки Колокольникова. Его знали в каждом селе и стар и млад. Он долго не женился, хотя поклонниц у него, как у всех балагуров, было предостаточно. На работе его ценили, он имел специальные награды как водитель за работу без аварий: работа в гористой местности имеет для водителя много сложностей.

Если бы он не обосновался жить в Чарышском районе, его жизнь сложилась бы совсем иначе. Отдаленный от родителей, родственников, окруженный свободой от равнинной, чего греха таить, более открытой для людского суда жизни, он забивался все дальше и дальше в «горы», где уже тогда процветало пьянство и все вытекающие отсюда последствия. Мы его стали видеть все реже трезвым и к пятидесяти годам, когда он вернулся жить в Алейский район с женой и тремя дочками, он уже не был тем Колей, которого все любили и ценили. Коля всегда любил читать и уже когда после инсульта он не мог разговаривать, он приходил в библиотеку, приветствовал, кивая молча, библиотекаря, выбирал книгу и уходил. Я знаю, что после инсульта человек и буквы забывает, может, он это делал по привычке, в действительности уже не читая. Коля прожил не свою жизнь. На самом деле он был другим.

В 60 лет он умер после тяжелой болезни, первым из братьев и сестер. Хотя не был старшим. Как говорила мама о молодых умерших: «Не в свою очередь пошел». Правда, мамы и отца в то время уже в живых не было. Мама умерла в 1992-м, отец - в 1997-м, а Коля - в 1999 году. Для них это было бы большим горем. Они его любили. Отец, помню, всегда говорил: «Николай у нас добрый, вас меньших любил. А какой работающий был!» Родители осуждали его за выпивки, хотели его видеть прежним Колей. Они помогали ему выбираться из той ситуации, но силы с обстоятельствами были неравными. Все новые и новые беды на него валились. Со стороны казалось, что он доволен всем, как говорят в деревне, хорохорился, но он уже не представлял, в каком болоте оказался. А, может быть, представлял, а сделать ничего не мог. В последнее время отец и мать видели его редко у себя на пороге, чаще только за деньгами приходил. Они знали, что деньги на водку, а, может когда и на хлеб или на дело просил, веры ему уже не было.

«Весело текли вы детские года, вас не омрачали годы и беда». Эти строки из стихотворения И. Сурикова «Детство» часто вспоминаю, потому что, действительно, каково бы бедное, горестное детство ни было, оно, спустя годы, таковым не кажется: ведь были живы родители, братья-сестры, друзья. И когда ты это потерял, понимаешь, что такое настоящее счастье и что такое настоящее горе.

...В детстве отец старался разнообразить наш досуг: он заливал нам горку, делал настоящую лодку, лыжи и санки. В детсад он возил нас на самодельной коляске. Он был охотником, рыболовом. Охотился он силками, помню, поймал так зайца и лису. А рыбачил мордушками. Весной в определенный период, когда ивовый хворост был

еще гибкий, отец уходил в околок за хворостом на мордушки и корзины. Затем плел аккуратные мордушки, обычно 4-6 штук. Летом на реке ставил запруды, к ней их крепил. Какое бы голодное время не было, но никто никогда не трогал его мордушки, а если трогали, то ничего не разоряя. Вынут аккуратно рыбу и все. Отец их за это не ругал, говорил: «Сегодня ничего не попало, а может, ребяташки забрали». Знал, что полсела без отцов живут.

Приходя на обед, он брал черную самошитую из старой брючины сумку и шел к речке «проверять мордушки» - так называлась эта работа. И только потом обедал. Пойманная рыба варилась к ужину. На жарку не было масла. Как-то осенью мороз ударил внезапно, а отец не вытащил мордушки из речки заранее, и когда отпустило, пошел забрать их. Они оказались забитые рыбой. В эти дни все горевские ели рыбу, по крайней мере, многие. Мы по сравнению с односельчанами жили не богаче, но питались, как сейчас говорят, правильнее. У нас всегда была свежая рыба, овощи; отец несколько лет водил кроликов. Однажды по селу разнеслась весть, что на углу клуба привился рой пчел. Дошло до отца. Он давно мечтал развести пчел, но где было взять деньги на покупку роя? Отец сразу же направился к клубу, посмотрел, убедился, что действительно, рой полноценный. Он собрал его в большую кастрюлю, сделал в спешке примитивный улей, пересадил пчел. И так с тех пор развел пчел. Почти 30 лет прошло для того, чтобы он снова развел пчел, и справочник по пчеловодству, привезенный с Дальнего Востока, наконец-то, пригодился. И водил он пчел до самой смерти. Он выписывал журнал «Пчеловодство» и читал его постоянно. Интересное о пользе меда, прополиса зачитывал маме, нам. Всю округу он лечил прополисным маслом: незаживающие раны, диатезы. К нему ехали отовсюду. В подпитии хвастал: «Я в пчеловодстве был бы профессором, но грамотешки не хватает!» Мы верили ему: прожив тяжелую жизнь, всю жизнь работая тяжело физически, он сохранил, благодаря здоровому питанию, бодрость духа, силу. В 77 лет он лазил на дерево, снимал ульи с залетевшим роем. Его сильно подкосила смерть мамы, которую он пережил на 5 лет. Умер он в 87 лет.

...Как-то зимой отец научил нас петь на Рождество тропарь.

Одной из зимних романтических забав в детстве всегда вспоминаю день, когда мы ходили «христославить». Это было под строгим запретом со стороны школы, но как можно справиться с искушением получить от односельчан калач, пирог со свеклой, или, если повезет, несколько копеек, а может и желтый помятый рублик. Село негласно было поделено на «края»: Фомины, Шатиловы, Шариковы, Кузькины, Никишаевы имели в своем распоряжении северо-восточный «край» села: от Шмарая до Никишаевых. Надо было в этот день встать на рассвете, именно, до восхода солнца. Будильников не было и приходилось будить друг друга. Меня, почему-то, будила Нина Шатилова, хотя попутней мне было идти к ней. Но она приходила раньше оговоренного времени. Ватагой человек в 5-6 стучали в дом, в это время в селе начинали уже топить печки, зажигали керосиновые лампы, и мы на пороге. «Христославы», так сказать!

Хором, кто знал трудные слова, кто путал их с русскими, толкая друг друга толпа бубнила: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий звездою учаеся, Тебе кланяются Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока: Господи, слава Тебе!»

Сраженные нашими познаниями в церковнославянском, хозяева благодарили нас и подавали нам, кто чего. На деньги покупались в магазине пряники (всегда самые дешевые из сладостей), а однажды девочки договорились купить «косметику». Не помню почему, ребята нам уступили. Нам хватило на самый дешевый крем, назывался он «Детский». Он сильно пах мятой, и как мы его употребили, не помню, наверное, намазались. Запах этого крема до сих пор напоминает мне о детстве.

С косметикой знакомиться считалось недопустимым и не разрешалось: быстро состарится кожа, - пугали нас, да и ученицам стыдно малеваться, но на косметику и не

было денег. Даже мыло туалетное, «духовитое», было не у всех, хотя в магазинах оно было: самое дорогое - «Кармен», с прекрасной испанкой на обертке; «Сирень», «Гвоздика», но самое популярное, более дешевое! - в белой обертке с красными ягодами на рисунке - «Земляничное». А какое оно было запашистое, хоть ешь!

И пудра была с такими же названиями: «Кармен», «Сирень», а еще с незнакомым, но завораживающим названием - «Магнолия». Крем помню «Снежинка» и дорогой в стеклянной баночке - «Метаморфозы». Его привозили из Новосибирска сестры для себя, конечно. Это название было вообще из области фантастики. Потом эту «фантастику» запретили, потому что для отбеливания в него входила ртуть. Но это было потом!

Школа отчаянно боролась с косметикой: кто намажется или напудрится, грозила Августа Васильевна, молодой педагог, исключим из школы. Классы-то были начальные!

Не знаю, чем мы насолили Вовке Кузькину, но однажды он подошел к учителю, еще более строгому, чем Августа Васильевна, Марии Сергеевне, и сказал страшную фразу: «А Фомина Любка и Шарикова Валька пудрились мукой!»

Откуда он это взял, за давностью лет я могла бы признаться, но это была неправда! Я у него, уже взрослого, спрашивала, за что он нас «казнил»? Он сказал: «Не помню такого!» Зато мы запомнили, как нас стыдили и корили: «А еще ученицы называются! Как не стыдно! Надо их исключить из школы!» Болела пугливая детская душа: школа - это святое!

...Под Рождество резали скотину, раньше боялись оттепелей, холодильников ведь не было. Мясо предназначалось на долгую зиму. Ни на какой базар его не возили. Это вошло в моду поздней. По селу то здесь, то там визжали поросята, гототали гуси, мычали бычки. Телочку чаще оставляли на племя. У дворов оставались алые пятна крови, у ленивых здесь же лежали кишки, ноги животных. У «додельных», как говорила мама, все шло в дело. Гусей рубили и щипали, собирая родню или соседей. Мужики палили тушки, сразу же бабы свеживали птицу. А к ужину варились большие сизые гусиные пупки.

К Рождеству обязательно варили холодец, ставили квашню для свежего хлеба. На стол резали мерзлое сало, выносили чашки с бочковыми огурцами, помидорами. Квашеную капусту поливали пахучим постным маслом. Праздничный стол готов!

Особый ритуал был в доме, когда готовились пельмени. Обычно к празднику они не готовились, накладно, а вот иногда в зимний день разносилось по дому: «Пельмени... пельмени». Лежат они сейчас в холодильнике даже самодельные, но они совсем не такие.

С утра заносилась в большом частом сите мука, чтобы согрелась за день. Отец приносил большой побелевший от мороза кусок мяса, чаще это была говядина, иногда добавлялась свинина, баранина. При наличии. Когда мясо оттаивало, его резали острым большим ножом ломтями, а потом рубили специальным инструментом в деревянном корытце на мелкие кусочки. Добавляли лук, чеснок и посыпали крупной солью. В фарш добавляли остуженной кипяченой воды, чтобы сочнее был. Замешанное тесто резали на длинные полоски, потом резали полоски на кусочки и катали пышечки. Некоторые дети любили есть сырое тесто, некоторые клали на горячую плиту и получался такой деликатес, пальчики оближешь! На плите уже разогревался чугун с водой. К этому времени вечерело, в избе становилось уже темней, зажигалась керосиновая лампа и вешалась на крюк. Пельмени были крупные, почти, как сегодняшние манты, поэтому перед тем, как их вынуть, их кушали на готовность. Мука, как правило, была серая, не высшего сорта, и я с детства знаю, что и на вкус она другая: в серой муке сохранялся запах спелой пшеницы, ветра, поля. Нерафинированная! По комнате разносился запах кипевших пельменей, а когда один доставали, чтобы проверить готовность, то вся семья глотала слюнки. Пельмень в большой ложке подносили к лампе. Кушала мать, но откусывала немного, а остальное отдавала детям. В сером душистом сочне скапливался мясной сок, много сока, потому что мясо было рубленое, а не крученое на мясорубке, и ничего вкусней мы, казалось, не ели. Пельмени, к сожалению, стряпались нечасто.

В большие окна, сидя на уроке, мы часто видели, как раздувается сильный буран. Внезапно он становился темный и срывался внезапно, оттого много людей, вышедших в дорогу, замерзало, заблудившись. Если на санях, то конь мог довести до жилья. Останавливались часто переночевать в Горевке дружинцы, боровчане, моховчане. Если за окном был сильный буран, в школу мы не ходили. Если приходили близко живущие, то учительница сажала ребятшек ближе к грубке и читала им книжку.

В буран домой без родителей не пускали и мы с нетерпением ожидали их. Иногда пришедшие забирали и соседских детей, разводили по домам. Взрослые приходили в огромных «дождевиках» из светлой непродуваемой парусины, чаще надетых на ватные фуфайки, кто побогаче - на полушубки из овчины, обуты все были в валенки с отвернутым верхом. Варезки у всех были разные: у кого-то сверху были такие же парусиновые верхонки, у кого-то обшитые заботливой рукой жены полусукном (была такая ткань), у кого-то на варезку поменьше надевали варезку побольше, крупной вязки. Шапки под подбородком завязывали, а женщины накидывали большие шерстяные шали, размером с нынешний плед. Такие шали были в каждой семье. На Алтае тогда одевались соответственно сибирской погоде: у всех валенки, тулуп, без которого в путь никто не отправлялся. Наверное, поэтому были здоровее: нельзя в Сибири зиму «обмануть» в кроссовках, сапожках, в курточках!

Село наше было небольшое, но разве имеет значение размер родины. Земляки, как металлические пылинки к магниту, льнули к нему, и сейчас бессонными ночами так заноет в груди от безысходности, что нет этих пятидесяти избушек, нет тех тропинок, самое главное, нет тех соседей, друзей! Жизнь была не богатой, иногда конфликтовали: по-деревенски, с воспоминанием дедов и прадедов ругались, «отбивали» мужей, жен, таскали в ссоре за волосы. Но те руганки сейчас, как песни! Все забылось, а чувство родины осталось!

... Сейчас внуки часто спрашивают, чем мы занимались в детстве, ведь не было ни радио, ни телевизора, ни компьютера. Но я не помню, чтобы мне в ту пору когда-то было скучно. Зимой санки, горки, самодельные трамплины, лед на речке - все было наше! Если вечером прислушаться, то звонкие детские голоса, визг слышались на селе отовсюду. Мы бегали, двигались. Было в речи выражение: «Мам, пойду бегать!», т.е., не гулять, а именно бегать.

У нас было время увидеть прекрасные узоры от мороза на розовом утреннем окне. Первые звездочки на небе мы замечали каждым зимним вечером, потому что тащились домой поздно, замерзшие, с обледенелыми громыхающими валенками именно в этот час.

*Весь ты переязбнешь,
Руки не согнешь,
И домой тихонько,
Нехотя бредешь...*

Это о нас строки И. Сурикова.

Каждое время года в селе имело свой шум, свою мелодию. Зимой это далекий скрип полозьев, чей-то раскатистый окрик, громкие радостные голоса ребят, катающихся на горках. Благо, кататься есть где: все село в холмах, логах. Ни в одном из сел района такой благодати не было! Загорится на юге над горизонтом первая звездочка, подмигивает ребятам: «Пора домой!» Засветятся в окнах неяркие огни керосиновых ламп, но ненадолго. Выютя в лунном свете столбики дыма из мазаных труб, побрехивают беззлобно друг на друга непривязанные дворняжки. Скрип снега выдаст спешащего куда-то соседа.

Весной беззвучно, тяжело пролетали над селом перелетные птицы. Хотя грачи уже возвестили об идущем тепле, но гусей, журавлей встречали с особой радостью. Сквор-

цы заполнили свои домики, которые ждали их в каждом подворье. Весенние запевки скворца - это трели необыкновенной красоты. Шумят знаменитые горевские лога, каждый по-своему. Грозно в течение недели ревет мощный Шмарай, отрезая жителям путь к селу с левого берега. Недалеко звонко и переливчато журчали Кременчуков и Классин лога. Были они неглубокие, вода в них была чистой, и сквозь нее была видна трава, которая колыхалась и пригибалась бегущей водой к земле. Издалека доносился шум Лисицкого лога. Отец звал мать: «Выйди, послушай, как лога шумят!» А сам, управившись со скотиной, долго стоял и слушал, опершись на вилы.

Лога несли вешние воды с бугров в реку Горевка, которая, наполняясь, поднимала свои оттаявшие льдины и с шуршанием несла их в Алей. Алей - в Обь, а Обь - в Северный Ледовитый океан. Вот такая длинная водная дорога открывалась весной в нашем маленьком селе!

Весной - любимая игра - лапта, или мы ее звали «бить-бежать». Только-только оттаивает земля на буграх, и началось.

Первоцветы, потеплевшая в лужах вода. Походы за сусликами, кто поймает больше. Сколько здесь надо было умения и сноровки. Были очень ловкие на эту охоту, рекордсмены. Надо было найти свежую норку, принести с лога воды, налить в нору, чтобы суслик из нее вылез, вытащить его из норки... Дома сусликов жарили, тушили, а кое-кто варил суп. Шкурки растягивали на стене избы, когда они высыхали, их сдавали, получая небольшие деньги.

Первые проталины, на которые так хотелось ступить босой, свободной от жесткого, часто подшитого и все равно прохудившегося валенка ногой. Голень у колена от вернутых валенок имела набитый за зиму круг - отметину.

Первая травка, «куриная слепота» (цветы) по прогретым лужам, пушистые вербочки, потом лук слизун и подснежники по-алтайски: белые и сиреневые пушистенькие колокольчиками цветы сон-травы. Потом огоньки, марьины коренья - это вообще цветы необычайной красоты. Они росли далеко от Горевки, за ними надо было идти. Помню, за эту красоту была впервые порота отцом. Началось половодье, мост через Горевку снесло и только положили для будущего моста одно бревно. Было бревно толстое, свежее ошкуренное, оттого скользкое. Среди детворы прошел слух, что на той стороне реки расцвели цветы какой-то невероятной красоты, но не перебраться через речку. Хотя по толстому бревну вполне можно перейти. Постарше, Валя Шатилова, Рая Шевченко, еще кто-то, им было лет по 13, собрались перейти по бревну, и за ними увязались те, кто помоложе. Мне было 6 лет. Я тоже пошла, не спросив, конечно, разрешения у родителей, знала, что никто не отпустит переходить через реку, которая еще крутила льдинами и шумела под бревном. Отец как-то узнал, что я на другом берегу. Он взял гибкий прут из заготовок на мордушки, и за мной. Не больно, но памятно высек. И пригнал назад «цветочницу Анюту». А вообще, картина половодья - фантастическая!

Лето зашумит косами, голосами мужиков и баб по рошицам и лугам. «Коси, коса, пока роса!» Плещется в прогретой речке нехитрая рыбешка, звенят стрекозы, украшая своими слюдяными крылышками камыши. Вечерами над дойкой слышны песни доярок. Летом сельский шум длится долго, до полуночи.

Лето для сельских ребятешек было вообще прекрасной порой: речка рядом, причем, каждый «хуторок» купался на своем отрезке реки, который назывался по близости проживания: Соленова, Кузькина, Петракова и т.д. Околки для нас были мичуринскими садами. Здесь и смородина, и черемуха, и полевая клубника, щавель, медунки, полевая морковь, какие-то козлики, баранчики... Поход за полевой клубникой представлял из себя целый ритуал: с вечера оговаривался круг участников: посторонние не должны знать ягодные места, которые будто бы помнились еще с прошлого лета, но почему-то ходили все время на разные. Утром вставали с рассветом. Брели с собой воду и хлеб. Под ягоды несли чаще всего алюминиевые бидоны: они более легкие.

Ягоды почему-то попадались редко, набирали по неполному бидону, а клубника еще уседала от долгого болтания. Но можно было на дно положить богородской травки (чабреца), тогда бидон казался полным. Возвращались «утомленные солнцем», с потрескавшимися от жажды губами: вода быстро кончалась в такой зной, хлеб съедался еще в начале пути, и большую часть похода сильно хотелось пить и есть. Пили из луж, из колеи после автомобиля. Ели кислый жесткий щавель. Ноги, прошедшие за день десятки километров по густой и высокой траве, гудели. Все тело искусано оводами и комарами. Одна радость: можно было открыть крышку бидона, опустить нос и втянуть аромат. Запах спелой ягоды, перемешанный с запахом самой душистой степной травы... Боже! Какой это был аромат! Ничто не может сравниться с этим запахом из бидона! Но есть уже собранную ягоду из бидона было не принято. Экономили.

Отец, приходя с покоса, в загоревших до черноты руках всегда нес для нас с братом собранную кистями ягоду. Особенно много клубники-земляники, чаще мы ягоду называли земляникой, было, по рассказам мамы, в годы войны. Скота, техники было мало, трава не вытаптывалась и часто не скашивалась. Между холмов, в логах, среди влажной ярко-зеленой травы можно было за несколько минут набрать чашку, потом залить ягоду молоком - вот обед для семьи готов. С земляникой в воспоминаниях связан покос.

Покос для детей - особая пора. Думается, что трудней работы на селе, чем покос, нет.

Во-первых, лето - это все-таки отдых, но он нарушен тяжелым трудом в самые знойные дни. Как правило, в это время у крестьян еда была очень простой: молоко, суп без мяса, лук, картошка, огурцы. Другие овощи еще не созрели. В лучшем случае, нарушая каноны петровского поста, кололи для косарей овцу, потому что просто иначе не хватало физических сил. Дети работали на покосе с 8-9 лет на сгребании (волокуши и грабли). Стерня колет босые детские ступни, оводы жалят все открытые места. А самое отвратительное чувство - от сухой трухи, засыпавшейся за ворот, которая колослась, щипалась. Но на покосе формировался характер: ныть было не принято, все мужественно терпели, иначе какой ты крестьянин, какой ты труженик?! Вернувшись с покоса, все бежали на речку, и усталость как рукой снималась. Мы знали, что все сенокосные неприятности временные, и мы начинали понимать, что все плохое рано или поздно в жизни тоже имеет конец. Так жизнь учила нас переносить испытания.

Мы работали с детства не только на покосе. Больше других детских сил отдано свекле. Я полоть ее не умела, не любила, оставляла несрубленной траву, за что попадало от удалых женщин. Но не пойти на поле, даже мысли не было: зарабатывала на школьную форму или швейную машинку, как и подружки. Осенью плечами разгружали зерно с машин, самосвалов было мало. Но самая высоко оплачиваемая работа была на закладке силоса. Здесь работали, когда стали постарше. Приходила с поля машина с рубленной кукурузой, стаскивал массу с кузова при помощи закрепленной доски трактор, а потом надо было запрыгнуть, все в кузове поправить, уложить доску назад. Спрыгнуть и ждать другую машину. Иногда машины приходили быстро, напрыгаешься, но вечером - в клуб.

Лето заканчивалось болью, болью от мыла, горячей воды и солидола. Перед школой начиналось отмывание рук и ног от «цыпок», на которые никто не обращал внимания целое лето. А здесь неделя до школы, когда надо разбитые, растоптанные до плоскостопия босые ноги заталкивать в негнущиеся новые полуботинки - так назывались почему-то туфли и для девочек, и для мальчиков. И даже если полуботинки не новые, а на вырост, то за лето они ссыхались и ничего, кроме мук, для вольных ног они не обещали. «Цыпки» обычно процветали на внешней стороне ладони между большим и указательным пальцем и на внешней стороне ступни повыше пальцев. Старшие сносили муки терпеливо, младшие орали благим матом.

Откуда-то родители приносили перед школой новые учебники, которые, если их раскрыть на середине и втянуть запах носом, источали особый аромат свежести,

чистых промытых опилок и типографской краски. Сегодня запах у книг другой, в нем больше примесей из химии.

Сельская осень. Гогочут, крикают выросшие за лето гуси и утки; мычат, требуя пить самостоятельно возвращавшиеся с лугов повзрослевшие за лето телята. Птицы чинно рассядутся на проводах. Вот-вот потянутся печальные караваны. На полях особый шум: трещат комбайны, по дороге столбы пыли от машин с зерном.

Воздух будто пропах запахом пшеницы и смолистым нектаром поспевающего подсолнечника...

...В маленькой школе у нас был не маленький класс, по крайней мере, среди других классов - десять учеников. Мария Сергеевна Давыденко была учителем, которого мы все помним. Она нас приобщила к знаниям. И это не общие фразы. По-моему, это самое главное для учителя: даже не научить, а показать прелесть знаний, показать, что мир познаний интересен и бесконечен, он не заканчивается школьными учебниками. А какие утренники, праздники, маскарады она нам организовывала! И это в богом забытой Горевке! Потом по жизни мы несли «отметину» Марии Сергеевны, мы отличались, я теперь это точно знаю, от других учеников и в будущем, и поэтому кто-то нам завидовал, кто-то старался не замечать, но мы выросли особыми. Так много в жизни зависит от учителя!

Об одном я сожалела в детстве: у меня не было бабушки. Начитавшись сказок, других детских произведений, где постоянно была героиней добрая бабушка, мне казалось чудом наличие в семье этого человека. Родителям было из-за работы не до нас. И казалось, что бабушка была бы с тобой рядом, гладила бы по головке и рассказывала бы сказки. Отсутствие бабушки у меня будило фантазию, театрализацию. Оттого я, наверное, так любила играть в самодельные маленькие куклы. Помню, я располагалась с куклами на деревянном угольнике, прикрепленном к стенам, как подставка для чего-то, и могла всю ночь играть, только лишь бы мама не спала. Керосиновая лампа еле освещала комнату. Чернели холодные, без занавесок, окна. Когда отец уехал первый раз на родину в Саратовскую область, была зима, за окном часто шумели бураны, и было как-то жутковато, и для храбрости надо было, чтобы мама не спала. Играю, играю, а потом спрашиваю: «Мам, ты спишь?» Она мне: «Нет». Значит, снова играю. И так до глубокой ночи.

Потом чувствую, что мама затихла, собираю своих «подруг», задуваю керосиновую лампу. Играла класса до 7-го. Уйду летом в заросли полыни, построю избушки для кукол, целую деревню, и придумываю сюжеты из их жизни. Кузькины жили на пригорке выше нас. Вовка Кузькин выйдет из дома и ему хорошо видно меня в бурьянах. Крикнет: «Любка!» - и погрозит пальцем. Мол, вижу, что в куклы играешь, дылда! Мне стыдно, спрячусь дальше, но боялась, что «Кузя» снова увидит и расскажет кому-то, что я, действительно, «дылда», а в куклы играю. Тяжело ребенка отнимают от груди, но чувствую, что похоже на то, как меня «отнимали» от кукол.

«В начале жизни школу помню я», - писал А.С. Пушкин. Мое поколение, действительно, начинало свою осознанную жизненную дорогу со школы и потом на протяжении всей жизни в душе хранило какую-то благоговейную мысль о школе. Хотя и у нас были «черные» тетради у директора, несправедливые оценки, подлизы, слабые учителя. Но это уже не нужные прояснения спустя годы. Мы не были паиньками, с нами тоже было трудно, и это мы тоже понимаем. Но для наших родителей учителя были просто святыми людьми и осуждать их никто не смел: вырастут дети, сами разберутся. То есть, мы разберемся. Оттого знания у нас не мутились личными обидами; двоечники наших времен - это если не сегодняшние «хорошисты», то твердые «троешники». Мы прожили жизнь с багажом школы, пополнив его, конечно, в институтах, в техникумах, училищах и самообразованием. Из 10 детей, пошедших в первый класс со мной в 1955 году, 4 - с высшим образованием, 3 - со средним специальным. Так это ведь дети почти безграмотных ро-

дителей, дети, жившие в Горевке, где, кроме шкафчика с книгами, и интеллектуального развития, вроде бы, получить было негде. Ни электрического света, ни радио... Но те школьные программы отличались стабильностью и доступностью. Они запоминались, навсегда врезались в память, позволяли делать следующий и следующий шаг, были базой и опорой. А уж книжки читать школа, действительно, научила на всю жизнь.

*И дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.*

Известно, что раньше анекдот означал историческое событие, и именно об этом написал Пушкин.

Сейчас говорят, что книги заменил «комп». Да, заменил бы, если бы пользователи отыскивали в нем что-то для интеллекта. Совсем малая часть детей читает хорошие тексты в компьютере, находит другую умную информацию.

... Уроки в нашей школе проходили в две смены и учились мы в сдвоенных классах: 1 класс и 3 класс, 2 и 4 классы. Сидели на больших удобных партах. Я такие парты видела в Сростках, в музее В.М. Шукшина. На каждой парте углубления для чернильницы и ручки. Чернильницы носили в специально сшитой маленькой сумочке, которая затягивалась шнурком. Чернила разводили дома в бутылке из специального порошка, купленного в магазине, поэтому они у всех были разные: у кого густо фиолетовые, у кого, чуть сиреневые, кто как разведет. Средний палец был до летних каникул с фиолетовой отметиной, а у учителя добавлялась отметина красных чернил. Красные чернила - мечта для тех, кто хотел стать учителем, исправлять ошибки красными чернилами, ставить оценки. Но они были только у учителей. И как нам казалось, строго охранялись.

Школьная доска была окрашена в черный цвет, она была большая, мел на ней писал четко. Над ней висели 2 портрета: В.И. Ленин и И.В. Сталин. В 1956 году Сталина со стены сняли. Здесь же, у доски, висели прописной алфавит и черное полотно с кармашками и наклеенными на них буквами. Кармашки были полны картонных листочков с буквами. Из них у доски выкладывались слова. На полу стояли счеты. На столе - большой глобус, который украдкой так и норовили крутнуть озорники. На стене висела большая Физическая карта СССР.

Оттапливалась школа грубкой. Топила техничка школы. Первая техничка на моей памяти была тетя Фекла Кондрикова. У нее училась в школе дочь Таня, и ее мама к большой перемене приносила ей горячие пышки из серой муки, помазанные свиным жиром. Иногда к пышкам приносила мерзлое сало - вкуснотища! Она старалась всех детей угостить, потому в моей памяти осталась как добрейший человек.

Потом тетя Фекла и Таня переехали в Алейск и техничкой стала тетя Лиза Никишаева, жена моего умершего дяди. Как мы с Лидой, дочкой тети Лизы, воображали себя учителями, когда приходили мыть пол в школу вместо тети! Мы могли писать мелом на доске, дотронуться до глобуса и даже полистать книгу с песнями!

Первые два урока с поздней осени и до весны проходили при керосиновой лампе. Лампу ставили каждому на парты, и было видно читать и писать.

Дома уроки готовили тоже при керосиновой лампе: пробегает светлое время дня, а домашнее задание делаешь вечером.

В каждый праздник в школе готовился утренник. Обязательно выступали все: кто читал, кто пел, кто участвовал в спортивной пирамиде - это был такой номер, когда при помощи построений, физкультурных номеров дети выстраивали номер: слово «мир», «Ленин» и т.д. Учитель командовал: «Раз! Два!»... Ученики должны были делать спортивные движения руками, ногами. Получалась пирамида, она могла быть украшена флажками, цветами. Было красиво. Затем звучала команда: «Пирамида, руш!» и пирамида постепенно, движение за движением, распалась.

В первый класс мы пошли почти все без форм, в новых ситцевых цветных платьях. Я помню свое первое школьное платье: это был синий ситец, с маленьким белым рисунком. Только Коле Никишаеву тетя Марфа - моя тетя, купила серый гимназический костюм с фуражкой. Он выделялся в классе еще потому, что был всегда очень аккуратным, был очень красивым мальчиком и очень умным, учился на одни пятерки и получил в первом классе Похвальный лист. Как Ленин, считали мы. В будущем он стал офицером, но не справился со своей красотой и умом, стал пить, попал в ДТП и остался в 48 лет инвалидом.

Мне, помню, отец и мать из поездки в Саратов привезли книгу «Тарас Бульба». Отец тоже ее прочитал и восхищался Бульбой. Это была первая и единственная книга, которую мне подарили родители.

Книги я любила с детства, вместо конфет старалась купить книгу. К окончанию школы у меня была их целая этажерка, с ней я и замуж вышла. Родители не поддерживали мое рвение читать, а тем более покупать книги. Мама говорила: «Зачитаешься, с ума сойдешь!» Когда я говорила: «Пойду, почитаю!» - она непременно добавляла: «Почитай отца с матерью!» Отец добавлял: «Был у нас в родне один, читал, читал и повесился!» Такие вот страшилки! Но моя любовь к чтению помогла мне в выборе профессии, позволяла мне быть постоянно общительной, научила разбираться в людях, избавила меня от одиночества. Мне никогда не было скучно с книгами. С каким трепетом я смотрела на библиотеку в квартире Пушкина на Мойке! Ведь именно книгам умирающий Пушкин сказал: «Прощайте, друзья!» Да, эти друзья не подведут и не предадут!

О трудолюбии старших детей отец часто вспоминал в наизидании нам, послевоенным. Я думаю, мы еще переосмыслим жизнь детей, чье детство совпало с войной. Сейчас она пока прикрыта подвигами ветеранов войны, непосредственными участниками сражений, но придет время осмысления подвига жен и детей. Мане в 1941-м было 12 лет, Кате - 7 лет, Вере - 5 лет. Коле - 3 года, а Пете - около года. Вот такая «мелкота» осталась без отца и средств к существованию, я уже не говорю, к жизни. Вся домашняя работа, все хозяйство было на их плечах. Соседка, баба Ольга Кременчуг, часто спрашивала маму: «Наташка, чем девок кормишь? Весь день избу мазали и пели». А чем она могла кормить? Простокваша без хлеба, суп из лебеды. Мама рассказывала, что в минуту отчаяния, лежа с детьми на печке, единственно теплом месте в хате в лютую зимнюю стужу, под завывание в печной выюшке бурана, думала, что не сможет спасти детей от голода и холода. Было бы их двое, трое, но пятерых - сил не хватит! И она мысленно в панике перебирала детей: пусть бы бог забрал... Но кого? Маню? Катю? Веру? Колю? Петю? - господи, а этот еще совсем и не жил! Его - за что? И всех становилось жалко! Кто сегодня знает об этих тяжелых материнских думах!?

На полатах, я помню с детства, хранились две большие сумки со спичками и мылом. На случай войны. Так война очень долго пряталась на печи.

Старшие сестры были очень трудолюбивые, даже слово «очень» не отражает их отношения к труду. Это был трудовой фанатизм с детства. Трудовой стаж их составлял: у Марии - 57 лет, у Веры - 58 лет, у Кати - 41 год.

В 55 лет Катя не пошла на пенсию и работала, правда, уже не фрезеровщицей, как прежде, а контролером на заводе, но ее подвело здоровье: у нее обнаружили рак желудка и срочно прооперировали - полностью удалили желудок. После такой операции она не сдалась: ухаживала за садом и огородом на даче. По дому все делала сама: никто ни разу не побелил, не помыл, не постирал ей. Когда врач однажды пришла к ней на профилактический осмотр домой и увидела, что она белит, она была в шоке. Но операция на желудке была не последним испытанием для Кати: после онкологии ей, спустя 4 года, удалили желчный пузырь, еще через 2 года она сломала шейку бедра. Была тяжелейшая операция, врачи удивлялись стойкости, с которой она ее перенесла - с ее-то анемией, с ее истощением. Ее сначала, когда привезла скорая, положили не

в палату, а прямо в хозяйственную комнату, где стояли швабры и сохли на батареях тряпки для пола. Сыну сказали, что она не выживет, потому что она уже была без сознания. И только знакомая сына, врач, узнав о ее состоянии, забрала Катю к себе в областную больницу, где ее прооперировали. Врачи поражались мужеству, с которым Катя перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Одна нога стала немного короче, но это не мешало ей еще под настроение в компании поплясать. Ну, а петь ей никогда ничто не мешало: ни болезни, ни несчастливая женская доля. Катя всегда находила общий язык с родственниками, знакомыми и совсем незнакомыми. Дядя Миша за веселый нрав, маленький рост, светлые косы звал ее в детстве ласково «Лопушок». Так он ее называл потом уже взрослую.

Всегда у нее было все красиво сшито, выбито, вышито, насолено, наварено, белье выстирано до особой белизны, какую не увидишь у здоровой, молодой хозяйки. До последних дней. А последний день она выбрала сама. Устала бороться, устала болеть, устала надеяться, что придет прежнее здоровье, что придет какая-то поддержка от близких. С виду она оставалась бодрой, сильной, но как это ей удавалось, никто не хотел замечать. Ведь еще до онкологии и последних операций она перенесла уже две полостные операции. «Вся распотрошенная», - говорила она о себе.

В жизни Катя была палочкой-выручалочкой, хотя не обладала податливым характером. Она была боевая, принципиальная, деловая. Но так получалось, что у Кати находили приют, подолгу жили многие родственники, несмотря на отсутствие у нее хорм: самое большое, чем она располагала - двухкомнатная «хрущевка» на четверых в г. Кемерово. Но у Кати жили Вера с мужем, а потом с ребенком, я с мужем, Коля, племянница Валя. В разное время, конечно. Ни у кого из нас не жило столько родственников-квартирантов. И всех нас она терпела. Поэтому, когда она заболела, ухаживать за ней приехала Мария, потом Вера. У меня она пережила самый кризис болезни, когда никто не верил, что она победит этот страшный диагноз. А она прожила еще 13 лет. До того самого момента, когда никто ей уже не смог помочь.

...На кладбище на памятнике у Кати фотография с заводской Доски почета, где она была как лучшая фрезеровщица ни один десяток лет.

...Мария у нас была старшей сестрой. Со мной у нее разница 18 лет. Я родилась, а она вскоре вышла замуж. В годы войны она работала, помогала матери растить младших. Однажды чуть не погибла. В селе объявились бандиты, знали, что мужики на войне, защищать жилье некому. Избы не закрывались, когда взрослые были на работе. Бандиты по наводке обокрали более зажиточную хозяйку. Их искали, но было лето и для бандитов было много мест, где можно отсидеться.

Мария пошла в Крапивный лог, что был рядом с домом, в обеденный перерыв набрать на еду ягоду. Ягода там росла отборная: крупная, сладкая. Она спускалась все ближе и ближе к зарослям густого шиповника, росшего в самом низу лога. Трава здесь была погуще и повыше, поэтому и ягода там была крупнее. Вдруг она почувствовала чей-то взгляд. Глядя перед собой в траву, она увидела злые глаза. Но надо было знать Марию, находчивую, смелую. Она неожиданно громко крикнула будто бы собиравшей вместе с ней ягоду соседке Нине Кременчук: «Нин, иди сюда! Ты где там ходишь? Здесь столько ягод!» - и стала быстро подниматься по склону лога вверх, вроде бы в поиске где-то запропастившейся подруги. Уронила чашку, рассыпала собранные ягоды и побежала что есть духу домой. Бандит следил за ней сразу, как только она появилась в логу и уже приготовил для нее петлю из ремня. Еще бы немного, чуть-чуть растеряйся девушка, и он задушил бы ничего не подозревавшую свидетельницу.

Приехала милиция, выкопали из ямы украденные вещи, а вора настигли в пшеничном поле чуть выше лога. Марию, боясь мести, предупредили, чтобы она вора на опознании вроде бы не признала. Она так и сделала, хотя милиции подтвердила, что это его она видела в логу.

Но вор был матерый и догадался, из-за кого он пойман, и на суде сказал, что найдет ту девушку, достанет из-под земли: «Так ей и передайте!» На суд Марии тоже не разрешили приходить.

Вместе с сестрами и братьями ей пришлось поголодать. Вспоминается случай, рассказанный ею, как она с тетей Лизой поехали в войну в село Башов Лог, где жили родственники, попросить картошки. Там их в каждом доме старались покормить (жили как-то там покрепче) и когда они поехали в третью семью, то Мария попросила: «Теть Лиз, если будут предлагать поесть, ты не отказывайся, давай еще поедим!»

Старшая сестра и по жизни была такой бесстрашной, отчаянной. Бедовая до хулиганства. Мама вспоминала, когда она с двоюродной сестрой приходила с «улицы», то полночи не могли уgomониться, смеялись и просмеивали всех, кто как плясал, кто как пел. В руках у нее все горело! Она рано научилась шить, причем, тоже по-своему чересчур самостоятельно. Мама вспоминала, как пришла с работы, а Мария хвастает: «Мам, глянь, какую я себе сшила кофту красивую!» Кофта и действительно была сшита прекрасно. Но когда мама посмотрела в сундук, то увидела, что из 6 метров остались одни лоскуты, а она собиралась сшить платья еще меньшим. Это был последний кусок ситца и старшей за красивую кофту досталось.

По темпераменту она была артистка-юмористка и хулиганка. Если бы не война, она обязательно бы выучилась, потому что была способной: писала очень красиво и грамотно, лучше нас всех. Мама говорила: «Как Манька письмо пришлет, все прочитаешь. А другой кто, надо людей просить! Манькину руку мы хорошо разбираем!» И с математикой у нее было нормально, ведь работала счетоводом, продавцом. Даже уехав в Хабаровск, она не потерялась в большом городе и до пенсии работала заведующей торговой секцией в гастрономе... И потом, в 60 лет, уступив дорогу молодым, работала техничкой в магазине еще 10 лет, уйдя на пенсию в 70 лет.

Мария, как, впрочем, и все сестры, была музыкальной, хорошо пела. Могла сыграть на гармошке плясовую. Но как женщина была с типично русской, не очень счастливой, женской судьбой.

Мария, как все сестры, была хорошей вышивальщицей. Помню, была традиция: на пасху надевать детям обязательно новые наряды. А где их было взять? Мама дала Мане миткалю (белой материи) и попросила ее вышить мне кофточку. Вот подходит пасха. Мария жила в это время в Ильинке, в поселке через речку от Горевки. А к этому времени подгадало половодье. Мост, как всегда, сорвало: эта суета была в Горевке каждую весну. Я до сих пор помню чувство досады и ожидания, которые навалились на меня: не покрасоваться мне в вышитой кофте. Но это была бы не Мария, если бы она не нашла выход. Она пришла к берегу напротив нашего дома, нашла более узкое место на речке, где еще у берега лежал снег и, положив в газетный сверток с кофтой камушек, перекинула сверток на другой берег. Мне было лет пять, но благодарная память хранит этот случай всю жизнь, ведь была я на пасху нарядная.

Жила Мария одно время в Ильинке далеко, на краю села, работала дояркой. Представляю, сколько грязи, снега она перемесила молодыми ногами, сколько всяких трудностей переживала, например, в бураны зимой. Но унывающую я ее не помню. Я еще не ходила в школу и любила гостить у няни Мани, как я ее звала маленькая. Вечерами мы с Валей, ее дочкой, которая моложе меня на 2 года, но росли и общались мы с ней постоянно, не могли Марию дожидаться: придет, включит патефон и потекут песни в избушке: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»...

Или: «Солнце скрылось за горою»...

Именно эти пластинки я помню. Но их было много. Где покупала, на какие деньги, не знаю.

...Летом 1962 года я поехала к дяде Мише в Саратовскую область. Тогда я многое испытала впервые. Я впервые ехала на поезде так далеко. У дяди Миши я увидела впервые яблоневоый сад.

Однажды рано утром зашла в сад, еще была роса, она капельками дрожала на розово-полосатых яблоках. Яблок было много, поэтому от деревьев шел такой аромат сладости и свежести! Иногда яблоки срывались и падали в мягкую зеленую траву. Вся эта картина для меня была фантастической: наливающимся соком яблок я не видела никогда.

Здесь же я впервые увидела настоящий лес.

Помню, соседи Шатиловы приехали в Горевку из Мамонтовского района и всегда нелестно отзывались о «достопримечательностях» нашего села: «Одни бугры голые, как пельмень». И расхваливали бор в Мамонтово, озера. Я приставала к подруге: «Нин, расскажи, а как это - бор, что это такое». Она расписывала, что это много-много деревьев, и в бору грибы, ягоды. А какие красивые лоси там живут и можно увидеть лосиху с лосятами. Спустя время я снова приставала: «Нин, а как это - бор?»

... «Я рос без прошлого», - хочется сказать, повторяя Павла Флоренского. Так сложилось. Только в зрелом возрасте мне удалось прикоснуться к истокам родословной и побывать в местах, где родились отец и мать.

Папино родное село расположено в красивейшем месте: холмы, покрытые лесом, река Сердоба. Недалеко город Сердобск, где выпускали знаменитые настенные часы-ходики с гириями и картиной Шишкина «Утро в сосновом лесу». Село большое. Было. Сейчас здесь живут почти одни пенсионеры, но село чистенькое, ухоженное, каждый домик сохранен, подкрашен. Я даже нашла чужой дом, построенный моим дедом. Дед тоже, как и отец мой, плотничал. По углам дома, на наличниках какие-то вырезанные орнаменты. Дом, построенный Василием, двоюродным братом, тоже расписной. Ни у кого не повернется назвать село заброшенным.

Все свободное время я ходила по селу, убрала на кладбище могилу деда и брата, покрасила оградку. Посидела с сельчанками на вечерней зорьке на скамеечке, послушала их прекрасное пение. Мне и раньше никогда не казалось, что везде у нас одно солнце, одни звезды. Везде оно для меня было разное. Тянуло запахом ближнего леса, прямо через дорогу находилось не заселенное никем место усадьбы деда, где когда-то вечерами загоняла скотину бабушка, бегали прямо вот здесь отец с братьями... Путешествие к родным, отчим местам - это машина времени. Отец был бы доволен.

Родина мамы - село Госьково в Калужской области. Село, как и моя Горевка, исчезло, начиная со времени разделения сел на перспективные и неперспективные, не сохранило себя, хотя места здесь замечательные: лес, река, лесные поляны. Я поняла, что такое русская поляна, только здесь. Вот на этой опушке собирала ягоды Снегурочка. По лесной тропинке убегал-катился Колобок. А здесь, на кочке у болота, нашел свое счастье Царевич. Здесь у темной воды грустила Аленушка.

Сладок и пахуч был калужский мед с лесных полян, душисты антоновские яблоки из сада родственников. Но как интересно устроен человек, где отчий дом, семья - там и родина! Душа одинаково болит, не выбирая по красоте. Наверное, поэтому нам до сих пор снится исчезнувшая Горевка с ее буграми, логами, степью.

Однажды открыла томик стихов Николая Рубцова. Книга распахнулась на странице со стихотворением «Что вспомню я?»

*Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою...*



Ирина ШАПОШНИКОВА,

доктор филологических наук,
профессор Новосибирского
государственного университета

РОДНОЕ СЛОВО - ЗНАК СПАСЕНИЯ

Чего бояться русские, думая о будущем? Потерять своих детей, как это уже не раз случилось в насыщенном кровопролитными войнами прошлым веке. Однако дети не только гибнут на полях сражений. Можно не найти с ними общего языка, и они уйдут от нас сами. Разрыв поколений столь очевиден, что даже из уст корифеев лингвистики можно услышать, что только язык объединяет сегодня наш народ.

Этнизация языковых процессов неизбежна в силу природы языка как знаковой системы, способной выводить вовне содержание нашего сознания. Одновременно неизбежна и их глобализация, то есть расширение функций языка при расширении культурного пространства его носителей. За этническое и цивилизационное расширение или, наоборот, сужение пространства культуры платит не только народ, но и его язык. Рассматривая язык как объект воздействия, мы должны понимать, что не сам язык - конечная цель такого воздействия, а сознание его носителей, тот образ мира, который мы в своей общенародной деятельности (или бездеятельности) вырабатываем и оставляем в наследство нашим потомкам в качестве привитых с детства мотивов и установок на организацию своего жизненного пространства.

На первый взгляд может показаться, что русские потерялись в своем геополитическом пространстве, перестали ощущать его пульс, а вместе с ним и жизнь своего языка. Так, например, студенты, пришедшие в вуз после окончания школы, делают для себя удивительные открытия, узнавая, что не только английский, но и русский является мировым языком, одним из лидеров в своем коммуникативном ранге, способным обеспечивать международное общение. Ведь только на территории Российской Федерации проживает около 180 народов!

Зачастую никто из участников образовательного процесса не задумывается об этом и не заботится о ликвидации безграмотности в этой области. Более того, насаждается англоизация информационных пространств (торговля это принимает как данность: язык того, кто первый продал технологию миру, получает приоритет при продвижении товара). А чем мотивирована устоявшаяся привычка давать английские и псевдоанглийские названия магазинам и мелким лавочкам в российских городах и поселках, где и нога-то иностранца не ступала ни разу? Мы сами часто сужаем пространство своего языка, покорно заменяя его иностранным там, где он по праву являлся бы альтернативой последнему. Наверное, хорошо, что русские могут «козырнуть» знанием иностранных языков, но ведь есть и вопросы идеологии своего этнокультурного пространства.

Дети нашего смутного времени словно лакмусовые бумажки демонстрируют следы тех процессов, которые мы, старшее поколение, запустили (или попустили) в свое время. Особенно ярко ущербность общения проявляется в утрате чувствительности

к стилям родной речи. Если академики и ученые еще не стесняются высказывать уважение друг другу в обращениях «(Глубоко) уважаемый Иван Иванович!», то молодые «рубахи-парни» панибратски обращаются к преподавателям, старшим коллегам и редакторам научных журналов: «Здравствуй(те) Иван». Естественно, такая форма обращения звучит вульгарно для уха русского человека, воспитанного в иерархии ценностей советского времени. Англизация здесь очевидна, как и дефицит начального воспитания и образования.

Вызывает беспокойство отсутствие знаний о языковых средствах, позволяющих полноценно выразить свои мысли. Примитивизация дискурса проявляется в клишированности и усеченности средств выражения смыслов: зачастую от человека невозможно добиться полноценных высказываний ни в письменной, ни в устной речи. Они заменяются ключевыми словами. Атрофия чувствительности к многообразию средств родного языка, утрата любви к родному слову, низкая грамотность, пренебрежение нормой - вот далеко не полный перечень вызовов, с которыми приходится иметь дело русским гуманитариям.

Проведя экспериментальную работу в вузах самых крупных сибирских городов, мы получили длинный до бесконечности список элементарных орфографических (если бы только!) ошибок, которые очень хотелось бы отнести к специальным (шутки ради) искажениям форм, но никак не получается, так как они упорно повторяются у разных участников эксперимента. У наших студентов *мука молется, сумашедшие портизаны возделывают кого-то, лаконичный лак и цвет, лаконичный = лакированный, бизнес экспортирует невь, но есть потреотизм, руболь, трайлебус, систра и другая вещь*. Сюда можно добавить: *лож, паметник, писемизм, шарв, медко, не здаватся, мелиция, сталица, учоба, кено, песатель* и многие другие. В общем, скорьбь великому реформисту, ибо эти перлы стали нормой для выпускников школ, поступивших в вузы.

И это происходит, несмотря на богатство новых информационно-технологических возможностей, которые, казалось бы, должны способствовать обратному. Нельзя не согласиться с коллегами в том, что отчасти проблемы связаны с состоянием современных СМИ и Интернета. Концентрация сознания зрителя (читателя) все время разрушается под воздействием рекламы. Люди привыкают к этому, и такая схема восприятия информации входит в подсознание. Достаточно переключить телевизор с самых доступных каналов, где господствуют разбавленные рекламой передачи, на канал «Культура» и посвятить какое-то время просмотру полноценно транслируемых передач, чтобы понять и ощутить разницу между потреблением картинок, вперемешку с установками на псевдопотребности от торговца брендом (то есть толпотворением) и подлинным общением (истинным контактом) носителей культуры. Второе требует времени и творческих усилий как от создателя культурного явления, так и от адресата.

Носителям русского языка сегодня не грех задуматься: как каждый из нас транслирует русскую культуру через свой родной язык. Что именно он несет миру? Не потому ли культура наша стала терять привлекательность для других, что мы сами утратили от ее созидания и сохранения?

Современное русское общество самоустраняется и от языковых процессов. Даже лингвисты уходят из лингвистики, переключая свое внимание на искусственно сконструированные ментальные процессы, что настраивает на пессимистический пад при осмыслении ближайшего будущего нашей науки. Как редактору научного журнала мне приходится констатировать, что в среднем из каждых десяти рукописей, поступающих в редколлегию в последние годы, 80% посвящено описанию многократно изученных (и по одному шаблону описанных) концептов. Очень хорошо, если в оставшихся 20% действительно исследуются языковые процессы.

Увлеченность менталистикой - одна из причин, по которым языковые изменения последних десятилетий остаются во многих своих аспектах вне поля зрения специали-

тов, а потребность общества в большой работе по упорядочению и нормированию новых сфер использования языка - неудовлетворенной. В масштабах страны так и не решены вопросы систематизации и описания с переводом в учебный формат новых научных достижений, особенно в междисциплинарных областях. Такие дисциплины, как социо-, психо- и этнолингвистика, могут уже сейчас давать ответы на вопросы, волнующие молодое поколение русских людей, уж не говоря о типологии языков Евразии, дающей ключ к лингвистическому, а вслед за ним и культурному, экономическому, политическому взаимодействию в нашем геополитическом пространстве. Однако доля этих дисциплин в наших стандартах ничтожна, а в усеченных реформаторством программах бакалавриата им вообще не отводится места. Предлагаемые высшей школе схемы финансирования исключают возможность нормального выполнения масштабных лингвистических проектов.

Современному человеку бросают вызов не только природные катаклизмы, но и техногенная цивилизационная среда, созданная им самим. Подлинная культура не как пресловутая товарная форма, а как чисто человеческий способ регуляции поведения себе подобных, единственная способна противостоять этим угрозам. Она состоит из нравственных выборов и поступков, а не из компромиссов с драконами саморазрушения. Подлинная культура требует и экономики нравственных решений. Выпавшие из нее, растерянные русские на рубеже веков все время по привычке подгоняют себя под умозрительные мировые стандарты, вместо того чтобы давать своим детям элементарные знания, приобщая их к нормам родной культуры и разъясняя им угрозы цивилизации. Языковой результат суетливо-реформаторского воспитания очевиден - вульгарность, грубость, агрессивность общения.

Советская система образования, вопреки вылитым на нее ушатам грязи, была вполне достойной, адекватной задачам высокообеспеченного общества того времени. Она отвечала интересам производителя, инженера и рабочего. Если этому обществу чего-то не хватало, оно стремилось создать недостающий продукт самостоятельно. Как человек, выросший в семье инженера и в окружении таких же семей, я прекрасно помню это состояние общественной среды. Сами проектируем и строим себе лодки, на которых много лет плаваем, изучая родные просторы, выделываем шкуры и шьем шубы для всей семьи; кладем печи; проектируем и возводим постройки; создаем машины. И все это без отрыва от основной работы на предприятии! Любая техническая неполадка, любая задача легко решалась в семье инженера, а его образование позволяло ему все это делать.

Постперестроечная система отреформирована под торговца, а потому она часто ориентируется не на свои мозги и производство, а на потребление готового продукта, пусть даже произведенного непонятно как и из чего и завезенного непонятно откуда. Очевидно, что общество утрачивает навыки созидания при таких подходах, а внутренний раскол, замешанный на потребительском нигилизме, только усиливается за счет импортированных идеологем. Безнравственность наших реформ в том, что они шли от установок этого нигилизма. Они были начаты и проведены, прежде чем общество смогло прийти к осознанному согласию об их содержании и целеполагании.

Что ищет для себя в будущем уставший от преобразований русский? Покоя? Как решается классический гамлетовский вопрос «быть или не быть?» Ища покоя и свободы от цивилизационных проблем, мы убегаем в другие страны, в себя, на новые «просторы». Но куда бы мы ни убежали, свою цивилизацию мы несем с собой. Поэтому есть другой, подходящий истории своего отечества путь - не под покровы удобного цинизма, с которым легко не быть, а в лоно родной культуры, где нужно быть и утверждать себя, и идти, и преодолевать, и обретать чувство собственного достоинства, и передавать его детям. Нужно искать ответы на самые трудные вопросы. Вот один из них: что мы как этнокультурное сообщество сделали со своим отечеством за послед-

ние десятилетия? Самоутвердились и упаковались в броне индивидуальных отсеков? Что можно передать в таком состоянии своим детям? Они уже связывают свою страну и язык с русскостью, а готовы ли мы к этому?

По данным массового ассоциативного эксперимента, который проводился лингвистами в азиатской части России, устойчивость связи образа ЯЗЫК с образом РУССКИЙ только за последние несколько лет возросла многократно. Можем ли мы сегодня осознать в полной мере роль нашего языка в самоидентификации людей русского мира? Она растет объективно, но сможем ли мы управлять этой стихией? Что подлинно значимого о стихии нашей народной жизни и о своем отечестве можем мы, лингвисты, филологи, литераторы, поведать, глядя в глаза наших детей? Для такой исследовательской и образовательной деятельности нужна не митингово-лозунговая идеология патриотизма, не перманентное переформатирование стандартов, а вдумчивая работа, теплый, задушевный разговор учителя с ребенком в лоне родной культуры. Нам нужны и знания языка, и знания о языке, о стихии этнизации языковых (и иных социальных) процессов для передачи системности и богатства образов родной культуры. Нужна государственная программа информационно-аналитической поддержки повышения квалификации лингвистов при снижении эксплуатации преподавателя и расширении его поля свободы для творчества.

Спасет ли нас родной язык в нашем желании обрести единение в родном отечестве? Конечно, если мы примем его со всеми новообразованиями и «изъянами», с любовью и радостью будем изучать и созидать его мощь и богатство, если сумеем воспользоваться им, чтобы растолковать себе и нашим зараженным вирусом потребления и равнодушия детям, что значит быть русским сегодня и нести ответственность за свое многонациональное отечество. Ведь только родное слово может начертать в наших душах лик народа, тот спасительный образ, за пределами которого звериный вопль толпы.

ПТИЧКА МОЯ

Остроумно замечено, что для греха нужны как минимум двое. А для счастья? Лев Толстой много рассуждал о счастье, но, видимо, думал о нем еще больше. Даже полагал, что конечная цель философии - счастье человека. Однако!

И он же устами Платона Каратаева в «Войне и мире», гениально определил: «Счастье наше, дружок, как вода в бредне: тянешь - надулось, а вытацишь - ничего нету».

Древние потрясают онтологичностью суждений: они словно прямо с неба, из первых рук получают истины. Отсюда их глубочайшая уверенность в своей правоте.

«Счастье внутри человека, а не вне его», - считал Сенека. И, поди поспорь! Он же - «жизнь не сама по себе благо, а только хорошая жизнь». То есть - добродетельная.

И опять о добродетели, но уже Марк Аврелий: «... добродетель и нравственное поведение состоит в умении жить согласно природе». Вот вам и работник в «мастерской природы»! Мы-то сегодня все отчетливее осознаем, как оно бывает, если природу брать за горло и ломать через колено.

А древний две тысячи лет тому назад связал нравственность человеческую с состоянием окружающего мира. А как великолепен Аристотель: «Даже боги не в силах переменить прошлое».

Евангелие пронизано тем же духом неколебимой убежденности и великим магнетизмом точно в сердце направленной истины: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая». Без любви все - ничто. Христос усиливает эту идею до предела, даже самую большую жертву человека - если в ней нет любви - не признавая: «Если я предаю и тело мое на сожжение, но любви не буду иметь, я - ничто».

Так что же такое - счастье? Не знаю ответа до сих пор. И Лев Толстой, если верить Платону Каратаеву - пасует перед неуловимостью этого самого желанного и таинственного состояния человеческой души.

Древние больше разговаривали со звездами, ходили под звездным небом, их осязание мира физически (согласие с природой) естественно перетекало в связь духовную, ведь это Пифагор сказал первым о «музыке сфер». Как он мог догадаться тогда, без всяких нанотехнологий, что космос звучит буквально, как оркестр? Современная наука подтвердила это лишь сегодня.

И почему Кант в конце жизни тоже сказал, как о самом для него сокровенном - о звездном небе над головой и нравственном законе внутри?

Да, великие истины, как вершины, стоят в тысячелетиях, а счастье человеческое петляет, словно заяц по полям и лови его, как можешь.

Помню, как в тринадцать лет забрался на гору приземления большого трамплина в Москве. Высота - с тридцатизэтажный дом, на ногах слаломные лыжи, внизу, в сумерках, едва различимые две фигурки товарищей. На концах своих лыжных палок они подняли и держат толстый стальной трос, закрывавший трамплин.

В груди взметнулась и забила, забила крыльями птичка, жажнул мороз по спине и - в пропасть! Кто не помнит это мгновенное ощущение преодоления? Когда уже ясно, что назад невозможно, только вперед и будь что будет!

И лишь проскочив под тросом, я вдруг как-то сразу представил, что бы случилось, если бы этот трос соскользнул хоть с одной палки. Но - я сделал это! Я доказал, я смог.

Счастье? Вряд ли. Но без опыта физических ощущений, которые бурно дает молодость, когда беспричинный смех вовсе не признак дурачины, а просто щенячий восторг оттого, что ты есть, ты живешь, и будешь жить вечно - без всего этого физиологического проникновения в материю жизни - вряд ли состоится и духовный прорыв в более высокие сферы.

Мой любимый рассказ у И.Бунина - «Солнечный удар». Я обожаю его за почти физическое осязание простора, неба, теплого солнечного ветра, который напоил все вокруг, пропитал до самого дна, до последней клеточки своим золотым светом.

За то чувственное опьянение, которым полны этот день и люди, случайно оказавшиеся вместе на палубе парохода, за взволнованную сдержанность поручика и дразнящую женственность молодой особы в холстинковом платье. И за боль финала.

Но я бы никогда так остро не понял и не ощутил этого бунинского шедевра, если бы сам, в двадцать лет впервые оказавшись на Черном море, не пережил своей колдовской встречи с солнцем. В те минуты полуденной передышки между морем и морем, лежа на открытой веранде, я вдруг сам ощутил себя абсолютной частью солнца - я ощутил, как блаженно горит изнутри и снаружи мое тело, как звенит кровь, ставшая будто бы золотой и сияющей, словно сам ветер солнца ворвался во все атомы моего существа! И вся энергия заложенной в меня жизни вспенилась какой-то дикой радостью, что я такая же часть всего сущего, как это солнце, и море и тоже звенящие от солнечного ветра деревья.

Я не перечитываю «Солнечный удар» Бунина, боясь потерять первоощущение, но я не забываю о его солнце, бросившем двух людей в объятия друг друга, потому что любовь бывает такой же внезапной, как счастье, а счастье таким же, как солнце.

Между прочим, Аристотель однажды сказал: «Поэзия философичнее и серьезнее истории». А Шлегель попозже добавил: «Поэзия и философия должны объединиться».

Наверное, потому, что и мудрецы, и поэты одинаково категоричны. Но ведь они - слышат звезды! А поэты еще и видят то, что не видит никто, только они. И поэтому их категоричность - дар свыше.

*Сквозь желтый ужас листьев
установилась зима...*

(Пастернак)

*Целый день осыпаются с кленов
силуэты багровых сердец...*

(Заболоцкий)

Этой весной мы с моим младшим сыном Леней, которому пять лет, идем по ледяным лужам. «Папа, ты видел уточку в луже?» Я оборачиваюсь и вижу прямо в центре лужи ледяную корочку, точь-в-точь повторяющую силуэт утки. Как он увидел? Шли быстро, доля секунды, он выхватил образ боковым зрением. Чудо.

А мой старший сын Георгий, которому сейчас девять, в три года подошел и не спросил, а как бы сформулировал: «Есть только то, что существует». Я упал со стула. Ну, не читал же он Сократа?

Бог, не знаю за что, подарил мне на склоне лет общение с ангелами. Я держал в своих руках ангелов. Когда родился мой первый мальчик, мне шел пятьдесят первый год. Однажды, осторожно касаясь губами теплого его родничка на головке, я ощутил

несравненное ни с чем благоухание младенца. Утверждаю - в природе ничто не пахнет так блаженно, как макушка младенца. Этим невозможно надыхаться! Потому что это не земной, а райский запах. Так пахнет в раю, из которого они, ангелы, приходят. И они божественно благоухают, потому что еще безгрешны. А как великолепны эти маленькие господа, когда в колясках, словно китайские мандарины, выезжают на прогулку со своей «прислугой»! Они благосклонны, величественны, благородны, доброжелательно любопытны...

Увы, годам к двум, с появлением отчетливого сознания, благоухание исчезает. Какими же мы приходим к старости своей? А ведь все, все без исключения являемся в этот мир - ангелами. И не случайно с умилением тоскуем о безвозвратно ушедшем детстве и юности, потому что там были чище и еще помнили о рае.

Похоже, дети в младенчестве, действительно, что-то очень важное знают больше, чем мы. Я помню, как однажды Георгий, которому было чуть больше полугода, вдруг серьезно, не отрываясь, посмотрел мне прямо в глаза. Я оцепенел: он изучал меня, глубоко, сосредоточенно, словно взвешивая всю мою невидимую сущность, будто стараясь понять, кто же ему достался в отцы, что за фрукт? И ничто его не отвлекало в эти торжественные секунды, ни мои улыбки, ни мои клоунские гримасы, которыми я, смущенный, пытался его «сбить». Он включил свой проектор, осветил меня (только ли он?) и он выключил его сам, когда что-то понял.

Так же обошелся со мной и Леня, младший. Он тоже не отказался узнать, к кому его определила судьба.

Поразительно, что, умирая, мой отец посмотрел на всех нас тем же взглядом. Он переводил глаза на каждого из нас, его близких, и словно бы видел что-то оттуда же, откуда смотрят на нас наши младенцы.

В октябре 1996 года, стоя над свежим холмом отцовской могилы в Переделкино, я вдруг увидел, как на ограду слетелись синички. И одна из них запорхала прямо передо мной, на расстоянии руки, словно заглядывая в глаза. А потом села на карман куртки и почти ласково щипнула между большим и указательным пальцем, в то же место, где у отца еще с молодости была татуировка морского якоря. И сразу же вся стайка вспорхнула и исчезла. Уже на платформе я обнаружил, что на руке краснеет пятнышко с маленькую монетку. Оно продержалось ровно три дня.

Что это было?

В моей груди тоже живет птичка. Я почувствовал ее присутствие в раннем детстве. Это она дала мне испытать в жизни дивное ощущение, словно и ты, вместе с ней взмываешь, уносишься куда-то ввысь. В самую высокую высь и растворяешься в счастье - от музыки ли, от любви, от проявлений человеческого благородства и отваги, или же просто потому, что твой ребенок неосознанно прижался к твоей руке и тихо потерся о нее щекой?

Пока она бьет крыльями там, внутри, кажется, еще можно успеть что-то исправить, успеть покаяться перед теми, кому причинял боль. И хотя прошлое не способны изменить даже боги, каждый миг настоящего - это твое будущее прошлое, а значит, его надо просто не испоганить.

Я догадываюсь, какой вопрос решали мои дети, так сурово вглядываясь в меня: «Человек ли ты?»

Ребята, я буду стараться. И вы тоже будьте людьми...

Михаил ПЕТРОВ

СЛОВО О ЛЕШЕМ

Заметки о писателе Глебе Горышине

... Я взялся тогда почти в одиночку издавать журнал «Русская провинция», переехал в Новгород, жил в одноглазой двухкомнатной квартирке, окном выходящей на черную крышу детского кафе, из глухого уголка кремлевского парка ночами раздавались крики о помощи и нередко постреливали. Я с тоской вспоминал Тверь, где жизнь, в общем-то, тоже не сулила ничего хорошего. Но отступить не хотелось...

Благосклонная судьба свела меня там с Глебом Горышиным, который вскоре стал Глебом, а потом товарищем, наставником и, на какое-то время, смею сказать, другом.

Глеб Александрович Горышин родился в 1931 году и в начале 1990-х, несмотря на дружеское Глеб и Миша, воспринимался мною как классик и старший товарищ. Сейчас разница в возрасте кажется мне небольшой, всего семь лет, а тогда, в незримой очереди живущих и уходящих, он виделся далеко впереди. Его дружба с Юрием Казаковым и Шукшиным, Конецким и профессором Бурсовым, академиком Панченко, Балашовым и Курочкиным внушала почтение. Разделял нас и его ранний «старт»: Ленинградский университет он закончил в 1954 году, первый рассказ напечатал в «Неве» в 1957, первую книжку выпустил в 1958, вступил в Союз писателей в 1960-м в Ленинграде же, где в том году я начал службу в армии и даже не помышлял о сочинительстве. Он успел уже пожить на Алтае и Сахалине, сняться как актер в фильме Шукшина «Живет такой парень». Шукшин писал ему: «Глебушка! Люблю твои письма - длинные, нескладные, умные... Люблю твою честную прозу...» Его лучшая проза, повести «Запонец», «День-деньской», «Други мои» была востребована и любима читателем. А имя критика упоминала в ряду с Беловым, Конецким, Шукшиным.

Был он бродяга, исколесил Алтай, Карелию, Дальний Восток, любил ездить на Валдай и в Старую Руссу. Его считают своим и на Алтае, и на Валдае, и в Тверской области, и в Карелии. В Новгород приезжал к Б. Романову и Д.М. Балашову, потом стал приезжать и ко мне, причем, всегда удивительно вовремя. Приезд его придавал мне сил, все как-то рассасывалось в его присутствии: и безденежье, и коварство начальства, и наветы писателей... Под мудрым, спокойным взглядом неразрешимые проблемы мельчали, отступали вовсе.

А когда становилось совсем невмоготу, вдруг приходило его письмо:

«Миша! Мой вам сердечный привет!

Написал о Ленькине более условленного, но ей-богу, парень того стоит. 4 странички - это уже как бы и новелла, мой жанр. Так что надеюсь на Вашу благосклонность.

До встречи у Ленькина на Шелони. Глеб Горышин».

И заявлялся сам с питерским поездом или автобусом: медленный, долговязый, изогнутый, освещая все чудесной своей улыбкой. Становилось тесно, потолок служебной квартирки-инвалида с высот его роста делался еще ниже. Я отводил ему гостевую комнату без окна, он перегораживал своими мокасинами 47-го размера узенькую при-

хожую, доставал из сумки домашние тапочки и тревога моя отступала. Мы садились за столик, появлялась нехитрая еда, бутылочка, заводилась беседа. Он рассказывал, я слушала:

- Как-то вез я в Старую Руссу знакомых англичан, остановился у Старого Шимска отдохнуть. Иван Ленский сварганил уху на берегу Шелони, англичане похлебали её, обеззаразив какой-то шипучей таблеткой, колонизаторы старые, опытные, Иван давай читать свои стихи, переводчик переводить:

*Здесь с песней ветра слит мой голос
И с вешней трелью соловья.
Я - ветка яблони, я - колос,
Травинка малая - все я.*

И так им его стихи легли на сердце, что в Лондоне нашли они переводчика Пушкина и Ахматовой Ричарда Маккэйна, показали тому. А тот перевел. А англичане в благодарность за хорошую уху сделали сюрприз, напечатали книжкой, да на двух языках!.. Представь-ка удивление Ивана (шел 1990 год!), когда почтальонка принесла ему всю в сургучных медальях бандероль из Лондона килограмм пять весом! Там сотня книжек и гонорар в фунтах стерлингов! Ленский закатил пир, вся деревня стояла на ушах...

Оставлял свою новеллу о Ленском, книжку стихов, изданную в Лондоне на двух языках, я обещал напечатать, он позвонить... И уезжал ненадолго. А когда становилось совсем уж худо, он каким-то непостижимым образом чувствовал и это, и являлся уже без предупреждения. Подавал свою теплую, всегда сухую ладонь и говорил, улыбаясь:

- Давно мы с тобой к Ленскому не ездили... Не поехать ли?..

Героев своих рассказов, эссе он не забывал, общением с ними наслаждался долгие годы, в знак особого расположения возил к ним и меня. А с поэтом Иваном Ленским из деревни Старый Шимск подружился. В бытность Горышина редактором «Авроры», Ленский «открыл» ему писатель Марк Костров. С тех пор уже он опекал Ивана, печатал стихи, не забывал. Мы не раз ездили к нему рыбачить, ходили купаться на Святое озерко.

Ленский человек очарованный, тянулся к тайнам жизни. Приедет и расскажет, что чай пьет только из своего родника, такой он чистый и целебный. Один раз мы с Глебом приехали к нему в гости. Дома Ивана не нашли, ушел на родник за водой для чая. Стали искать. Ходили, ходили, спрашиваем у рыбака, не знает ли он здесь поблизости родника?

- Нет, родник в другой стороне, за деревней, - уверенно отвечает рыбак.

- Да тот, где Ленский воду берет, - уточняет Глеб.

- Ах, Ленский!? Вон там за кустами его видел. Иван вам наговорит, только слушай. Ямку какую-то выкопал в берегу и баночкой воду черпает.

Находим Ивана. Он смущен, явно не ожидал нас. В берегу углубление, на дне шарик прозрачный пульсирует. Подобных родников по Шелони сотни: копни и заструится. Но таких очарованных людей Глеб и любил. Иван держал и кур каких-то особенных, по виду обыкновенных пеструшек, а в его поэтическом воображении они несли особенные, сказочные, чуть не золотые яйца. И воду он пил только из своего родника, а раз в год, на Иванов день, ходил купаться на Святое озерко километров за восемь, в болото. Два раза водил туда и нас. Глеб все это в Иване поощрял и развивал: и кур, и целебную воду, и купание в Святом озерке.

Умел он высмотреть в мелочах жизни важное и значительное: в случайно услышанном слове, мелькнувшем в череде жизни эпизоде.

- Мишель, а кто тут у вас во дворе на длинной вожже крошечную собачку водит?

Рассказываю о вежливом, всегда ясно улыбающемся инвалиде ума Коле. 1993-й год. Пенсий не платят и инвалидам. Мать объяснила Коле, мол, оттого не платят, что люди не работают. Коля гуляет теперь по утрам с собачкой, призывает всех к работе:

- Здрасьте! На работу? - И если ответ утвердительный, поощряет безмерной улыбкой: - Молодец, молодец, правильно, правильно. Надо, надо работать!..

А вечерами заботливо встречает:

- С работы? Надо, надо отдохнуть. Завтра на работу...

- Это персонаж, Мишель, опиши! Хоть одного человека в стране заботит работа.

Отец Глеба был помощником лесничего под Старой Руссой, потом лесничим, возглавлял трест «Ленлес», репрессирован. Детство писателя прошло в п. Вырица под Ленинградом. В «Родословной» он ярко описал это. Природу и человека, внимающего ей, Горышин любил по наследству, как и русскую прозу о природе. Пришвина, Соколова-Микитова читал с детства, потом сам писал чудесные рассказы и эссе о лесниках, охотниках, геологах. Они учат любить и беречь родной лес, его птиц и зверей. За ту доброту и сердечность любили писателя Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин, В. Конецкий, миллионная аудитория читателей. В те годы ходил он в самых читаемых авторах. «Я был как дома в Новгороде, Вильнюсе, Вологде», - напишет он в автобиографии.

И сегодня его проза поднимает в сердце волну тепла, вся она просится в школьные учебники рядом с Пришвиным и Соколовым-Микитовым, которых он читал. Не раз приезжал в Тверскую область, к «дедушке Микитову». «Мне казалось в детстве, что дедушка Пришвин - вечный, всегда будет с нами, как лес, степь и горы, но он ушел от нас, как все люди уходят, я не успел его повидать», - писал он в эссе о Пришвине, съездив в Карачарово к Микитову: - Мы сидели с дедушкой Микитовым и слушали внятные ему голоса ветвей, деревьев и реки. По Волге шел пароход, долгим гудком разбудил тишину. Мне сказали, что под названием «Михаил Пришвин». Когда он проходит мимо дома старого пришвинского товарища, то приветствует дедушку Микитова гудком...» Глава «Карачарово» включена Горышиным в повесть «Родословная», посвященную родителям.

Любил вспоминать о своей маме, обожал ее. Перед войной она работала детским врачом в Ленинграде, а с началом войны ее назначили главным врачом эвакуационного пункта на Лиговском проспекте. Незадолго до кончины, уже больная, она попросила Глеба принести ей тетрадку, задумала записать самое важное в жизни для сына и внуков, «факты, которые известны только мне и еще некоторым людям». Факты открылись поразительные.

Через ее эвакуационный пункт прошли тысячи людей, судеб. Запомнилась ей история полуслепой старушки с кожаным баулом, который та не выпускала из рук. После смерти старушки медсестра нашла в нем целое состояние: бриллианты, золотые украшения, часы, кольца. Что делать? У умершей нет ни родных, ни близких. Кругом война, голод, смерть. Сестра идет к главному врачу. Вместе решают вызвать офицера особого отдела, клад описать и сдать в Госбанк. Так и делают. И, как напишет в середине «лихих» 1990-х Глеб, «мама испытала счастье не от обретения клада, а после расставания с ним. Собственное благо, семейный достаток почитали они заодно с благом Отечества. К их рукам ничего не пристало». Кредо «раньше думай о родине, а потом о себе» исповедовал и он, гордился мамой, опубликовал ее записи в нашем журнале с ее портретом. За ним тоже история. Портрет вышел гладью сельский учитель Виктор Прохоров в знак особого расположения к юной маме. Учителя репрессировали, следы его потерялись...

Но после публикации в нашем журнале очерка Горышина о маме, в редакцию вдруг пришло письмо, а в нем валдайская районная газета за 20 июня 1991 года со статьей Н.Яковлевой о В.П. Прохорове «Вологодский поэт из Валдайской школы». Отсидев 18 лет в лагерях, Виктор Петрович был определен на жительство в г. Устюжну, где тоже оставил след. В Устюжне писал и публиковал стихи, в Вологде издал книгу стихотворений «Кипень», а умер в г. Кировске Ленинградской области. Прохоров был близко знаком с семьей выдающегося русского писателя-публициста М.О. Меньшикова, учил в школе им. Аверина его дочь Ольгу (Лёку), и одно время снимал комнату во флигеле

бывшей усадьбы Меньшикова на Образцовой горе, где в 1918 году троцкисты расстреляли писателя.

Горышин любил один эпизод из моей «предпринимательской» жизни и под настроение не раз просил рассказать его. В конце 1995 года у нас появилась возможность купить в Твери несколько тонн дешевой бумаги на журнал, но за наличные. Я собрал в Новгороде всю наличность, занял у знакомых, сложил все в пластиковый дипломат и поздним вечером, часов около девяти, поехал на вокзал. Иду вдоль пустынного парка. Темнота. Ветер. Фонари разбиты. Жутковато. В руках дипломат с миллионами. Отродясь таких денег не носил, земли под ногами не чую. И вдруг явственно слышу грубый женский голос со стороны пятиэтажек:

- Мужик с дипломатом, а мужик с дипломатом, ты куда понес наши деньги?

Меня бросает в жар, я безотчетно прибавляю ходу. А голос снова, настойчиво:

- Мужик с дипломатом, ты не беги от нас, а неси-ка нам скорее наши деньги!..

Под уличным фонарем поворачиваю голову. На балконе второго этажа женщина. Вынесла перед сном подышать воздухом внучка и забавляет его ночными картинками.

- Ах, этот мужик с дипломатом, он опять унес наши деньги! Вот мы ему!..

- Мишель, - смеялся Глеб. - А не вернуть этот дипломат тетке с ребенком? - и на утвердительный кивок головой продолжал: - Правильно. Деньги должны находиться у того, кто отвечает за них своим горбом. Иначе будет вечный бардак.

Он остался сугубым лириком во всех жанрах, которыми с блеском владел. Ехал ли летом в вепскую деревушку, сопровождал ли жену и дочь на отдых в новгородчину, гулял ли по Ленинграду с профессором Бурсовым, работал ли за письменным столом, все воспринималось им сквозь магический кристалл своего лирического я. Был тот кристалл сложный, как фасеточный глаз стрекозы, зоркий, как у диковинной птицы. Я не раз бывал с ним свидетелем одних событий, а вот картины нам запоминались разные. Писательское зрение его было устроено так, что ему ничего не нужно было выдумывать, все, что он видел, сразу же становилось литературой. Потому что он только ею и жил. Увиденное чудесным образом становилось видением.

Едем как-то от Ленкина. До перестройки здешние мужики работали в деревне на комбикормовом заводе. В 1990-х свиноферму закрыли, завод, купленный в Чехии за большие деньги, раскурочили. Мужики работают «на осетина». Осетин беженец. Сначала скот пас, потом стал лес покупать, нанимать мужиков на продажу бани рубить. И зажил. Два дома построил: себе и сыну, стал деньгами ворочать. Спрашиваем: «Откуда ж деньги?» «Водку ему дешевую земляки привозят, на нее он лес покупает». Выяснили, и водкой торгует хитро. Пока сельмаг открыт, водку продает дешевле магазинной, все идут к нему. А закроют магазин вечером, берет дороже, и опять все к нему. За работу платит той же водкой. «Да ведь дурно все это, как терпите?!» «Не скажите, он и здесь хват. Если кто запьет, бабы ему жалуются, тот меры принимает». «Какие!!?» «От работы отстранит, зарплату не даст, а если баба попросит, то на исправление в подвал запрет...»

На обратном пути я возмущаюсь: безграмотный пастух заменяет собой и прокуратуру, и конституцию, и власти, и тюрьму. И все безнаказанно.

Горышин слушает, потом неожиданно: «Говорил я мужикам: неужели своих в деревне разворотливых нет, кто бы и дело знал, и бани мог на продажу рубить? Слушай, что ответили: *Есть, конечно! Но своим никак нельзя.* «Почему!?!» А своего бы мы за такое дело давно сожгли. А чужому, значит, можно?!..» Выходит, так... Вот где, Мишель, загадка русского человека... Раскричались: русский фашизм, русский фашизм! Сами на себя посмотрите! Положили под компас топор, плетут, что плывем на остров Сокровищ, а правят куда-то в дикую Африку к людоедам...»

Горышин не возглавлял акций по спасению Байкала и защите северных рек, он был другой человек и другой писатель. Он воспевал чистоту ручьев и речек, которые сливались в реки, наполняли Байкал, понимал, о чем поет скворец, знал вкус родниковой

воды. Он возбуждал в рядовом, маленьком человеке, в обывателе, милость к природе, вызывал сострадание к ней. В конечном счете, природу губят не одни нефтескважины и бумкомбинаты, но и пожары от не затушенного окурка, а реки травят забытым на берегу ведром солянки, убивают электроудочкой. Природу губит маленький хищник, живущий в темной душе. Эту душу он и старался осветить своей любовью к природе. Пробежимся по одним лишь названиям его рассказов: *«Снег тает»*, *«Волчьй деньги»*, *«Чистая вода»*, *«О пользе пешего хождения»*, *«Вкус ручейной воды»*, *«Снится остров»*, *«О чем свистнул скворец»*, *«Легкий полевой обед»*. Сколько недостающей нашей современной литературе поэзии, доброты, человечности. То же в его стихах: *«Ивовый куст над ручьем...»*, *«На этом месте лес рубили...»*, *«Неторопко ходить, неторопко...»*, *«Лопочет по руслу вода...»*, *«А все-таки жизнь удалась...»*, *«Курила мама «Беломорканал»*. Горышин, кстати, всю свою жизнь писал стихи, но книгой издал их только дважды, в 1990-м и 1996-м.

Несмотря на кажущуюся мягкость, был он человеком независимым во мнениях, «подписанство» считал пороком, выступать старался только от своего имени. Как-то в письме предложил написать для «Русской провинции» обзор журнальной прозы за 1996 год. Я с радостью согласился: и жанр редкий, и мастер большой. В начале года привозит обзор под названием «Выпадение из времени» с извинительной улыбкой на лице, что включил туда и разбор рассказа Солженицына «На изломах» из «Нового мира».

В 1996 году Солженицын, проезжая через Тверь по России, хвалил наш журнал и оказал ему финансовую помощь. Появилась возможность наконец-то отдать долги за бумагу, что купил год назад. Обещал помогать и впредь, послал для публикации в журнале свои крохотки... А тут разбор критический. Мол, нельзя же кусать грудь кормилицы?

- Но ты же не устроил ему какой-то грубый разнос?

- Обижает, Мишель. Да, человек он пристрастный, критики не любит, как и все мы. Имеешь право вычеркнуть о нем.

В 1981 году, когда партия шла к юбилею Л.И. Брежнева, Горышин, тогда редактор журнала «Аврора», напечатал юмористический рассказ Виктора Голявкина, в котором власти разглядели оскорбительный намек на писательство генсека. Горышина сняли с работы за недосмотр. И с Солженицыным все складывалось непросто. В далеком 1967 году Горышин посылал личное письмо в Президиум IV съезда Союза писателей в защиту гонимого тогда Солженицына. Убеждал, что книги Солженицына хотя и вызывают разноречивые суждения, «но нужны нам, нужны советской литературе». Считал, что «вопрос Солженицына - не частное дело сочинителя-одиночки», что «необходим разговор на съезде о роли Союза писателей как помощника, защитника, соратника для каждого его члена», ратовал за обретение писателями «права решающего голоса в издательском деле, дабы не повторялись примеры трагических литературных изгоев».

В своем обзоре Горышин нашел явную приязнь «изгоя» и «борца со сталинизмом» к оставшемуся не у дел красному директору Емцову и даже к самому Сталину в рассказе «На изломе». Симпатичен автору рассказа и другой его герой, молодой финансист Алеша, который, по мнению критика, автору совсем не удался, сказался отрыв от родины. И образ его невнятен, и миллионы заработаны туманно, и хватка жидковата. Правда, классику, много лет прожившему вдали от родины, кажется, что Алеше мог бы помочь Емцов с его опытом-хваткой индустриализации СССР. Но у критика подобный тандем вызывает лишь иронию; путей преобразования России в румяную, жизнерадостную капстрану он не видит. Мы дали обзор в полном объеме, а крохотками Солженицына открыли номер... («РП» № 1, 1997). Ждали оргвыводов, но они не последовали... А вскоре окрепшие у власти образованцы перекрыли голос и своему прозревшему буревестнику из Вермонта. Дома он стал им мешать.

Высылку Солженицына за рубеж он считал роковой ошибкой для страны. Останься писатель дома, не возникло бы того удесятенного внимания к его персоне и книгам,

не читали бы их с таким пристрастием, да и история СССР могла бы пойти по другому руслу - постепенной демократизации социального общества. «Я глубоко убежден, что в отношении Солженицына совершается та самая ошибка, что уже были в истории нашей литературы. Ошибка может обернуться трагедией, - писал он в письме. - Творчество Солженицына, при всей его тяжелой необыденности и сложности, служит коммунистическим идеалам, и правда солженицынской прозы может показаться излишне страшной разве что мещанину...» Победил мещанин, считал он, видя расцвет его в обществе, литературе, на телевидении. Все и обернулось для России трагедией.

Горышина причисляют к натуралистам, писавшем-де о преимуществе деревенского человека над городским. Был и натуралистом, учил чувствовать и любить природу. А как сказал большой поэт: «Покуда природу любил он, она \\\\ любовью ему отвечала...» Потуда и землетрясений таких не было, катастроф и цунами. А как возлюбил нули на банковском счете сильнее клейких листочков, вырубил и замусорил леса, природа ответила тем же. Уж если и писал о преимуществе, то о преимуществе свободного человека труда над отесанным обществом, которое и отнимает у него и целостность, и свободу. Общество у Горышина обирает человека и в деревне, урезая профессией, должностью, социальным статусом. И ревностно следит за тем, чтобы каждый сверчок знал свой шесток.

Трагична судьба сына Ивана Карповича, у которого останавливается на ночлег лирический герой рассказа «Воздух шибко хороший» («РП» № 2, 1998). Талантливый мальчишка, мечтавший стать капитаном дальнего плавания или космонавтом, лишился в детстве кисти руки и глаза, разряжая гранату прошедшей здесь войны, а с ними и своей мечты. Стал колхозным бухгалтером. И таким выдающимся, что на составление годовых отчетов за ним приезжали со всей округи. Но мечта о жизни морской, о небе точит его в колхозной конторе за счетами и накладными. Иван Карпович рассказывает:

- И такое у меня с им горе, он спивши. Ён приходить ко мне и говорит: «Если бы, папа, я *целый* остался (выделено мной. - М.П.), то я бы капитаном стал, пароход бы водил в разные страны. Или бы в космос летал. А раз так вышло, то буду пить...»

А в ногах у Ивана Карповича поет кот. Хозяин знает его язык, переводит гостю с кошачьего: «*Вилы-грабли, \\\\ Ноги зябли...*»

Ограничивая, общество делает несчастным и животное, как сделало несчастным и злобным доброго, пылкого, искреннего пса Шарика. («Шарик, Найда и другие». «РП» № 3, 1994). Другие - это люди. Шарик ходит на прогулки со старым писателем, перенесшим инфаркт, гоняет уток и чаек у моря, поражает щедрой собачьей натурой. Все изменится, когда пес порвет штанину одному из завсегдатаев Дома творчества в Комарове, испугавшего пса своей тростью. Любимый всеми пес становится изгоем. Дворничиха начинает прятать его, потерпевший и директор пансионата за ним охотятся. Пса ловят, сажают на цепь. Шарика (за кличкой - полемика с «Собачьим сердцем» Булгакова) превращают в злобную псину, которую вскоре по приказу начальства усыпляют...

... Иногда в поезде раскроет ветром оставленную кем-то на столике книгу, и выхватишь глазами страницу из нее, пока хозяин не вернулся, и почему-то запомнится и очарует и разбудит она фантазию сильнее, чем если бы всю ее прочитал. Так и читал жизнь Горышин. Странник, он на одном месте долго не задерживался: к своим героям ехал, шел, плыл, летел, ночевал с ними в лесу, в доме отдыха, в избе, на берегу реки. И что из того, что заглянул в их судьбы всего на мгновение, как ветер в книгу? Он рассказал о том так ярко, что иные стоят громких романов.

Он недаром писал: «Надежда моя - на дорогу или, вернее сказать, на тропу; мой сюжет на тропе, надо вначале его отыскать, промерить сюжет ногами, а потом написать...» Он всю свою жизнь записывал жизнь деревьев, рек, ручьев и холмов. Его образы природы достойны хрестоматий: «Волнухи - розовые, румяные, кровь с молоком (молоко у истинных волнушек высокой жирности, со сливками), с узорным ободком на

шляпке, с вуалеткой...», «Сыроеги цветут как косынки на сенокосе...» Он нес свой волшебный кристалл, сквозь который глядел на мир; его и украшал своими видениями.

Я храню письма Глеба, это тоже произведения эпистолярного жанра. В 1995-м, после вручения ему Бунинской премии в Орле, получил от него письмо:

Миша, надо бы к вам съездить в Новгород, но это после Москвы, включили в список, ехать тяжело, но упустить случай не в моих обычаях: что-нибудь увидишь, узнаешь, все же я предпочитаю знать, т.е. двигаться. Неподвижность грядет, никуда от нее не денешься... Жизнь последнее время какая-то раздерганная, и тоже почему-то пьяная, с Орла началось, куда я съездил за Бунинской премией. Писательская братия в Питере устроили вечер в мою честь, все вышло точно, как в «Скверном анекдоте». Понесли меня, повозили старика мордой по столу. Теперь надо отмываться. Тем более надо съездить в Новгород, отдышаться.

В мае 1997 года, перед отъездом в вепскую деревушку Гора, что на берегу Капшозера, где он последние годы жил и занимался крестьянскими делами и летописаниями, Горышин устроил нашему журналу встречу с питерскими писателями. Писал:

Дорогой Миша!

Поздравляю тебя с праздником Победы! Первый номер «Русской провинции» пришел ко мне хорошим подарком к Пасхе. Мы с поэтом Вознесенской по этому случаю подняли чарки. Номер почти весь прочел, все на месте. Сам по себе журнал великолепен. Думал, чего бы еще написать, но пока не придумал. Очень медленная нынче весна, в природе нет порядку, в организме переохлаждение. Еще раз приглашаю тебя приехать, устроить вечеринку (или полдник), поговорить о журнале. Жаль, что его совсем нет в Питере, можно бы как-то это поправить. Помещение для сбора (человек на 50) у нас есть. Можно в редакции «Авроры», я говорил с Шевелевым, он рад будет встрече. Сообщи день приезда, мы все подготовим. Ждем тебя не дождемся.

В конце мая будет пленум в Москве. Не знаю, буду ли? Надо садить картошку, а там летечко красное промелькнет, как последняя любовь...

Встреча вышла замечательная, успокоенный, он уехал в свою деревню. Сажать картошку, косить усадьбу, рыбачить. Видеть реального человека в его каждодневных делах и заботах было для него занятием таким же святым, как творчество.

Был мастер лирической прозы, а последней книгой стал исповедальный «роман с местностью» «Слово Лешему», написанный в годы разлома России. На фоне последних лет жизни мастера в глухой деревушке Гора дана панорама глубокого внутреннего конфликта русского писателя «неидеологического содержания» с природой и жителями вепского края. Леший - сложный, двойственно-противоречивый, амбивалентный образ, плод долгих раздумий писателя о человеке и его месте в природе. «Мыслящий тростник» никогда не был для него метафорой. Деревья, кустарники, мхи считал он мыслящими, страждущими существами. А в книгу включены еще и его поездки в Польшу, Англию, другие цивилизные страны. Хотя ведь и любимый им Тютчев, хлебнувший «цивилизации», знал, что человек, с которым «леса не говорили \ \ И ночь в звездах нема была», проживает жизнь впотьмах, глухонемым. Леший - есть добро, но не безусловное; он есть и зло, но как «часть той силы», что склоняет человека к добру. Герою романа с местностью вепсов писателю Горышину кажется, что он-то как раз и служит добру, воспевая природу и жителей. Да вот только люди, поехавшие сюда, начитавшись его восторженных «летописаний», принесли зло: губят лес, животных, убивают электроудочкой рыбу, сжигают брошенные избы. За людьми тянут дороги, едут авто, летят самолеты, возводят плотины, АЭС, значит, жди катастроф, чернобылей и фукусим. Нищий духом стяжатель несет с собой зло. Недаром веп Володя Жихарев отвечает тем, кто поверил «летописаниям» Горышина и готов ехать сюда отдыхать и жить в свое удовольствие, словами Лешего: «У нас плохо, природу губят, жить негде,

летом гнус и медведи...». А поджог избы писателя Горышина кем-то из местных (или Лешим) становится символом этих противоречий. Пожар потушили, но раскрывается глубокая пропасть в отношениях с Лешим, заставляя еще раз задуматься о главном. Главная же мысль: «А сам-то человек такое уж добро?» Уяснив ее, я, кажется, понял спустя десятилетие после смерти Горышина, почему Глеб так стеснительно откладывал мое желание съездить с ним в Гору. Он был уже как будто и Лешим, и человеком одновременно...

Автор более тридцати книг, он радовался каждой новой публикации. Получив наш журнал со своим эссе о Борисе Ивановиче Бурсове, с которым жил на одной лестничной площадке в период, когда тот писал свой главный труд «Личность Достоевского», он тут же откликнулся пространным письмом. Было оно последним:

Спасибо за полученный номер журнала! Право, единственная осталась отрада - в чтении удобопонятных душе текстов. В особенности утешает собственный текст. Понятно, что хотелось бы иметь несколько экземпляров, раздаривать тем, кто знал Бурсова, например, Распутину, Белову, Панченко, Скатову и т.д. Я бы купил штук пять, м.б. будет okazия в Питер или бы сам приехал...

В отношении дальнейшего... Бог даст, напишу статейку (эссею) о русском советском рассказе 50-х годов. Тут лежал в больнице, нашёл в больничной библиотеке сборник-антологию 50-х годов. Удивительно интересно, как в каждом рассказе заявлена последующая литературная судьба. Там и Астафьев, и Носов, и Курочкин, и Воронин, и Казаков, и Горышин с Конечким, и Гранин с Нагибиным, и Шолохов, и Твардовский. Надо только не упустить впечатления, а то забудется. Давай-ка приезжай, Мишель, соберемся в нашей явочной конурке...

Твой Г. Горышин

«Эссею» о русском советском рассказе написать Горышин не успел, разболелся и скоропостижно умер 10 апреля 1998 года в Петербурге, чего не ждал никто, о чем никто и не думал. Но сам свою смерть он предсказал в «Слове Лешему» с пугающей точностью: «Мне, как я уже упоминал, 60 лет. Если все, что есть во мне, сохранится, то можно тянуть еще лет шесть. И 70 мне этой жизни не выдержать...» Запись сделана летом 1991 года. Через шесть лет воспаление, а вслед - инфаркт и мгновенный отек легких, спасти его не удалось. Его дочь, Анна Глебовна Гродецкая вспоминает: «Поликлинический врач прописала что-то от гриппа, и в больницу - в Мариинскую, поблизости - он попал непоправимо поздно. Первый день лежал в коридоре, в палате оказался только на второй, продолжая кашлять - глухо, страшно, постоянно. Молодая девушка, врач, выведя меня в коридор и глядя на меня буквально с ужасом, сказала: «Ваш отец очень серьезно болен, очень», - и проводила по коридору до лестницы.

Правда, на следующий день вечером нас - жену Эвелину Павловну и меня - пустили на полчаса в реанимацию. «Хорошо сидим», - сказал Глеб, совершенно бескровно-белый, бессильно сидевший на постели. На мой звонок в 8 утра в справочном сообщили, что ночью его сердце остановилось: обширный, многоочаговый инфаркт. Если бы... если бы не грипп, а инфаркт обнаружили вовремя...»

Побывать на похоронах я не смог, о чем и сегодня горько сожалею...

А похоронен он в любимом им Комарове, на Комаровском кладбище, где покоятся многие петербургские писатели, поэты, деятели культуры...

Письмо в редакцию

ТУТ ЗЕМЛЯ МОЯ!

С Натальей Даниловной Кадничанской, как информатором и старожилом п. Васильевка Хабаровского района, удалось, наконец, обстоятельно побалакать в Камне-на-Оби. В это время она гостила у дочери Татьяны. Который год ее зовут сюда на постоянное жительство. В огромном доме-особняке созданы самые комфортные условия. Светло, тепло, уютно, современная мебель и бытовая техника. Но, как всегда, пожив в городе месяца два, мать каже (говорит):

- Тут усэ е! Но мэнэ жэдэ моя хата, моя Васильевка.

Зовет к себе жить и другая дочь Галина, как, впрочем, и все другие дети. Уже и шмотки увозили в Хабары, и - дрова... И к правнучке Снежанке прикипела. Но по ночам почему-то видится родная Васильевка!

- Ни, поиду до дому, - вновь заявляет мать.

- Шо там забула?

- Як шо? Зэмля! Ще - хата!

- Та зэмля одынакова везде, - пыталась возразить Галина. - А в Васильевке она еще солонее, чем где-либо.

- Тим дорожже! Уси дитки (три дочери и три сына) родэлысь в Данном (первое название Васильевки). Тут делали они первые шаги и отсюда пошли в жизнь. Цэ нэ забуваеця! Жили бедно и голодно, но дружно и весело. Помогали друг другу. Часто стивали (в смысле - пели украинские песни). - И с высоты восьмидесятидвухлетнего возраста она продолжает. - Пиду я во двор, нахилось на ворота и дывлюсь: «Ось поихалы вже коров доить. А это в магазин шось повэзлы. А чий це кобелек - мабудь, Боканив?.. Дуже хорошо дома!

* * *

В канун 8 Марта позвонили моей жене из Платавы Баевского района. Она родом из тех мест. Вместе с поздравлениями, естественно, обсуждались и деревенские новости. Главная новость, как я понял, это возвращение в село трех немецких семей. Уже и билеты купили на конец марта. Мировой кризис сильно сотрясает Европу. Это здорово ударило и по Германии. Зажимают гайки, ухудшается жизнь. Вспомнили русские иммигранты благодатную сибирскую землю и плотавский бор, который не пропускает в себя никакие кризисы.

Нина П. (Фишман) не поехала с сестрами в Германию (фамилия изменена). Тогда еще муж, «проклятуций материинник», был живой. После его смерти вдову стали звать настойчивее. Но куда поедешь? Тут сыновья поженились, пошли детки.

- А у старшего, - поясняет Нина, - есть сын - ну копия дед! И такой же он рыжий, и такой же лопухий!.. Я не могу их не любить! Это смысл всей моей жизни! Это мое человеческое счастье!

Слушал я Наталью Даниловну и вспомнил рассказ одной моей родственницы. Ее сын Сашок женился на немке, у которой родственники в свое

время тоже ринулись в Германию. Одна их тетька, в отличие от молодых, хорошо знает родной язык. Ей не надо было привыкать и переучиваться. Прекрасная квартира, социальная защита, пенсия - все устраивало. Медицина и лечение, известное дело, находятся там на высоком уровне. Всем хорошо в Германии, но постоянно стало сниться ей алтайское трудное детство, дом, семья и ромашковое поле...

«Задурила» старушка: «Хочу домой!»

Пытались узнать, чего ей не хватает. Заботливые родственники могли оказать любую помощь. Но совсем замкнулась тетка и стала твердить лишь одно: «Хочу назад, мне надо домой!»

Пытались отвлечь бабушку, развеселить, отправить в круиз. Да где там! Все было бесполезным. Плюнули и купили билет в Россию. Позвонили в Камень-на-Оби, чтобы встретили. Примчался мой племян в Толмачево (аэропорт Новосибирска).

Выходит тетька из самолета, делает несколько шагов и вдруг падает со слезами на землю. Не слышно было, что она бормотала, и на каком языке. Только видно было, как обнимала она землю. Гладила одновременно обеими руками, щупала ее, нежно трогала пальцами и ласкала ладонями... Впервые Сашко видел, как можно любить и, в буквальном смысле, целовать свою землю!

Иван КАДНИЧАНСКИЙ, краевед,

г. Камень-на-Оби

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

◆ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ

После появления на фронтах Второй мировой войны советских танков «ИС» американская печать отметила: «Если средний танк («М-48», США) является данью уважения к 88-мм немецкой пушке, то тяжелый танк (Т-43, США) является результатом уважения к серии русских танков типов «ИС».

◆ «НЕ ОЧЕНЬ И ХОТЕЛОСЬ...»

Во второй половине июля 1941 года после кровопролитных боев под Смоленском, директивой № 34 Гитлер был вынужден приказать своим войскам перейти к обороне. Красная армия показала всему миру, что она стоит дороже, чем ее оценили в Берлине. Московское направление сделалось непроходимым для фашистских армий. «Москва не более чем название места», - заявил Гитлер, чтоб хоть как-то объяснить свою директиву. Но чуть раньше, 8 июля того же года Гальдер записал в своем знаменитом дневнике: «Непоколебимым решением фюрера является сравнять Москву и Ленинград с землей... Задачу уничтожения городов должна выполнить авиация».

Фюрер не читал ни Эзопа, ни Крылова о лисе и винограде.

◆ ТАЛАНТ ШИРОКОГО ОХВАТА

Кроме того, что Виктор Гюго был знаменитым писателем, он еще был и великолепным художником. Его рисунки, как и рисунки А. Пушкина, разбросаны по листам рукописей. Великолепного Гавроша он писал, что называется, с натуры. Гюго любил Гавроша отцовской любовью, и эта любовь распространялась на босоногих мальчишек острова Гернен, куда писатель удалился в знак протеста против жестокости Наполеона III, утопившего в крови республику.

Кроме литературы и графики Гюго был еще неплохим столяром-мебельщиком, архитектором. На острове сохраняется дом, построенный по проекту хозяина.

◆ ВОЗДУШНАЯ ПРЕГРАДА

Главным занятием для жителей испанской области Пуэрто Томас Маэстро - рыболовство. Испокон веков они ловят рыбу в длинной лагуне, выходящей к Средиземному морю. Там есть все условия и для разведения рыбы.

Как известно, для рыбки закон не писан. Переночевав в лагуне, она на день уходит в море. И не возвращается, будучи бестолковой. Как остановить ее, запереть в лагуне? И чтоб не помешать судоходству. И ведь придумали! Протянули с берега на берег трубы с дырочками, стали закачивать в них воздух. Пузырьки воздуха из труб не мешают судоходству, но отпугивают рыбу, которая не решается сунуться в стенку из пузырьков.

◆ САМАЯ, САМАЯ... УБИЙЦА

Внушающая ужас серо-голубая акула-мако является самой жуткой убийцей в морском мире. Она накидывается на добычу с необыкновенной решимостью, ее гигантские острые зубы рвут плоть, перекусывают кости.

Не имея возможности заглотить морскую свинью, кальмара, макрель она без раздумий набрасывается на других акул. Попавшись на крюк рыбака, она с разбегу запрыгивает в лодку и пускает зубы против человека. Акула-мако считается самой умной из всех рыб, быстро меняет тактику охоты. Не останавливает ее и смертельно опасный шип рыбьего меча. Она умело обходит его, но случается, что и напарывается, гибнет сама. Длина этой рыбки до 4 метров, вес до 450 килограммов. Вот и думай, хочешь ли ты ее поймать.



Барнаул. Выставка «Кафедра-4»



О. Мирончук Оглянись...

